

ОКЛЯБРЬ

ОКЛЯБРЬ

12

1957

12

1957

ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

★

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

★

ГОД ИЗДАНИЯ
XXXIV

12

ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА 1952

Василий ФЕДОРОВ

ДУСЯ КОВАЛЬЧУК

Поэма

Пора и в путь.
А снег завел пургу,
А снег замел приобские овраги,
И кровь друзей алеет на снегу,
Напоминая сорванные флаги.

Простому люду
Городских лачуг
Ни с Колчаком,
Ни с Гайдою не спеться.
И ходит Евдокия Ковальчук,
Прислушиваясь к собственному
сердцу.

Легко ли, ровно ли оно стучит?
К нему потайно,
Из особой связки,
Партийным людям розданы ключи
В Москве, в Иркутске,
Омске, Красноярске.

Она их ждет,
Она давно их ждет,
Прикрывшись, как броней,
Подпольной кличкой.
Не открывайся, если кто придет
Не с тем ключом,
А с воровской отмычкой.

* * *

Быть может, шпик
Уже следит, как рысь,
И за тобой и за твоей квартирой.
Не забывайся!

В зеркало глядись
И на лице смиренность репетируй.
Но в зеркале
Читай — для подлецов,
Читай — для Колчака и Гайды —
Нате ж!
Глядит из рамки строгое лицо,
Блестят глаза, открытые
не настезь.

И взгляд такой, что оторопь берет,
Но захотеть
И просто улыбнуться,
Сломать в своих глазах непрочный
лед,

Тряхнуть косою —
И в молодость вернуться.

Но вспомнилось:
Алтарь... Рука в руке...
Угрюмый муж,
Ей вовсе не ровесник,
Привел ее в свой дом и в сундуке
Закрывл ее девческие песни.
Хотелось жить не так, как он
мечтал.

Хотелось петь,
Глядеть на все без страха.
А строгий Федор бога почитал
И обожал российского монарха.

Он брал ее,
Но сердца взять не смог
Ни ласкою, ни скудной мечтою,
А между тем любил
И так берег,

Как берегут трудами нажитое.
 И вот она
 У зеркала пока
 Смеется, молодости повинуясь,
 Как будто достает из сундука
 На черный день
 Припрятанную юность.
 В лес партизанский тропка далека,
 Но тяжкий груз долготерпенья
 сброшен,
 И не страшна пурга ей, и легка
 На дне корзины
 Взрывчатая ноша.

* * *

А в этот час в Кремле,
 Гоня озноб,
 То строгий и суровый, то азартный,
 Ладонью всею потирая лоб,
 Ильич склонился
 Над сибирской картой.
 И, словно мятежа туша огонь
 На всем пространстве
 Сказочных владений,
 Сказал, на карту опустив ладонь:
 — Сибирь не будет русской
 Вандеей!

В ней наш народ! —
 Добавил он, гордясь
 За те места степные и лесные.
 — Усилить фронт!
 Да, да... Удвоить связь!..
 И пошагали по снегам связанные.

* * *

Он долго шел,
 Терявшийся в ночах.
 Его, прошедшего и степь и горы,
 Жестоким именем:
 — Кол-чак!
 — Кол-чак!
 Пугали оружейные затворы.

Луну,
 Что между тучами плыла,
 Ему убить хотелось пулей меткой,
 Как будто та подослана была
 На небо
 Колчаковской контрразведкой.

Не от нее ли,
 Чтоб не виден был.
 Пурги кромешной переживши
 натиск,

Снегами белыми себя покрыл
 И притаился
 Новониколаевск.
 Но вот и дом.
 Едва приметный след
 Ведет его к еде, к теплу, к покою.
 В нем свет горит,
 Но, может, этот свет
 Обманчив
 И зажжен не той рукою?

И вот он в доме,
 С шапкою в руке
 Пытливо смотрит на хозяйку дома,
 На человека в мятом пиджаке,
 С угрюмым взглядом
 И усами сома.
 В печи дрова приветливо горят,
 За дверцей виден огонек косматый.
 — Вы комнату сдаете, говорят?..
 — Да нет, кажись...—
 Бурчит ему усатый.

Он вздрогнул.
 Сердце резанула боль:
 Как было тяжело пройти полсвета,
 Дом нужный отыскать
 И на пароль
 Не получить желанного ответа.

Он отступил
 Бледнее, чем стена.
 Хозяйка слушала и примечала.
 — Да, мы сдаем! —
 Ответила она,
 И на душе связного полегчало.

Не может Дуся сердце расковать,
 Когда ее хоть что-нибудь
 тревожит.
 Она собою может рисковать,
 Но делом рисковать
 Она не может.

И не в мандате —
 В ясности лица
 Нашла она последнюю поруку,
 И, радуясь, раскрылись их сердца,
 И два бойца поверили друг другу.
 Теперь, спокойный, был он Дусе
 мил,

Забывший страх,
 Казался он красивей.
 — Мы ждали вас, товарищ
 Михаил!—

И подалась к нему.
 — Как там, в России?

* * *

Судьба страны
Качалась на весах,
И на Сибирь откатывались грозы,
Где партизаны в пасмурных лесах
Ковали пики и точили косы.

Гневился сухопутный адмирал.
Теряя счет потерям и утратам,
Колчак огнем,
Колчак петлей карал,
Колчак устал казаться
демократом.

Пылали села
В зареве огней,
И в пепле, возносившемся до бога,
Была видней,
Была еще родней
Глухая партизанская дорога.

Куда ни глянь —
Снега, снега, снега!..
И дремлет городок, как на
подушках.
Но катит подо льдами Обь-река,
Журчит под снегом
Каменка-речушка.

Связной
И Дуся в праздничном платке
Шагают в дом
На приовражном месте,
Где Каменка приносит Обь-реке
И горькие
И радостные вести.

Из кабака
Сквозь белые снега
Летит, поет на тройке с бубенцами
Упившаяся дочка мясника,
Не брезгуя
Безусыми юнцами.
Храпят, прядут ушами рысаки,
Хвосты и гривы плещутся в полете.
Чем безысходней приступы тоски,
Тем безутешней
Душный праздник плоти.
Горят подковы золотым рублем,
И снег блестит
Растроченной казною...

...Патруль!
И Дуся перед патрулем
Прикинулась ревнивою женою.
Кричит истошно:
— Бабишься да пьешь!—

Гляди, ударит.
— У-у, бесстыжий, блудня!

Солдаты ржут.
Знакомы до чего ж
Им новониколаевские будни!
А Дуся —
До чего же озорна! —
Мигнула Михаилу — и в сторонку,
Уже, как примиренная жена,
Смеется тоже весело и звонко.
Прошла беда — и радость оттого,
Теперь ее уже ничто не сгубит,
Не помешает повстречать того,
Кого, как жизнь
И как надежду, любит.

Но вот и явка.
— Бабушка, встречай!
Настасья Шамшина, гостей
встречая,

Хлопочет у стола.
— Продрогли, чай?
И угощает их морковным чаем.
Дает сигнал, условно засты свет,
Стоит большая,
Скрыв к себе лазейки,
Как будто весь подпольный
комитет
Припрятала за теплой бумазейкой.
И он вошел, на вид немолодой,
Постриженный в кружок, давно
не бритый..
Но Дуся знает: русой бородой
От лишних взглядов
Молодость прикрыта.
Стоит высок, как в темной шахте
крепь.

В нем,
Возглавляющем подполье,
Замкнется многотрудной связи
цепь

И отзовется
Ленинская воля.

* * *

Он не поэт,
К стихам он не привык,
Но, как юнец, что о любви мечтает,
Суровый, бородастый большевик
«Евгения Онегина» читает.
А рядом Дуся,
Перед нею шифр.
На желтоватом крохотном
листочке
Условленный порядок дробных
цифр

Обозначает строчки,
Буквы в строчках.

То загудит.
То смолкнет бас густой
На звучной рифме,
На певучем слоге,
Как будто арифметикой простой
Он выверяет пушкинские строки.
Поэзия, как музыка, легка!
Борис придирчив к прожитому

веку:
Скупясь, берет от каждого стиха
Всего по букве,
Словно на проверку.

К концу глава —
И ниже голова.
Из давних слов великого созданья
Выходят обновленные слова
О близости народного восстанья.
Из вечных слов:
Мечтать, страдать, любить,—
Как из живых корней,
Пророс партийный
Приказ Москвы:
«Без промедленья слить
Отряды партизанские
В единый».
Сжигая шифр,
Сметая след трухи
И расставаясь с книгой
Утром мгlistым,
Кто знал из них, что Пушкина
стихи
Когда-то помогали декабристам?

Глаза блестя,
Но губы их молчат,
Большому чувству слова
не находят,
А страстные стихи в ушах звучат,
Они в крови
Таежным хмелем бродят.
Уже рассвет с бульвара ночь
сметал,
Когда она, шагнув к нему, сказала:
— Ты только что письмо в стихах
читал...
А знаешь... Это я тебе писала!..

* * *

Играет в куклы
Шустренькая дочь.
Усталой Дусе радостно и горько.
Она и муж, почти как день и ночь,
А между ними — маленькая зорька.
Борьба,

Непримиримость их путей
Подкрасила глаза вечерней синью.
Муж бережет кубышку для детей,
Она ж для них добудет всю
Россию.

Висячий ус
Сердито теребя,
Себя и Дусю подозреньем муча,
Он ходит, половицами скрипя,
Тяжел и хмур,
Как грозовая туча.
— Я знаю все!
Ему не по себе,
Он постарел в предчувствии
плохого.
— Уймись, тебя повесят на столбе,
Тебя убьют,
Как Сашку Петухова!

И стало горько
Видеть пред собой
И слушать устрашающие речи
Супруга, обделенного судьбой,
Надеждой, верой,
Счастьем человечьим.

* * *

На верность богу давшие обет,
Из всех щелей,
Как черные букашки,
Как тараканы черные,
На свет
Повыползли монахи и монашки.

Вокзал.
Вагон.
Куда ни глянь — везде
Людская плоть, как киснувшее
тесто.

И все-таки сестрице во Христе
Штабс-капитан
Предоставляет место.

Присев,
Не посмотрела, а прожгла.
Подумал:
Не с картины ли известной
Боярыня Морозова сошла,
Чтоб показать,
Как крестятся двухперстно.
Взяла с собою невеликий груз:
Лежит в коленях
В святости пригретый
Для грешников незримый Иисус
На переплете Нового завета...

Ее не тиснешь, ·
Не пожмешь руки,
Не назовешь красавицей и феей.
Она читает что-то от Луки,
Она бормочет что-то от Матфея.
Теперь бы не затворницу сюда,
А барышню с улыбкою весенней.
А впрочем, не до этого, когда
Святая Русь
Взывает о спасенье.

Мелькают телеграфные столбы,
Поскрипывают старые рессоры,
Глазищами печальной Барабы
Глядят на мир соленые озера.
Блестит на солнце белый солонец...
И мнится, не болотная водица,
А кровь земли, измученной вконец,
Из травки зеленеющей сочится.
На гривках бродят тощие стада,
И версты, версты
Долгих перегонов!

Штабс-капитан:
— Однако, господа,
Как ни смешно, дерзит Игнашка
Громов.
— За это он заплатит головой!
— Она оценена.
— Да-с, шаг резонный.
— Не полк, а корпус снят
с передовой,

Чтоб в городах
Усилить гарнизоны.
— Правитель недоволен.
— Дело-с в том...

Пока в купе беседуют любезно,
Монашка осеняется крестом
И призывает ангелов небесных.
Но быстрый взгляд
И еле слышный вздох —
Все говорит к немалой славе беса,
Что спутница,
Да не осудит бог,
Не лишена земного интереса
Тревожит офицерские умы
Почти намек из Нового завета:
— Ночь отойдет...
Отринем дело тьмы...
Наступит день...
Возьмем оружие света...

* * *

А через день
В столице Колчака
Шумел начальник контрразведки,
Зная,

Что в город,
Неизвестная пока,
Проникла большевистская связная.
Как гончим,
Чтоб загнать и затравить
Огнезую лисицу в темном лесе,
Начальник бросил шпику:
— Изловить!
Черкнул рукою воздух.
— И повесить!

А Ковальчук уже клубук сняла,
В цвета оделась синий и бордовый,
Лисицей хитрой след свой замела
И обернулась женщиной бедовой.
Напрасно враг петлю ей загадал.
Такой петля?! Непостижимы вкусы
Да если б контрразведчик увидал,
Признал бы сам,
Как хороши ей бусы!

И, уступая ветру, ·
В такт шагам,
Дрожат, скользят неприбранные
пряжки,

И ниспадают к молодым ногам
И нежно льнут
Матерчатые складки.
Да за такой солдат сбежит
с поста,
Когда огнем метнется кровь
по жилам!

Теперь ее земная красота,
Являясь,
Делу правому служила.
Ее, такую, изловить не вдруг.
Но ей на горе, жалкий
и презренный,
По следу шел не враг, а бывший
друг,
Купивший жизнь себе ценой
измены.

* * *

Уже остуда тронула леса,
Утрами на пшенице перезрелой
Все ярче изумрудилась роса
И радугой упавшею горела.
Рябина красным соком налилась.
Уже калина вспыхивала жарко.
Вся в красном,
Словно кровью облилась,
Вся в иглах,
Напружинилась боярка.
На торжество измученной земли
Шагала осень,
Праздничная гостья,
И Дусю опечалить не могли
Черемух старых
Траурные гроздья.

А городами,
!Пройденной тропой,
Счет умножая горестям и болям,
Могилы оставляя за собой
Предатель шел
С изношенным паролем.
И он пришел.
Потухший пряча взгляд,
Сказал слова с налетом давней
пыли:
— Вы комнату сдаете, говорят?
И затоптался.
— Вы меня забыли?

Он был зимой. Не позабыла. Нет.
Но на лице его чужая метка,
В глазах почти неуловимый след,
Который оставляет контрразведка.

Его там били, как умеют бить,
Чтоб доказать, что ничего
не стоишь.
Рубцы на теле очень просто
скрыть,

Но сломанную душу
Не прикроешь.
Бывало с ней:
Душа вдруг заболит.
Душа душой, но есть душа —
локатор.
Она замрет, поймет, определит,
Кто друг тебе,
Кто подлый провокатор.

И вывод был и мрачен и тяжел,
И верх взяла подпольная
привычка.
Не открывайся! Он к тебе пришел
Не с тем ключом, а с воровской
отмычкой!

Но черный гость стоял, не уходил,
Не унимался,
Неизменно слыша:
— Я вас не знаю.
— Я же Михаил.
— Я вас совсем не знаю.
— Я же Миша.

Потом она увидела в окно
И утвердилась в чувстве ей
знакомом,
Что был он, этот Миша, заодно
С фискалами, следившими
за домом.
И поняла, что начался уже
С неумолимой смертью поединок.
И стало зябко, словно по душе

Скользила, тая,
Горсть холодных льдинок.

Но есть родившееся не в тиши,
А в боевой извечной круговерти
Такое свойство молодой души:
Идя на смерть,
Не верить в силу смерти.

И мысль одна:
Угрозу отвести, предупредить.
Любимого спасти!..

Но как уйти?
И, напрягая взгляд,
Она в окно, за телом пряча руки,
Глядит...

Стоят.
Еще глядит...
Стоят.
И в пятый раз глядит...
Стоят, бандюги!

* * *

Обычный дом,
В обычном доме том
Прутьем железным забраны
окошки,
А в нем поручик с плотоядным
ртом,
Как пума
За минуту до кормежки.
Наедине помудрствовать любя,
Понежить усыхающее тело,
Он поучает мысленно себя
Вести помягче следственное дело.

«Ты,— рассуждает,— злобу усыпи,
Ты помоги заблудшим отогреться,
Не бурей будь в Барабинской
степи,

А солнцем, предлагающим
раздеться.
Вот Ковальчук... Да мало ль на
Руси

Подобно ей
Попало в вихрь событий!
А ты не горячись, ты пригласи
Да расспроси...»
И заорал:
— Введите!
И та вошла,
Не плача, не грустя,
Лишь на душе невидимая хмара.
— Прошу-с, присядьте, будьте,
как в гостях.
Она в ответ:
— Не вижу самовара.

Заулыбался хитрый офицер,
Запритворялся, приторно
восторжен,
Что он эсер,
Сторонник мягких мер.
— Я даже друг ваш!
— Что-то не похоже.
Блеснула наглость офицерских
глаз.
— И вас и Шамшину мы знаем
сами,
Меня интересует сейчас
Не вы — что вы?! —
А кто стоял за вами?
Ответила, решив не упустить
Своей победы в этой первой
стычке:
— Жила, ходила, и, прошу
простить,
Оглядываться не было привычки.
На скулах заходили желваки,
Перекосилась морда офицера.
— Проклятые большевики!
Не понимают нашего доверья!
Довольно! — Завопил противник
зла,
Поборник правды, из терпенья
выйдя.
— Монашкой! Цыганкою была!
Теперь увидим в натуральном виде!
Бывал он страшен, если под
ремнем,
Под шомполами, отвергая
милость,
Не признавая человека в нем,
Не проявлялась женская
стыдливость.
Над Дусею был злее взлет хлыста,
Под потолком
Ходившего кругами.
В ней даже ум ее и красота
Ему казались личными врагами.
Не лебеди,
Но час и два подряд
На белых крыльях
Из глубин бездонных
Приподнялись над миром
И летят
Ее нечеловеческие стоны.

* * *

Молчит!
Палач глядит из-под очков
С улыбочкой насмешливо-елтейной.
Пытаясь изучить Ковальчуков
Другим путем —
По карточке семейной.

Итак, монашку удалось поймать.
Хитра, ловка,
Продает и перекупит.
Могла бы улизнуть...
Но дети... Мать!..
Муж мог бы донести...
Нет. Значит, любит.
Он стар и для подпольщика
ленив...
Она красива, молода, игрива...
Он хмур. Ревнив...
А может, не ревнив?
Э-э, черт возьми,
Все старики ревнивы!

И вышло так,
Как он предположил,
Когда его, ревнивца, в жертву
прочил.
Он Федора туманом окружил,
Повел не к дню,
А к беспросветной ночи,
Где не терялся лишь кошачий
взгляд.
На рану, угнетая душу болью,
Поручик потихоньку капал яд
И посыпал ее толченой солью.
Такой ходил?
Ходил.
Зачем ходил?
Припоминая горькие детали,
Супруг еще упрямылся, твердил:
— Нет, нет!
Мы комнату для всех сдавали!

Поручик и солил, и яд вливал,
И, к сальности подмешивая
грубость,
Гнетущую картину рисовал,
Которой не выносит даже тупость.
— Они любились, ты детей
качал...

Забывши все,
Растравленным медведем
Рванулся Федор, дико зарычал:
— Молчи! Они ходили не за
этим!
— Скажи, зачем же?
Федор ус кусал,
Не замечая подленького взгляда.
Тогда поднялся, пальцы почесал
И засмеялся
Местный Торквемада.

* * *

А люди жили, плыли облака,
Качался лес, выставляя дюжок,
Тяжелая катилась Обь-река,

Легко журчала Каменка-речушка.
И каждый человек по мере сил
Куда-то нес свою земную участь.
Все красных ждали, даже Михаил
Чего-то ждал, судьбой Иуды
мучась.

Переполюнялась холодом душа.
С Уральских гор
В Сибирскую равнину,
Любовью и возмездием дыша,
Катилась краснотелая лавина.
Он с нею был,
Горел ее огнем,
Он в бой ходил, горячих пуль
не трусая.
Чего?.. Чего же не хватило в нем,
Когда его измучили, как Дусю?

Ему за все, что на душе он нес,
Лишь стратотерпец, уступавший
силе,
Иль жалостью страдающий
Христос
Простить могли,
Но люди не простили.

И жалок был мятущийся фискал,
Теряющий надежду человечью.
Предав одних, он жертв других
искал,

И те, кого искал,
Пошли навстречу.
В лесной сторожке,
Шарить — не найдешь,
Любимый друг,
Не знавший чувства мести,
Всадил ему под сердце острый
нож

По праву дружбы
И по долгу чести.

* * *

А осень шла.
Пылал соседний сад.
Кленовый лист, предчуя непогоду,
Влетел в тюрьму,
Как золотой мандат,
Как пропуск
На желанную свободу.
И каждый понимал:
Пока что — жил,
И каждый с жестких нар
приподнимался.
И пятипалый лист порхал, кружил
И никому в ладони не давался.
Влетел другой.

Лежи, терпи, молчи, запрячь
подальше мысли дорогие.
Стучат шаги.
В дверях гремят ключи,
Гнусавит надзиратель:
— Евдокия...
— Эй, Ковальчук! —
Торопят голоса.

Что окрик ей,
Когда весь день упрямо
Сироткою, раздета и боса,
Дочурка ее мерзнет.
— Мама!.. Мама!..
И тянется к решетке.
— Я боюсь!..
Мать говорить старается
с задором:
— Не бойся, доча, я к тебе
вернусь...
— А скоро, мама?
— Скоро, доча, скоро!..
А осень шла и шла... И у людей,
Чья воля палачу не уступала,
С гортанным криком поздних
лебедей

Последняя надежда улетала.

Не день, не два,
А много дней подряд
На белых крыльях
Из глубин бездонных
Приподнялись над миром
И летят
Глухие человеческие стоны...
Мучительству не уменьшая срок,
Ее, и в жизни вынесшую много,
В который раз приносят, как
мешок,
И, как мешок, бросают у порога.

И все же заглушающее страх,
Красивое, родное меж родными,
Живет в душе, теплеет на губах
Под пытками не сказанное имя...
Палач пытал,
Но с ним не разлучил,
Хоть крался в душу холод
замогильный.
— Любимый, ты борьбе меня
учил...
Изнемогаю... Научи быть сильной...

Есть, есть, родившееся не в тиши,
А в боевой извечной круговерти
Святое свойство молодой души:
Идя на смерть,
Не верить в силу смерти.

В. ПАНИЮШКИН

ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА...

1

Моя родина — селцо Кочеты, Тульской губернии. Прадед, дед и отец мой были крепостными в имении Сухотиных. Отец после раскрепощения стал работать у помещика по найму. Но я застал еще в быту слово «крепостьянин» — так называли себя сухотинские крестьяне. О жизни после крепостного права бабка моя говорила: «Хрен редьки не слаще», — хотя жили мы лучше других. Отец некоторое время обучался слесарному делу, понимал в машинах, потому Сухотины им и дорожили.

Помещики Сухотины — родственники Л. Н. Толстого: М. С. Сухотин был женат на дочери Льва Николаевича. У меня до сих пор сохранилась фотография: на огромной террасе помещичьего дома за столом, в центре, сидит Татьяна Львовна, по правую руку — ее отец, слева — Сухотин, наш хозяин.

Я рано начал работать в барской усадьбе. Отец и меня обучил ремеслу. Выполнял я по дому разную работу: плотничал, слесарил, чинил велосипеды, ремонтировал мебель. В доме Сухотиных часто встречал Л. Н. Толстого, с любопытством наблюдал, как рисует Татьяна Львовна — ученица Репина, видел самого Илью Ефимовича.

Недалеко от помещичьего дома рос огромный трехствольный дуб — каждый ствол в два обхвата. Под этим вековым деревом любил отдыхать Л. Н. Толстой. Стволы дуба стали со временем крениться к земле, и их решили стянуть широким железным обручем. Говорят, когда стягивали и выпрямляли деревья, подошел Л. Н. Толстой. Посмотрел и, уходя, сказал:

— Зря плените дерево: ему будет от этого худо...

Л. Н. Толстой любил ходить по деревне, почти всех знал поименно, часто останавливался, подолгу беседовал с людьми. Особенно любил он деревенских ребятшек, которые всегда стайками бегали за ним.

...Наши кочетовские помещики слынут очень добрыми. М. С. Сухотин даже открыл школу. Но всегда чувствуешь, что ты мужик, а они бары.

Вот пасхальным утром у заднего крыльца помещичьего дома стоят, ждут Серегины — отец и сын. Вызвал барин через бурмистра. Барин сошел с крыльца. Договорились, что Федя придет работать к садовнику. Похристосовался барин с мужиками, подарил по красному яичку... Но как они его ждали? Сняв шапки. И почему у заднего крыльца? Испокон веку в барский дом не пустят, почему? Почему у них за столом полная чаша

(и не знаешь таких блюд), а крестьяне едят одну тюрю? Почему у них в доме такая чистота? А у нас избы топят по-черному. Просушены, прокопчены стены. Дым от потолка на пол-избы, густой, непроглядный, и ребяташки на полатах играют им — двинут рукой, и завьются хлопья, словно облака. Почему так темно, дико живут люди?

Шумит Россия. Говорят, с японцем воюем, говорят про непокорство, про дела разные — и в Новосиле, и в Кочетах, и в имении Голицыных слухи идут. Приезжают все чаще «надзорные» — на работу уехали, а вернули их за бунты на родину. Что за люди, чего хотят?

Плохо живет народ — об этом все знают. А как можешь?

Оказывается, есть такие, что знают, как помочь. Первым таким человеком для меня был дядя Егор — студент, высокий, светлородый, посланный в наши края под надзор полиции.

Тоже под надзор!

— Остерегайся! — говорит отец.

— Царев непослушник, — ворчит дед.

А наша бабка, Перепелка, женщина крепкая и со своеобразным умом, как-то сказала:

— Не по цареву разуму живет, а по своему. Такие жизнь ломают. Знают, что жарко, а около пожара ходят.

Я решаю поговорить с дядей Егором. Иду к нему, в имение князя Голицына, где он в ту пору работал механиком.

— Нет ли чего почитать?

— Чем интересуешься, мил человек?

Молчу.

— Могу дать книгу, только если попадешься, горя хлебнешь. Книжка запретная. Да и сам я человек запретный. Не боишься?

— Нет.

— На, читай.

Тоненькую книжку кладу за пазуху и бегу в заросли орешника, в сухотинский сад — знаю здесь все стежки-дорожки. Раскрываю — что такое? Ну и название: «Пауки и мухи». Чувствую себя разочарованным. Читаю — захватывает. Так вот кто пауки и мухи! Дрожь пробегает по телу. Так это и про царя и про всех, кто ему служит.

На следующий день, в воскресенье, на заре иду к дяде Егору, крадучись, задворками.

— Ну, как?

— Страшно, дядя Егор.

— Чего?

— Книги вашей.

— Давай разберемся...

Так я стал частым гостем дяди Егора. Что ни встреча, то новое открытие. Потом совет:

— Сходи в деревню Волково, Мценского уезда, поговори с рабочим человеком Бадаевым. Зовут его Алексей Егорович. Он местный.

Конечно, иду к Бадаеву.

Встречаемся у него в доме. Сколько злости в человеке — и все против царя, против помещиков и капиталистов. Смотрю на него и дивлюсь: что за рабочий? Умно говорит, как наши помещики. Даже, как они, в шляпе ходит. На столе у него книги. Рекомендует читать, учиться, советует вести работу среди крестьян.

Все чаще и больше разговариваю теперь с окрестными мужиками о жизни, о боге. Сдружился с учителями. И сама жизнь начинает все больше и больше учить. На японском фронте поражение. В городах бунты, баррикады, стали жечь помещичьи имения и в нашей губернии. Пылает имение князя Куракина: помещичий дом крестьяне сначала обложили во круг боронами, а потом подожгли. Когда казаки налетели, наткнулись на

бороны и только лошадей поранили: пожар потушить так и не смогли. Чтобы отвести от себя подозрения, ночью отправляюсь к купцу Оловянникову, с которым давно знаком (приходилось работать у него). Задерживаюсь подольше. Он в страхе. Разговор о событиях. Осуждает. Для меня это предметный урок: богатые осуждают, бедные идут в революцию, борются.

На следующий день меня требует к себе исправник Тимофеев. Отвешивает оплеуху, другую, третью... Сажает под арест.

Через день вызывает:

— Счастье твое, что у Оловянникова отсиживался.— Смеется:— Напугался, чай, того, что в мире делается?

Молчу.

— Ну, иди. Урок для тебя. Получил острастку?

В ту пору мне было семнадцать лет. Запомнил я не острастку — на всю жизнь запомнил оплеухи исправника Тимофеева: огнем обожгли они душу.

Я уже хороший мастеровой и нужен помещику: он хлопотал за меня, оттого и отпустили. Вон оно что... Тоже надо запомнить.

Стал я часто выезжать в ночное с молодежью. Читаю книги. С каким любопытством слушают! Читаю Некрасова. С детства сохранилась у меня огромная любовь и привязанность к стихам певца крестьянской скорби. Полюбили его и мои деревенские товарищи. Рассказываю все, что знаю от дяди Егора, от Бадаева. Рассказываю, как борются за лучшую долю петербургские рабочие. Ругаю царя, называю пауком. Замечаю: с каждым разом меня приходит слушать все больше и больше людей.

Пользуюсь новым советом дяди Егора, еду к доктору Семашко, в село Троицкое — это мценские места Орловской губернии. Каково же мое удивление, когда Семашко говорит, что знает обо мне! Ведет себя просто. Рассказывает о различных партиях, говорит о Ленине, большевиках.

— Знаете, чего нам не хватает? Сознательности крестьян. В деревне очень мало большевиков. Хорошо, что вы к нам идете. Только учитесь Больше читайте. Против врагов нужно будет воевать не только оружием, но и словом.

Хотя он и старше меня, но держится как равный, словно давнишний товарищ. В конце беседы говорит:

— Вы бы зашли к Оболенскому.

Николай Александрович пишет записку. Прощаемся. Потом я встречался с Семашко уже после Октябрьской революции, в бытность его наркомом здравоохранения.

Встреча с В. В. Оболенским (известный публицист Н. Осинский) осталась памятной на всю жизнь. Он был одним из тех, кто рекомендовал меня в партию. Рекомендовали меня еще Бадаев и дядя Егор, фамилию которого я так никогда и не узнал.

Так на пути простого деревенского парнишки встретились люди с опытом революционных боев и подполья, участники борьбы с царизмом. Каждый день открывают они передо мной новые, революционные просторы. Выполняю задания. Много читаю. Увлечен. И когда в эту пору я встретился с анархистующим эсером-студентом, я впервые почувствовал свою «политическую силу».

— Иди к нам,— пробует убедить меня студент,— у нас великолепная идея: разрушим города, сметем государство, всех посадим на землю — кормись! В каждой губернии свое правительство. Понимаешь, сколько государств из одного сделаем? Вот где нужны отчаянные головы. Понимаешь? И для всех — свобода, равенство и братство. Во главе государства — президент, избранный на год. Год повластвовал, дай другому, а сам — за плуг — паши, сей...

— Да такое государство сразу съедят! Нет, не то ты говоришь. Нам нужно сильное и большое, народное, пролетарское государство.

— Не согласен? — спрашивает студент.

— Нет, — отвечаю я.

— Не подготовлен ты для великих дел... Серый ты, брат, серый, жалко слова на тебя тратить.

— Плохой ты революционер, — возражаю я ему, — если жалеешь слов, чтобы убедить другого в своей идее.

— Кого учишь? — заревел на меня полуанархист, полуэсер, а в общем, человек, не понимавший жизни, и ушел. Мы расстались врагами.

Продолжаю работать в родном селе. Теперь среди крестьян и учителей есть верные товарищи. По заданию дяди Егора переезжаю в Тулу.

...Идет 1907 год. Отшатнулись от революции слабые. Уныние съедает не одну живую душу. «Кому верить, как жить?» — этот вопрос волнует только ли в молодые годы? Но в юности он особенно тревожен.

Иная встреча с книгой значит не меньше, чем встреча с человеком. Восемнадцати лет, еще у Н. А. Семашко, прочел я один рассказ Горького, но почему-то потом никогда не встречал его больше в собраниях сочинений А. М. Горького. Это была, если мне не изменяет зрительная память, серая книжка — «Нижегородский сборник». Возможно, Николай Александрович привез ее из Нижнего, где отбывал наказание за участие в революционных событиях. Назывался рассказ «Часы». Собственно, я не знаю, рассказ это был или скорее стихи в прозе. Он состоял из шести или восьми маленьких глав, и каждая начиналась мерным «Тик-так... Тик-так» равнодушных часов, которые ничто не заставляет ускорить свой бег, ничто не волнует. А человека... Как много волнует человека, когда он ищет свое место в жизни! Не потому ли так глубоко врезались мне в память пламенные горьковские слова о том, что «всего полнее жизнь тогда, когда человек борется с тем, что ему мешает жить... Только сознание выполненной задачи может уничтожить страх смерти.

...Если люди захотят, они всего достигнут, если они захотят, они будут владыками жизни, а не рабами ее. Только бы явилось сознание силы своей.

Да здравствуют сильные духом!»

Мне всегда казалось, что вместе с выбором идейного пути в жизни не менее важен и выбор моральный.

...И вот более пятидесяти лет тому назад, 2 февраля 1907 года, наступили самые счастливые минуты в моей жизни. Ночью, на явочной квартире в одном из рабочих домов на Тургеневской улице, на подпольном собрании тульской партийной организации социал-демократов меня приняли в ряды партии.

Работаю некоторое время в Туле, а потом еду в Петербург. В моем кармане два письма: одно к начальнику морского штаба контр-адмиралу Яковлеву от его старого друга помещика М. С. Сухотина; другое от товарищей — к большевику Иванову. Переезд в Петербург связан с партийным заданием: мне рекомендовано поступить в морское училище. Я еще молод — впереди армия. А получить хорошее военное образование очень важно. Уроки 1905 года настоятельно требуют развернуть широкую большевистскую организацию в армии, во флоте. Так сказал Ленин.

В мае 1907 года прощаюсь с товарищами и уезжаю.

2

Иванов — это Михаил Иванович Калинин. Встречаюсь, рассказываю о себе, говорю о задании партийной организации.

— Хорошо, поможем. Но попытайся, может, улыбнется тебе адмирал Яковлев. Связи у них крепкие.

Иду с письмом Сухотина. Адмирал принимает меня.

— Похвально, похвально! Но, знаете, это нелегко для человека вашего звания. В офицерскую школу. Да еще морскую. А ваше образование?

— Сельская школа...

Яковлев разводит руками.

— Получайте аттестат зрелости. Только тогда я смогу что-нибудь для вас сделать. Был бы рад выполнить просьбу Сухотина. Но как вы уложитесь во времени, не знаю, — уж очень короткий у вас срок: сами знаете, вольноопределяющихся берут лишь за год до призыва. Вам являться на призыв когда? В 1909 году? Ну вот. Попытайтесь. Желаю успеха.

Несолоно хлебавши ухожу.

Помог Михаил Иванович Калинин — вместе с ним мы поступаем учиться на вечерние рабочие курсы при Народном доме Николая II. Единственный такой дом и единственная такая школа на всю страну. Если бы только царь знал, кто учится в школе его имени! Большинство учеников — молодые пролетарские революционеры. Учусь успешно, но это ведь не средняя школа. К осени курс занятий уже пройден — программа равна шести классам гимназии. Но мне-то ведь нужен аттестат зрелости! И вот по совету Калинина снова сажусь за учебники и вскоре — уже в частной гимназии Юргенсона — держу экстерном экзамен за шесть классов, а затем в течение зимы готовлюсь и сдаю еще за два класса: седьмой и восьмой. Сдаю на пятерки. Но золотой медали не дали: «не свой воспитанник». Ну, да это не беда: я получил заветный аттестат! Партийное задание выполнено. Теперь мой путь лежит в военно-инженерное училище.

Еще во время учебы Калинин как-то сказал мне:

— Ты готовишь себя в офицерскую морскую школу. Скоро туда попадешь. Тебе нужно уже теперь начинать вести работу среди моряков.

Завод «Новый Лесснер», где я тогда работал, производил арматуру и электрооборудование для судов. По положению, как только закладывался корабль, к нему снаряжалась часть команды, участвовавшая в его оборудовании. И мы, рабочие, естественно, все время сталкивались с моряками. Совет Михаила Ивановича оказал мне впоследствии немалую услугу. Придя во флот, я уже знал многих кронштадтских моряков, знал нравы, быт и жизнь на море. Но больше всего, конечно, укрепили мои партийные связи и опыт те четыре года, которые я провел в Морском инженерном училище Николая I. Я был принят туда в 1908 году благодаря отличному аттестату и рекомендации адмирала Яковлева, которому я вынужден был напомнить о своем первом визиге и о его обещании помочь мне и который на этот раз не мог найти никакого предлога для отказа.

В эти годы мне много раз приходится выполнять задания Михаила Ивановича Калинина, часто с ним встречаться, подолгу беседовать — и за стаканом чая, дома, где хлопотала жена Михаила Ивановича, его верный друг Екатерина Ивановна, и изредка в чайной на окраине города, и во время наших ночных прогулок по улицам Питера.

Если в далекой деревушке я постиг азы партийной работы, то в рабочем центре я прохожу теперь огромную школу подполья, конспирации, воспитательной работы с народом. И в этом многим помог мне Михаил Иванович Калинин.

По его советам и у него самого учусь я умению нести в народ правдивое и смелое большевистское слово, организовывать людей...

Встречаясь с М. И. Калининным, я все больше и больше поражаюсь его знанием и народной жизни и книжной мудрости. Удивляюсь, как много он прочел. Он хорошо знает не только родную литературу, но и французскую, немецкую, английскую, серьезно занимается историей философии, следит за техническими открытиями.

«Зачем, кажется, так много знать одному, да еще рабочему человеку?» — думаю я. И как-то говорю ему об этом:

— Михаил Иванович, ведь все эти знания тебе никогда не понадобятся. Все равно профессором не будешь.

Исчезла с лица добродушная улыбка человека, хорошо знающего цену шутки. Он насупил брови, тихо спросил:

— Ты это серьезно так думаешь?

— На наше поколение хватило бы только сил и времени революцию свершить. Строить новое — дело далекого будущего...

— Ну нет, брат, ты глубоко ошибаешься. Мы и теперь уже строим будущее. Понимаешь? С того дня, как начали разрушать эту старую и негодную жизнь, мы уже создаем новую. И прежде всего воспитываем человека будущего. А эта работа, пожалуй, самая трудная. Вот ты попробуй вытравь из человека все волчье, что он выпит с молоком матери в нашем страшном обществе. Сколько для этого знаний нужно! А ты думаешь, только мы одни боремся за человека? Нет, много есть охотников на земле русской завладеть народом. 1905 год показал всем, какая это силища — наш народ. Ведь даже полиция — и та пошла «в массы». Вон Зубатов что делал! И ведь за ним шли. Все теперь проповедуют на свой лад — и эсеры, и анархисты, и наши «друзья» — меньшевики. Нам надо отвоевать у них народ, каждого человека. А без знаний ты кто? Скажи!

Я, по правде, уже не рад, что затеял этот разговор, и хочу, отделавшись шуткой, уйти от дальнейших рассуждений. Собственно, главное, как мне кажется, я уже понял. Но не таков Михаил Иванович, чтобы отпустить от себя собеседника, да еще единомышленника по партии, если он не чувствовал, что убедил человека окончательно, если казалось ему, что человек в чем-то неправ.

— Да нет же, Михаил Иванович, — говорю я. — Ну, откуда ты взял, что я против знаний? Только зачем нам, революционерам, столько сил тратить на учение, когда так необходимо сейчас вести политическую работу в массах? На все времени не хватит.

Михаил Иванович громко смеется:

— Наивен, наивен, как красная девица. Да этак тебя любой кадетик за пояс заткнет. Был у меня — уже порядочно тому — интересный случай. В цеху, где я тогда работал, славился знаниями один парень. Был он экономист. И к народникам тяготел. Но человек честный, рабочие его уважали, шли за ним. И начитанный — много на память знал, этим и людей покорил. Трудновато мне было с ним воевать, скажу прямо. А нужно: путает людей. Как быть? Однажды он все-таки оконфузился. И знаешь на чем? Заспорили ребята в цеху, кто написал «Песню про купца Калашникова». Не смогли сами спор решить — и к нему. Он сразу успокоил спорщиков:

— Это — народное творение, ребята.

Ну, ему, конечно, поверили. Слух об этом споре докатился и до меня. После работы подхожу к нему и нарочно громко говорю:

— Что же ты людей обманываешь? Автор-то ведь Лермонтов Михаил Юрьевич. Он «Песню про купца Калашникова» написал.

— Не свисти, — вскипел мой народник, — твой Лермонтов любовные стишки был мастер писать! А это ему не по силам. Народная эта вещь. А не знаешь, не показывай свое невежество на людях. Так-то лучше будет.

Ну, доказать я ему, конечно, сразу не мог. А люди на его стороне. Что мы всегда с ним спорим, они видят, но его они больше знают: он у них давно в цеху.

Тогда на следующий день принес я поэму Лермонтова — несколько экземпляров — и показал рабочим. А другие сами стали подходить, смотрят. Одну книжку специально «народнику» отдал:

— Прочти. В другой раз не будешь людей с толку сбивать. А стихи у Лермонтова не только любовные. «На смерть поэта» не читал? Про Пушкина, как убили его? То-то же. Прочти. Тогда и на народ выходи...

Так вот у нас и получилось. После этого случая рабочие в цехе стали и ко мне прислушиваться, а его авторитет померк. Видишь, как оно бывает иногда в жизни, как Лермонтов большевикам послужить может.

Михаил Иванович учит меня широко и полно видеть и познавать жизнь. Он еще не раз возвращается в наших разговорах к этой теме, рассказывает о том, как книги и картины помогали ему сблизиться с людьми, завоевывать их души. Любит Калинин повторять:

— Если мы несем миру новое, то прежде всего должны отстоять и защитить великую культуру человечества. Она наша спутница в будущее.

Михаил Иванович — отличный конспиратор и прекрасный организатор. Меня поражает, как много людей он знает, как хорошо и быстро умеет понять, на что человек пригоден, где его можно лучше использовать для революционного дела.

Сохранился в памяти такой случай. Как-то сидели мы с Михаилом Ивановичем в чайной, где иногда уславливались встретиться. Я еще работал в ту пору на «Новом Лесснере», но все шире разворачивал работу среди моряков.

Наша беседа подходила к концу. Вдруг в чайной появился дворник, человек крепкого телосложения, со старообрядческой бородкой. Сел за соседний столик, держится спокойно. Но по тому, как громко он разговаривал, как покрикивал на половых, чувствовалось, что его побаиваются. Симпатии к дворникам я никогда не питал — первые доносчики: известно, что они на службе в охранке. Я, конечно, заговорил о чем-то постороннем. Дворник выпил два стакана водки, закусил соленой капустой, отсчитал деньги. Крикнул:

— Слышь, возьми! А то скажут, что человек царевой службы, а не платит. Нет, брат, мы блюдем законы нашего царя-батюшки...

И, расплатившись, он также с шумом, тяжело ступая сапогами, вышел из чайной.

— Что вы его не утихомирите? — спросил я полового. — Непотребно ведет себя.

— Нельзя-с... Человек он казенный-с, с полицией заодно-с.

Калинин медленно допивал чай. Вскоре мы расплатились и вышли.

В темном переулке я различил коренастую фигуру. Тот же дворник! Ждет кого-то? Нас? При мне были листовки, и я, естественно, не хотел попасть в лапы человеку, который «с полицией заодно». Пронюхал, выследил или случайно стоит? Я хотел свернуть, но Михаил Иванович меня удержал.

— Пойдем.

А дворник уже шел нам навстречу. Михаил Иванович протянул ему руку, обернулся ко мне:

— Знакомься.

Я назвал первое попавшееся имя

— Ну, ладно, — сказал Михаил Иванович, — это Конон Савченко, можешь не опасаться. Он двоюродный брат мне. Это он вот уже несколько лет снабжает нашу партию паспортами.

И вот что оказалось. По всему Петербургу скупал «человек царевой службы» Конон Савченко у дворников и околоточных паспорта... мертвых: умершего не списывали, он «продолжал жить». Если охранка запрашивала о «хозяине» такого паспорта, сведения поступали из полиции безукоризненные, исчерпывающие, не вызывающие никакого подозрения. Эти паспорта были наиболее надежными, верными. Услугами Конона Савченко пользовались многие большевики.

И при этой встрече в темном переулке, неподалеку от чайной, Конон Савченко передал Калинину несколько паспортов.

— Денег у меня сейчас нет, не обессудь, — спокойно сказал Калинин, — а людей спасти нужно. Спасибо тебе, Конон.

— Спасибо мне, Михаил, не надо. Нешто не вижу, что в жизни делается? Сегодня опять получили наказ: усилить надзор за квартирами. Кто-то приехал в Питер, а кто — еще не знаем. Будет дело — приду.

Он повернулся, стал заметно шататься и запел какую-то грустную хохлацкую песню, громко и протяжно. Слова сливались в мутный поток.

— Вот оно как бывает в жизни. Золотой человек...— ласково глядя ему вслед, сказал Калинин.

А я думаю о самом Михаиле Ивановиче. Цены же ему нет за ум его, душевность, за великую веру в народ.

...Вот и пролетели пять лет с тех пор, как я впервые прибыл из Тулы в Питер к товарищу Иванову. За это время мне удалось получить среднее и высшее техническое образование. Скажу по совести, если бы не задание партии, вряд ли учился с таким упорством, вряд ли в течение года сумел бы, преодолевая усталость, окончить гимназию. Правда, я очутился в несколько более выгодном положении, чем другие. В свое время в библиотеке Сухотиных, которая была для меня открыта, я основательно познакомился с художественной литературой, прочел много книг по естествознанию, ботанике, химии. Помогло и знание языков, приобретенное в помещичьем доме.

Весна 1912 года — памятный рубеж в моей жизни: мне выдан диплом морского инженера, присвоен чин мичмана царского флота. Удалось получить и назначение, о котором можно только мечтать, — на «Океан». Великолепно! Ведь это корабль, на котором я плавал все учение. Здесь за эти годы мы создали крепкую большевистскую организацию. Добиться такого назначения — большая удача: на «Океане» машинная школа, подготавливающая морских механиков, отсюда уходят специалисты на корабли всего русского флота.

Да к тому же я назначен преподавателем. Мне предстоит обучать людей несению службы на корабле. Отлично. Начнем занятия!

3

«Океан» собирается в учебное плавание вокруг Европы. Воспитывать из среды моряков кадры пролетарских революционеров — в этом я вижу основную цель своей деятельности во флоте как большевика-офицера. Будущие революционеры должны иметь отличную военную и техническую подготовку.

На одной из явочных квартир, насколько я помню, на Выборгской стороне — еще осенью 1910 года меня свели с Яковом Михайловичем Свердловым. «Товарищ Андрей» — так мне его называли тогда — очень заинтересовался работой наших большевистских партийных организаций. Яков Михайлович сказал, что среди флотских офицеров большевики — редкость.

— Вот почему, — говорил Свердлов, — вы должны беречь себя. Будьте весьма осторожны, работайте с людьми так, чтобы в грядущей революции простые солдаты могли стать полководами. Каждый революционер должен суметь стать революционным генералом. Ваша задача — готовить матросов к революции.

Я помню, что Свердлов особенно предупредил меня о строгой конспирации:

— Смотрите, по пустякам не рискуйте.

Один из товарищей, присутствовавших на одной из таких бесед, в шутку заметил, что натуре русского человека почти всегда чужда осторожность: он любит все делать в открытую, нараспашку, да еще задиристо.

Свердлов улыбнулся:

— Задиристо! Задиристо... Нет, мы не нижегородские купцы, которые любят погулять, побуяствовать и побахвалиться потом, что про них

в газетах пишут. Мы большевики. Наша задиристость иная. Она не на показ. И мы задираемся и рискуем, но недаром говорят на Руси: «Береженого и бог бережет...»

Я невольно вспомнил эту давнюю беседу с Я. М. Свердловым, когда накануне отплытия ко мне подошел большевик, судовой машинист Рисман. Он сообщил, что латышские «Лесные братья» отбили у стражи тринадцать политических заключенных, приговоренных к казни. Смартников гнали в Ригу.

— Нужно немедленно спасти товарищей, — волнуется Рисман.

— Постой, — говорю я, — мы же уходим в плавание. А где «Лесные братья» и эти тринадцать ребят? В лесах Прибалтики. Не можем ведь мы в самом деле уйти с «Океана».

Но Рисман настаивает на том, чтобы мы собрались и посоветовались. Собираемся в одном из отсеков угольной ямы. На совещание приходят Рисман, Барабанов, Фрейман и Щербаков, все большевики, опытный и бесстрашный народ.

Рисман говорит, что в присланном ему донесении «Лесные братья» просят взять смартников к себе на корабль и увезти за границу. Опасаясь провала и считая, что для судовой партийной организации дело это очень рискованное, я высказываю мысль, что раз товарищи уже освобождены, пусть попытаются скрыться в бескрайних просторах России. Ведь в случае провала в первую голову рискуют большевики судна. Нельзя ставить под удар всю организацию.

Но сразу же после меня берет слово рулевой «Океана» латыш Фрейман:

— Не успел Панюшкин стать офицером, и уже осторожничает. Люди в какой беде, он забыл? Если мы не используем рейс «Океана» за границу и их поймают, что будет? Смерть! Нужно выручать. Взять на корабль — таково мое мнение.

Все поддерживают Фреймана. Пришлось согласиться и мне. Разрабатываем рискованный план спасения смартников.

Итак, мы в море. Ночь. Нам известно, когда должна причалить лодка. На вахте — все наши. Понятно, внутренне все насторожены, но по поведению людей этого не заметно: как обычно, несут службу. Только Миша Обысов — наш корабельный юнга — излишне суетится, бегаёт по палубе, пристально всматривается вдаль. Для него, самого юного из нас, это первая боевая проверка на верность партии: ведь только перед уходом в плавание он стал большевиком. Точно в намеченный час он должен дать сигнал фонариком в море — «потренироваться». Кто может запретить юнге тренироваться, да еще передавать в море: «Я здесь»? Тренируйся, юнга, страсть к службе всегда поощряется!

И вот Миша Обысов передает в открытое море: «Я здесь!»

Его сигнал видят во тьме на лодке. Его сигнала ждут и матросы «Океана». Быстро спущен «выстрел» — стальная, прикрепленная к борту судна труба, с которой свисает несколько постоянных веревочных лестниц.

С моря отвечают красным огоньком. Миша Обысов обрадован, бежит ко мне.

— Нашел их в море!

Прижимаю юношу к груди.

Миша на цыпочках отходит. Его роль окончилась — теперь он зритель. Он видит, как по лестнице взбираются люди, как мгновенно лодка отстает от нас и теряется во мгле, как люди — их тринадцать — быстро спускаются в отсеки, где их уже ждет одежда матросов нашего корабля.

Назавтра под вечер меня остановил на палубе мичман Ведерников, улыбнулся:

— У вас в машинном отделении пополнение. Встретил новых людей. Ловкие моряки...

Стараюсь держаться спокойно:

— У меня несколько человек заболело, пришлось заменить.

— Ну и как, удалось вам это?

— С успехом!

Он снова улыбнулся и отошел.

Я в отчаянии. Разыскиваю Маркелова — самого старшего по возрасту и самого бывалого в нашей организации. Рассказываю, строю планы, как спасти ребят. Ведь Ведерников — дворянин, сын адмирала, потомственный военный моряк да и заметно тянется по службе. Маркелов невозмутим. Дымит трубкой, которую, кажется, никогда не выпускает изо рта, и... улыбается.

— Мичман Панюшкин, больше хладнокровия. Все в порядке.

И Маркелов рассказывает, как, вернувшись с каторги, он подружился с Ведерниковым. Мичман часто с ним разговаривал, даже приглашал ко-чегара к себе в каюту, давал читать книги. Однажды Маркелов, возвращая Ведерникову томик Достоевского, вложил в книгу листовку. Ведерников прочел. При встрече заметил:

— Неосторожно работаете. Книга могла попасть в другие руки. Да и на меня как вы могли надеяться? Ведь в случае «осечки» вы снова очутились бы на каторге.

— Я вам верю,— спокойно сказал Маркелов.

— Спасибо,— ответил Ведерников и пожал матросу руку.

— Пришло время испытать мичмана,— говорит Маркелов.— Он может быть нам очень полезен. Я ему все рассказал. Он близок нам, а если уж пройдет через это испытание, навеки поручусь за него. Знаешь, Панюшкин, легче всего завоевать людей доверием. Провалит нас Ведерников — я в ответе...

На сердце стало легче.

За время плавания мы успели познакомиться с новым пополнением. Все они участники баррикадных боев в Юрьеве (Тарту). Трое из них — Климахин, Козлов, фамилию еще одного сейчас не помню — большевики. Были схвачены на баррикадах во время боя, долго скитались по тюрьмам, пока наконец их не приговорили к смертной казни. «Лесные братья» отбили их у стражи, перевозившей всю группу из Ревеля в Ригу, где приговор должен был быть приведен в исполнение. Кстати сказать, в 1917 году я встретил Козлова и Климахина в Кронштадте на одном из первых революционных митингов. Они только что вернулись тогда из Америки и, конечно, сразу с головой окунулись в активную партийную работу. Судьба остальных так и осталась мне неизвестной.

...Мы благополучно доплыли до Александрии — места, где следует расстаться с нашими «гостями». Но как спустить их на берег? Теперь надо сойти с корабля днем. Тех, кто идет с пропусками на берег, проверяют вахтенный и дежурный старший офицер. Снабдить беглецов пропусками в наших силах. Но каждому из них нужно знать, как подойти к начальству, как козырнуть, что сказать, если спросят. А ведь все тринадцать — сугубо штатские люди. Правда, в угольных отсеках наши ребята позанимались с ними, и они довольно быстро усвоили науку «есть глазами начальство». Разумеется, этого мало. Но сейчас уже не до рассуждений — надо действовать.

И мы начинаем действовать. Пока тринадцать моряков, участники этой опасной операции, проходят проверку и получают пропуска, тринадцать беглецов переодеты во флотскую форму. Вручаем им пропуска прошедших проверку. Вахтенный наш. Остальные дежурные тоже все наши. Вот только одна заминка: первым начальником патруля назначен мичман Ведерников.

Делать нечего, обращаюсь к нему:

— Мичман Ведерников, не могли бы вы сегодня заболеть? Мне бы хотелось сегодня быть первым начальником патруля.

— Действительно, черт меня побери,— говорит Ведерников,— с такой температурой не уходят с корабля...

Возглавляю колонну отпущенных на берег. Благополучно сходим. Встреча в саду, около бронзового памятника Наполеону. Здесь уже поджидает Фрейман. Он торопливо отбирает пропуска и мчится на корабль. С быстротой молнии пропуска возвращены их законным обладателям, прятаясь все это время в душной угольной яме. Умывшись, они тут же идут в жилую палубу.

А мы тем временем прощались. Прощание было коротким и взволнованным. Без свидетелей, если не считать безмолвной бронзовой статуи Наполеона. Ей-то можно было доверить нашу тайну.

Снова на корабле. Кажется, обошлось.

Но сменившийся вахтенный (это наш промах: новая смена не вся оказалась из наших) доложил старшему офицеру Шидловскому: «Все пропуска на месте, но тринадцать человек не вернулись с берега». Как мы могли упустить это?! Как могли забыть, что, кроме обычной проверки пропусков, всегда еще ведется «поштучный» счет: дежурный пересчитывает всех, кто уходит, и всех, кто возвращается на корабль. Шидловский немедленно рапортует о случившемся командиру корабля де Ливрону. Следует приказ: «Свистать всех наверх!»

Считают раз, два. Проводят поименную переключку — все на корабле.

Шидловский перед строем спрашивает ретивого вахтенного:

— Слышал ли ты когда-нибудь поговорку «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет»?

— Слышал, ваше благородие.

— Оно и зметно.

Раздается хохот. Но всегда строгий Шидловский на этот раз не прикрикнул на матросов.

— Как видишь, это не только ты понимаешь,— иронически обращается он к вахтенному.

— Виноват...

— Виноватых бьют. Три наряда вне очереди.

Миновало!..

Но нет — через два часа меня разбудил Ведерников.

— Готовьтесь к неприятностям. Из Петербурга получена депеша. Сам консул только что доставил ее на корабль. Сообщают о бегстве тринадцати смертников. Предложено обыскать все корабли, находящиеся в плавании.

Едва мы успеваем расстаться, как в каюту вбегает вестовой:

— Мичмана Панюшкина к командиру корабля!

— Есть!

Де Ливрон приглашает меня сесть, дает шифровку:

— Прочтите, мичман.

Внимательно читаю и спокойно кладу на стол.

— Я инженер-механик, ко мне это не имеет никакого отношения.

Де Ливрон пристально и понимающе смотрит на меня. Как-то он поведет себя сейчас, де Ливрон, сын парижского коммунара? Трудная у него задача!

— Я давно знаю, что на корабле хозяйничают вы и ваши товарищи. В настоящий момент речь идет о вашей жизни. Не правда ли, вы понимаете, что я не имею права сказать вам о том, что мне сообщил консул? Мне кажется, вам следует отстать от корабля.

Наш де Ливрон... Недаром любит его вся команда.

А де Ливрон уже вызвал ревизора судна.

— Мичман Панюшкин просит выдать ему денежное дозволение за пять месяцев. Я разрешаю. Ведь вы знаете, милейший, наши русские офицеры привыкли широко жить за границей.

Ревизор улыбается: да, конечно, кому-кому, а ему-то это хорошо известно. Старый служака не первый раз в плавании...

Короткие сборы. Прощание с друзьями. Последняя встреча с Ведерниковым. Он сует мне толстую пачку денег:

— Это от товарищей.

— Так вы с нами, мичман?

— Нет, еще не с вами, но на пути к вам...

Мы обнимаемся.

В Алжире я покидаю корабль, переживаю отплытие «Океана». Грустно и беспокойно. Через два дня мне удастся наняться механиком на «Сицилию», небольшое судно, направляющееся во Францию.

4

Еще задолго до того, как показался Марсель, я вышел на палубу. Что меня ждет на французской земле, вдали от родины? Трудно гадать — впереди неизвестность. Да еще эта глупая случайность — ночью обворовали дочиста, забрали деньги и вещи.

В тревожных думах день тянется медленней.

Вот и Марсель. Он еще еле виден на горизонте, а мне кажется, что я много знаю об этом городе. Невольно нашептываю «Марсельезу», и странно: вспоминаю не марсельский полк, вступивший с песней в Париж, и не автора песни Руже де Лилия, а далекий, но милый моему сердцу Мценск, где я впервые услышал взволнованные, полные силы и мужества слова этой песни. Ее пели Семашко и Бадаев. Они ее пели тогда несколько раз подряд, и так случилось, что я почти сразу запомнил мотив, слова и стал им подпевать. Потом я долго не расставался с этой песней.

Медленно схожу по трапу. Многолюдна пестрая и разноголосая пристань. Встречи, рукопожатия, поцелуи. Только меня, конечно, никто не ждет.

Очень одиноко. Отбилась от людей. Хожу по набережной, думаю: ну, а теперь куда? Что делать? В карманах ни одного сантима. Знаю, много наших в Париже, но как туда добраться? Тревожно и печально на сердце.

— Кто вы такой? Что вас так угнетает?

Оборачиваюсь. Это говорит человек с чуть продолговатым лицом, на котором выделяются маленькая бородка и еле заметные, коротко подстриженные усы. Он среднего роста. Ему, вероятно, не больше тридцати лет. По тому, как просто и добродушно он обратился ко мне, по улыбке и явному стремлению помочь я почувствовал доверие к этому человеку. Торопливо говорю по-французски. Боже мой, да понимает ли он мой тульский выговор? Он слушает с редкостным вниманием. Кажется, понял. Понял, что перед ним русский офицер, бежавший с родины по политическим убеждениям. Мы ходим вдоль набережной, и я рассказываю ему и о себе, и о России, и о пятом годе. И даже о нашей деревушке Кочеты.

— Я во всем вам поверил,— улыбается француз.— Ну, давайте познакомимся. Я — Лефевр, тоже социалист. Пожалуй, смогу вам помочь, только...

Он на мгновение запнулся и смущенно сказал:

— Видите ли, вам, вероятно, будет нелегко. Ведь русские офицеры ничего не умеют делать, они не умеют трудиться. Я много слышал и читал о русских офицерах. Они богатые люди и...

— И ленивы? — перебиваю я.— Верно. Только тогда они не родятся в курной избе сельца Кочеты.

Я рассказываю Лефевру о том, что умею делать и что мне довелось испытать в жизни.

— Великолепно! — оживляется мой новый знакомый.— Я работаю старшим мастером на плавучих доках портового завода в Марселе, и мне будет нетрудно найти вам работу. Я сам отбираю для себя рабочих...

Тепло и просто принимают меня в семье Лефевров. Сразу начинаю работать. И все же, прожив недолго в Марселе, я собрался в Париж.

— Раз вы решили ехать,— говорит Лефевр, с которым мы успели познакомиться,— я дам вам письмо к моему другу — социалисту Анри Пюжо. Он вам поможет: Париж не Марсель, там устроиться сложнее. Кроме того, я знаю вашего русского социалиста, профессора Луначарского. Я и ему напишу несколько слов. Вы слушали его когда-нибудь?

— Нет.

— О, вас ждет большая радость! Такого второго оратора я не знаю. Лефевр на мгновение задумывается, видимо, вспоминая о чем-то.

— Да, восхищение! Это будет самое верное слово,— говорит он.— Многие марсельские социалисты специально ездят в Париж только для того, чтобы послушать Луначарского.

Трудно передать ту радость, которую я испытываю от слов Лефевра. Так вот оно, кровное родство людей, одинаково мыслящих, исповедующих одну революционную веру! Может быть, зная Луначарского, Лефевр так охотно помог и мне, ввел в свой дом, устроил на работу и даже дал свой новый костюм...

Вечерним поездом с письмами к Анри Пюжо и Луначарскому уезжаю из Марселя.

5

Анатолий Васильевич Луначарский внимательно прочел письмо и теперь расспрашивает, какие пути-дороги привели меня в Париж.

— Знаете, Панюшкин, трудно вам будет в Париже. Тут такая безработица, что французы не знают, куда девать своих рабочих.

Я говорю, что не боюсь никакой работы, и упоминаю о письме к Анри Пюжо.

— Я его знаю,— улыбается Анатолий Васильевич.— Это один из активистов, член социалистической партии, бывший моряк, очень хороший товарищ.

Разговаривая, Луначарский ходит по комнате. Тонкий, стройный, он оживленно жестикулирует и кажется совсем молодым в своей русской черной рубашке навыпуск, вышитой по подолу и вороту и ловко подпоясанной в талии черным крученым пояском.

— Французы — хорошие товарищи. Я уверен, Анри Пюжо вам поможет.

И все же на прощание Луначарский меня выругал:

— Послушайте, Василий Лукич.— Луначарский надел пенсне и пристально посмотрел мне в лицо.— А все же я удивляюсь вашей наивности. Как же это так — высадиться в незнакомом порту и все рассказать первому встречному? Хорошо, что это оказался Лефевр, а если бы... Нет, так нельзя. Ни в какие ворота не лезет. Вот приедет Владимир Ильич, я ему все расскажу. Ох, и достанется вам!

Ленин!.. Неужели я увижу его?

Мы договариваемся с Луначарским о встрече, и я ухожу. Нет, я ничуть не в обиде на Анатолия Васильевича. Пусть все расскажет, пусть мне достанется от Ленина. Неужели, неужели я действительно встречаюсь с ним?..

У ворот завода Рено поджидаю Пюжо. Когда он проходит мимо вахтера, тот окликает его, говорит, что им интересуется какой-то друг. Услышав, что у меня есть для него письмо от Лефевра, Пюжо обрадовался:

— Идемте ко мне.

Он подхватил меня под руку и повел. Пюжо на ходу прочел письмо, аккуратно сложил и сунул в боковой карман. Неожиданно остановился.

— Вот мы и добрались. Теперь мой дом станет вашим домом. Смелее, старина.— И он почти втолкнул меня в калитку, которую гостеприимно распахнула молодая, красивая женщина.

Так я поселился на Биенкур, в одетом зеленую коттедже Анри Пюжо. Прошло немного времени, и Пюжо помог мне наняться слесарем на завод Рено; вскоре меня перевели на испытание моторов.

Однажды Луначарский пригласил меня и Пюжо в театр на свой реферат:

— Кстати, там будет Владимир Ильич. Я вас с ним сведу.

А. В. Луначарский встретил нас у подъезда. Вестибюль театра переполнен. У входа толпа, но попасть на реферат «русского профессора» многие так и не могут: все билеты проданы.

Луначарский говорит, что Ильич должен прийти с минуты на минуту.

— Лидер пришел!..— сказал Пюжо.

Ленин появился из боковой двери, никем не сопровождаемый и как будто бы никем не замеченный. Подошел к группе людей, окруживших Луначарского, поздоровался со всеми за руку. Я прирос к месту и во все глаза разглядываю Ленина. Как много я слышал о нем, а теперь вот Ильич стоит совсем рядом! Вдруг слышу громкий голос Анатолия Васильевича:

— Тут, Владимир Ильич, новичок... из России...

— Где он? — Ленин обернулся, смотрит по сторонам.— Очень хочется послушать живого человека. Что-то у нас там дома делается?

Когда я подошел, Ленин пожал мне руку и спросил:

— Вы только из России? Мне Анатолий Васильевич сказал, что вы совсем недавно приехали.

Я ответил.

— Анатолий Васильевич коротко рассказал мне всю вашу историю. Но я очень хотел бы услышать, что у нас там в Питере делается. Вы ведь из Кронштадта? После доклада непременно прогуляемся и зайдем к Анатолию Васильевичу. Ну, а сейчас, кажется, пора. Время начинать.

Из вестибюля мы пошли в зал. Вдруг Ленин резко обернулся и почти строго спросил:

— Да, а, между прочим, кто разрешил вам взять на корабль смертников? Насколько я знаю, вы ни с кем не согласовали этого вопроса?

Это было для меня полной неожиданностью. Опустив голову, я глухо ответил:

— Я сам.

— Ах, сам! Ну, посмотрим, как это сам может распоряжаться такими делами. После поговорим.

Перед началом доклада Ленин вновь обратился ко мне:

— А скажите, товарищ Сам, как у вас с жильем, есть ли у вас средства?

— Знаете, Владимир Ильич, я могу не только хорошо прожить, но и помогать товарищам.

Ильич оживился, прежняя пасмурность сошла с лица.

— Великолечно! А то, знаете, приезжают сюда многие, работы боятся и садятся на шею Российскому эмигрантскому комитету. Это же никуда не годится! А у вас хорошо! Очень хорошо! И все-таки придется отвечать за ту недисциплинированность, которую проявили. Знаете, батенька, такие дела папахивают анархией. В нашей партии это нетерпимо.

Начался доклад. С первых же минут Луначарский завладел залом. Анатолий Васильевич расхаживал по сцене и говорил свободно, с увлечением, ни разу не обращаясь к бумажке, к записям. Исторические даты, имена, даже цифры — все на память. Образность и плавность речи, страстность, редкий дар импровизации, умение удивительно быстро и метко отвечать на реплики — вот черты его ораторского искусства, которые сохранились в моей памяти на всю жизнь.

После доклада, в полдень, мы собрались, как условились, дома у Луначарского. Уселись на веранде, и Ильич сказал:

— Ну, что ж, давайте объясняться. Значит, сам... Ну, рассказывайте, товарищ Сам.

Он ласково, по-ильичевски, посмотрел на меня и улыбнулся.

— Не мог же я, Владимир Ильич, товарищей в беде оставить. Выручил. Где уж тут думать о себе и последствиях!

— Вот вам русский характер! — Ленин живо повернулся к Луначарскому. — Вот, Анатолий Васильевич, еще пример. А вы ищете, как бы примирить людей с богом. Пустое! Таких людей не примиришь. Они сами все могут.

Прошелся по веранде, о чем-то думая, а потом остановился около Луначарского.

— Какие люди! С ними можно завоевать весь мир!.. И все же, товарищ Панюшкин, необходима дисциплина. Нам очень нужны партийные работники в армии, в особенности во флоте. Без этого нельзя победить. И особенно важна осторожность, очень важно сохранить силы. Ну, что было, то было.

Ленин подробно расспрашивал меня о Кронштадте, о работе на «Новом Лесснере», о товарищах. Очень заинтересовался моими связями с деревней.

Слушал внимательно. Задумался. Замолчал. Мы переглянулись с Луначарским. Он понимающе кивнул мне, чтобы я продолжал говорить. Я вдруг остро почувствовал, как грустно здесь Ленину, как скучает он по родине, как тяжело ему сейчас быть так далеко.

Луначарский перебил меня какой-то шуткой. Владимир Ильич благодарно и весело рассмеялся. Говорили мы долго. И потом вдруг, неожиданно — не раз замечал я потом у Ленина эту манеру — он резко, без видимого для собеседника перехода спросил:

— А теперь скажите: что с вами сделают, если отправитесь обратно в Россию, к себе на корабль?

Рассказываю, что получил письмо от своего товарища мичмана Ведерникова. Он разговаривал с де Ливроном, и командир корабля обещал все свести к простому, а не умышленному невозвращению на судно. Словом, «остался нечаянно». Будет суд, и, по всей вероятности, разжалуют на год в рядовые.

— Это не страшно, — спокойно сказал Ленин. — Тут риск небольшой.

— Но, может быть, и на каторгу сошлют... Но я не боюсь.

— Каторга — это хуже. наших теперь много на каторге. Вам очень важно задержаться на корабле хоть матросом.

— Постараюсь, Владимир Ильич.

— Это было бы хорошо. Значит, мы с вами так и условимся. Отдохнете немного и готовьтесь к возвращению. Время сейчас напряженное. Европа катится к войне. Нам нужны крепкие партийные организации, работающие среди солдат и матросов. Оружие должно быть использовано в интересах революции. И запомните. Назревает не только война, зреет и революционная ситуация. Мы должны быть готовы ее использовать. Ну, готовьтесь домой, товарищ Сам.

Перед отъездом в Россию я вновь встретился с Лениным, но уже в Швейцарии. На этот раз он больше всего интересовался флотом и давал советы, как лучше организовать работу среди моряков.

— Счастливого вам пути, товарищ Сам...

Вскоре один из членов нашей партии вручил мне паспорт на имя Вильгельма Сама, уроженца Финляндии. С этим паспортом я благополучно прибыл в Петербург. Так к моей партийной кличке «Моряк» прибавилась ленинская «товарищ Сам». В чемодане с двойным дном я привез листовки и ленинские письма для Петербургского бюро ЦК. Все материалы благополучно передал по назначению.

В Кронштадте я встретил своего односельчанина Александра Корченкова, узнал от него все новости, расспросил, что говорят о моем бегстве с корабля. Он сказал коротко: «Поругали да и забыли».

Это меня немного успокоило. Хорошо, что не было шума.

Когда де Ливрону доложили, что явился мичман Панюшкин, он велел, чтобы я прошел к нему. Встретил меня сдержанно, даже строго:

— Придется вас посадить в каюту.

Это значит: арестовать. Он приказывает сопровождавшему меня вахтенному офицеру, чтобы тот позаботился о каюте и охране.

Мы остаемся вдвоем.

— Все еще может обойтись благополучно, мичман, — говорит де Ливрон. — Что поделаешь? Мало ли на свете романтических историй! Мало ли женщин, за которыми пойдешь куда угодно? Ведь, надеюсь, не революционные идеи вас увлекли...

Намек был более чем прозрачный. Когда в каюту вернулся дежурный офицер, де Ливрон, повысив голос, продолжал:

— Стыдно, мичман. Стыдно! Увлечешься юбкой и отстать от корабля! Вы подвели всех своих товарищей-офицеров. Будем судить. Уведите.

Меня увели. Я хорошо понял де Ливрона. Сегодня вся кают-компания будет знать, что «мичман Панюшкин увлекся юбкой».

Меня содержат в моей же каюте. Заходят офицеры, игриво подмигивают, многозначительно намекают на то, что это очень по-светски — увлечься женщиной. Пришел и Ведерников.

— Пока, Василий Лукич, все идет отлично. Ваше дело поручено вести следователю, у которого роман с одной француженкой в Петербурге. Так что ваша «романтическая история» не может не вызвать у него сочувствия.

Когда следователь входит в каюту, он находит меня в совершенной прострации. Со слезами на глазах я говорю о своей Жозефине, о том, как случайно встретился с ней в Африке, как увлекла она меня в Париж, вымотала все деньги, бросила.

— О, как она коварна!..

Я в отчаянии.

— Послушайте, мичман, для женщины не так просто бросить мужчину. Не кажется ли вам, что вы сами в этом виноваты?

Завязывается беседа. Следователь заинтересован моим рассказом. Расчет оказался верным: теперь сам следователь сочиняет небылицы о моих любовных приключениях. Слух о них доходит до салона самого кронштадтского генерал-губернатора, вице-адмирала Вирена. А у того совсем недавно дочь бежала с матросом в Америку! Он вне себя. Но гнев Вирена на этот раз мне на руку. Узнав о моей истории, вице-адмирал вызвал следователя и в бешенстве заорал:

— В рядовые его, в рядовые!!!

Так и разжаловали меня в рядовые (тем более, что председателем суда был де Ливрон), как я и думал, на год. Теперь я в штрафном разряде, электриком. Но зато здесь же, на «Океане». Это было самое лучшее, на что я мог рассчитывать. Это было то, чего хотел Ленин...

Как строятся наши партийные организации в Кронштадте? На каждом корабле создано несколько пятерок и троек. Разумеется, каждый член такой ячейки знает только свою тройку или пятерку. Руководители ячеек обычно входят в руководящий центр на корабле. Но мы, естественно, никогда не собираемся вместе. Встреча двадцати — тридцати руково-

дителей пятерок и троек может привлечь внимание. И без того мы пережили не один провал и хорошо знаем, что на кораблях есть провокаторы, которые стремятся пролезть в нашу среду. Собрания и совещания короткие и деловые. Обычно обсуждаем, что сделано, что предстоит сделать, интересуемся настроением моряков. Получив конкретные задания, быстро расходимся. Как и с 1908 года, до ухода в злополучное плавание, я снова теперь инструктор и военный организатор Петербургского бюро ЦК в Кронштадтском укрепленном районе — руководитель военной организации Балтфлота и крепостей Балтики. Вполне понятно, что всю работу веду постоянно через руководителей партийных организаций на кораблях, в командах, училищах, экипажах.

К этому времени на Балтийском флоте действует сильная большевистская партийная организация. Но и эсеровская организация тоже многочисленна, и за ней идет немало матросов и офицеров. К эсерам тянутся больше всего непролетарские элементы — матросы из крестьян и интеллигенции. С эсерами приходится воевать, и мы часто вступаем в жаркие схватки. Между нами шла ожесточенная борьба за завоевание матросской и солдатской массы.

Смышленный, умный, волевой народ у нас на кораблях! И знающий и бывалый. Все лучше, все глубже начинаю понимать ленинские слова о том, как важна и благотворна работа на флоте, какой опорой революции должны и могут стать моряки. Действительно, это все больше рабочий народ: без специальности теперь почти не берут на флот, тем более к машинам. С заводов, фабрик к нам идет грамотное, умелое молодое пополнение. Немало уже знают, повидали, прошли хорошую школу. И связь с деревней не порвана: письма летят со всей Руси, души подогревают. Много видят моряки, вот хоть бы и мы: каждый год уходим в заграничное плавание. Сами убедились: может, и лучше живут в заморских странах, да только рабочий человек все равно везде живет хуже всех. И как ни «оберегают» нас, видят люди, начинают разбираться, что к чему. Возможности партийной работы на флоте огромны. Уж очень много жесточайшего притеснения. Жаждут моряки правдивого слова, справедливости. Недаром восстали в 1905-м «Броненосец Потемкин» и «Памяти Азова». Теперь переименовали корабли, чтобы исчезли с лица земли крамольные имена. Только память не сотрешь...

А царь ненавидит и боится матросов. Идет на флот цвет нации, цвет народный. Ну и мнут, давят здесь сердца и умы — по-русски, по-самодержавному.

Даже песни матросской бояться — не спеть моряку той, какую душа просит.

По всей Руси — даже бродячие шарманщики — поют «Стеньку Разина», а флотским нельзя! И «Есть на Волге утес» тоже нельзя петь моряку. И «Раскинулось море широко» — строжайше запрещено! Кто сочинил ее, откуда пришла эта песня про кочегара? Самая любимая, все ее знают. Да и как не знать, как не любить ее, если горе-горькое матросское выговаривает! Сколько их, таких кочегаров, на каждом корабле, шатаясь, выходят на палубу, на груди в предсмертной муке рубаху рвут! Сколько сыновей не дождутся в деревнях: без войны погибли, находят их замертво у топок. Завернут товарищи в брезент — и в воду. Морское погребение... Нет, нельзя петь «Кочегара»: не песня — сама правда. Боится ее начальство.

А тут еще новая песня появилась: «Слезам залит мир безбрежный, вся наша жизнь — тяжелый труд». Эта песня о красном знамени сразу полюбилась морякам. Уж тут не уныние, не горе безысходное — песня зовет к борьбе.

Понятно, и ее запретили.

Когда после ужина боцман командует свое: «Стричься, бриться, в ба-

не мыться, песни петь и веселиться!» — дежурный офицер в назидание молодому пополнению да и старикам объявляет теперь:

— Только «Стеньку», «Кочегара» и «Утес» не петь: худо будет! Ка-торжные песни моряку не под стать.

В последнее время особенно лютуют против «Красного знамени».

...Партийная организация большевиков стремится вызвать у матросов чувство неповиновения.

Неповиновение в той или иной форме начальству — наш спутник в борьбе.

Матросы любят петь. Вот наша большевистская организация и использует это. Не очень-то легко на таком корабле, как наш, выловить зачинщиков: велик «Океан». А моряки берут начальство измором.

— Кто опять пел?!

— Никак нет, ослышались, ваше благородие!..

А лишь отошел, снова запели. Всех не накажешь. Поди, поймай ее, песню, душу живую.

Но тяжко, все более тяжко служить людям на флоте! Один вице-адмирал фон Вирен, главный командир кронштадтского порта, чего стоит.

Часто можно наблюдать в Кронштадте такую картину. Торопливой и четкой походкой идет матрос. Не оборачиваясь, громким шепотом передают встречному:

— Вирен!

— Вирен!.. Вирен!! Вирен!!!

Мгновенно, так же шепотом, это передается из уст в уста. Матросы поворачивают назад, исчезают в переулках, расходятся на корабли, бегут, устремляются на окраину. Его не только боятся, его ненавидят. «Фон Вóрон»... Так зовут его матросы. Даже офицеры называют вице-адмирала «фон Несчастье».

Как-то при мне (мы стояли на полубаке) матрос доложил дежурному офицеру Ведерникову:

— Встретил вице-адмирала Вирена, приказал дать три наряда вне очереди. Так что бляха не блестела.

Ведерников проверил бляху, убедился: абсолютно чистая. Строго сказал матросу:

— Три наряда от вице-адмирала и один от меня. Ясно?

— Так точно, ясно...

— А за что я тебе наряд даю?

— Не могу знать...

— За потерю бдительности. Понятно?

— Никак нет...

— Как же ты, бывалый моряк, и вдруг на глаза Вирену попался? Позор! Выполнять приказание!

Матрос улыбнулся и ушел.

Так и наказание исполнить не страшно! Молодец мичман! Большого он сделать не мог: дежурный офицер... И моряку каждому понятно: встреча с Виреном не только горе для матроса, но и пятно для корабля.

Кажется, Вирен рожден только для издевательств над людьми. Сотнями, тысячами считаешь тех, кого он ни за что ни про что посадил на гауптвахту, предал суду. Но и это еще не самое страшное. Вирен, верный сатрап царского престола, не просто наказывает, он наслаждается своей полной и бесконтрольной властью над людьми, одетыми в матросскую форму. Он ненавидит их смертельно еще и за то, что собственная дочь его посмела сбежать с матросом. Где и как только может, он оскорбляет моряка, унижает человеческое его достоинство.

Передают мерзейшие истории, одна хуже другой, и все правда. Однажды в воскресный день я сам стал свидетелем такой сцены. В Петров-

ский парк входил матрос сверхсрочной службы унтер-офицер Иван Иванович Гаврилов, бывший рабочий Балтийского завода, лет двенадцать служивший на флоте. Гулял вместе с женой и дочерьми: у него две девочки, которых любят и знают на корабле. Родились они еще до службы. Известно, как бережет их Гаврилов. Вечно подтянутый, старый службист, хорошо знающий флотские порядки, он не любит появляться в центре города, да еще в праздничный день. Как потом я узнал, уж очень дети просили показать город. Уступил им и... напоролся на Вирена.

Вирен остановил моряка за... невнимательность. Он велел показать бескозырку, есть ли на ней отметка У каждого моряка по околышу должно быть написано: имя, отчество, фамилия и номер.

Гаврилов снял, показал.

Тогда случилось то, о чем мне не раз рассказывали, но чего я прежде никогда сам не видел. Трудно даже поверить! Вирен приказал моряку... спустить штаны и показать, есть ли такая отметка на кальсонах. Моряки часто писали метку чернильным карандашом: при стирке она выцветала, но редко кто догадывался вышить метку и номер. Беда...

Мне казалось, это меня раздевают донуга на людной площади в присутствии целого города, на глазах у жены и дочерей. Я стоял и смотрел на эту чудовищную экзекуцию. Я сжал кулаки так, что ногти врезались в ладони, но ничего не мог сделать. Я не мог уйти. Я должен был видеть и запомнить.

Гаврилов раздевался медленно и спокойно, с удивительным достоинством. Улица опустела: не от испуга — от человеческого стыда. Ужасно было смотреть, как посредине залитой солнцем площади остался в одной фланелевой матросской рубашке и исподнем белье высокий, могучего сложения человек. Большие руки бессильно опущены, в пальцах зажата бескозырка, только светло-русые волосы чуть шевелит родной, вольный, морской ветерок. Страшная тишина: весь этот красавец-гигант сейчас в полной власти крошечного и злого ничтожества.

Маленький — едва до плеча Гаврилову, — юркий и суетливый, дергается и вертится около полураздетого матроса по всей форме разряженный вице-адмирал Российского флота фон Вирен. Внимательно и брезгливо рассматривает полку матросских кальсон. Руки то за спину, то в резком картинном жесте, в такт быстрым, визгливым словам. Начальник Кронштадтской крепости всея Руси!..

Проверил, убедился, что и имя, и фамилия, и номер на одежде есть. — Вышито! Счастье твое, иди...

Повернулся и пошел по пустой, гневно расступившейся перед ним улице. Гаврилов так же медленно и спокойно оделся. Сколько должно было стоить ему это спокойствие!

И перед моими глазами встала другая площадь... Далекие родные Кочеты, исправник Тимофеев у дома помещика. Вызывает по одному. Доходит очередь и до меня. Кругом столпились все, кто знает меня с детства. Здесь и мать и отец. И девушки кочетовские. Первая оплеуха, которая огнем загорелась на лице и осталась на сердце, — не растопить. За все, за все расплатимся...

Однако велика сила, удивительный характер у людей земли русской. И чувство юмора великое. И находчивости не занимать.

Все знают, Вирен любит прятаться: выслеживает из-за угла или подворотни, ничем не чурается, лишь бы поймать моряка. Честь не отдал — наряд! Гауптвахта!

И вот... Торопливо идет молодой, тонкий матросик: опаздывает на свидание. Но визгливый, хриплый голос вице-адмирала останавливает моряка: из-за полуоткрытой двери своего дома вышел Вирен — стоял, поджидал очередную жертву.

— Почему честь не отдаешь?

— Не заметил, ваше превосходительство...

— Не заметил? Мать ты свою замечаешь?! А видишь, скотина, полицейского на посту?..

— Так точно, вижу, ваше высокопревосходительство.

— Видишь... Пойди тотчас и доложи: «Приказал вице-адмирал Вирен меня, подлеца, отвести на гауптвахту. Двадцать суток!» Понял?

— Так точно. Есть пойти и доложить...

И матросик, печатая шаг, подходит к полицейскому:

— Так что его превосходительство вице-адмирал Вирен приказал мне сейчас отвести тебя, подлеца, на гауптвахту. Двадцать суток! Следуй за мной!

Повернулся и так же, печатая шаг, отправился... выполнять приказание. Матрос впереди, за ним следует, вытянувшись в струнку, хмурый, оторопевший полицейский: шествие наблюдает сам Вирен! А Вирена полицейские боялись, пожалуй, еще больше, чем моряки. Не идти же ему, в самом деле, спрашивать у коменданта крепости, так ли это и за что наказан! У Вирена, да за что!

Матросик бодро сдал на гауптвахту полицейского: «Вице-адмирал приказал...»

А сам поспешил на свидание.

Но на этом дело не кончилось.

Двадцать дней злополучный полицейский провел на гауптвахте. Наступил двадцать первый, двадцать второй... Никто за ним не идет, никто о нем не спрашивает. На гауптвахте заинтересовались этим, спросили полицейского. Тут все выяснилось. И получил бедняга... еще тридцать суток — теперь уже действительно от самого Вирена! Когда «фон Ворону» доложили об этом, он пришел в ярость. Начались поиски матроса. Но моряки втихомолку посмеивались: кто выдаст озорного и смелого парня? И ненавистного «Ворона» провел и на свидание не влоздал. Вот это моряк! Как ни свирепствовал Вирен, смельчака не нашли, хотя весь Кронштадт знал, кто совершил этот поступок. А наши, матросы с «Океана», так просто гордились. Шутка ли, не на всяком корабле найдется такой моряк, который не растеряется, повстречавшись с Виреном, проявит такую находчивость, какую проявил юнга с учебного корабля Миша Обьсов!

...Только редко все кончается так благополучно. Люди не выдерживают издевательств.

Прошлой зимой бросился с палубы — головой об лед — белорус горнист Котухов: замучил его капитан Сухачевский. Наряд за нарядом, под винтовку и «на губу»: то не расслышал, то не так быстро исполнил. И все это вежливо, спокойно: «Дисциплина требует, не я, братец»...

Весной хоронили еще одного матроса — покончил с собой Сальман: отравился газом в камере для выработки кислорода.

Гневом полнятся сердца матросов. И из дому пишут: горе-горькое... Что делать?! Нет, не умирать! Не мстить в одиночку! Бороться! Коллективно, сообща...

Растут большевистские организации на флоте. Наше влияние усиливается. Достаточно сказать, что пятерка Алексея Щербакова после возвращения из плавания вокруг Европы разбилась на пять пятерок, которые возглавили старые члены партии. Щербаков же теперь руководил всеми этими группами. Ячейка Ивана Сладкова тоже разделилась. Во главе одной из новых пятерок стоит ныне самый молодой член партии — юнга Миша Обьсов. Не по годам серьезный и гордый оказанным ему доверием, он с успехом руководит своими товарищами. И вдруг совершенно неожиданно и случайно я узнаю...

Мы с ним сидели, помнится, на палубе, и я рассказывал ему о Париже, о Ленине, о встрече с французскими социалистами. Он внимательно слушал, задавал много вопросов и, когда мы собрались прощаться, шепнул мне:

— Сегодня мой дневник обогатится!

— Какой дневник?

— Хотите, прочитаю?

Спускаемся в угольный отсек. Миша разрывает уголь и извлекает оттуда тетрадь, обернутую мешковиной. При желтовато-тусклом свете читает.

Все имена, даты, все события с момента вступления в партию и до недавних дней!!! С педантичной точностью зафиксировано все, даже история с нашими тринадцатью смертниками. А сколько подробностей! Многие из них даже мне неизвестны. Мишу Обысова любят на корабле, ему доверяют. И как много он делает для партни, наш корабельный юнга! Почти ежедневно матросы из Мишиной пятерки бывают на берегу: они связаны с питерскими большевиками, путиловскими рабочими, обучают боевые дружины. Кому не знакома такая картина? В лесу идут занятия. Люди изучают винтовку, строй, опыт революционных боев, а вокруг разнаряженные группы женщин за самоварами. Пароль на случай появления чужих: «Собрали ли вы грибы? Идите, заждались». Знаю, как нелегко это: ведь по заданию Петербургского бюро ЦК и сам я не раз проводил военные занятия с рабочими «Нового Лесснера»...

Но вот новая запись, гневные лаконичные строки: «Совсем недавно перевели в Кронштадт капитана по адмиралтейству Фарафонтьева. Выслужился-таки: повысили из пехоты за то, что в 1905 году расстрелял он двести кронштадтских минеров, песня о которых поется и сейчас, как святая молитва».

В дневнике Миши Обысова и слова этой песни. Короткое примечание: «Разучили, поем». «Горько и тяжело — палач революционных матросов в крепости!». Гневом наливается сердце молодого юнга, дневник зовет к мести. «Запомните его портрет, — свидетельствует Миша Обысов, — лет сорока, краснорожий, с отвисшим животом, дробным шагом, почти гусиным... Он ходит по Кронштадту... А мы будем петь песнь о погибших минерах, и мы не забудем о Фарафонтьеве, он не уйдет от нашей кары...»

Сколько лет прожито, а до сих пор помню я эти слова из дневника «океанского» юнга.

— Верно, Миша, когда мы победим, нам нужно знать о людях все — и хорошее и худое. Ведь мы собираемся жизнь строить заново. Как же терпеть на земле, как же быть нам рядом с такими, как Фарафонтьев!

Страницу за страницей читает Миша. Чтение захватывает.

Но пыл мой мгновенно охлаждается, когда думаю: а что, если этот дневник попадет в чужие руки?

— Сжечь!.. — строго говорю я.

— Зачем? — недоумевает Обысов. — Это же история! Может быть, нас не будет в живых. Пусть люди узнают. Те, кто придет...

— Да понимаешь ли ты, что тут нити к сотням товарищей?!

Направляюсь к топке. На наше счастье, на вахте кочегар Маркелов.

— Тут надо предать огню одну вещичку.

Маркелов не спрашивает, что нужно сжечь, быстро открывает и так же быстро закрывает заслонку. Дневник в топке.

— А ты, Миша, поговори с Маркеловым. Он на каторге был, знает цену конспирации.

Они остаются, а я поднимаюсь на палубу. Неотступно думаю о дневнике Обысова. Замечательный человеческий документ! Какой революционер растет — ведь что ни строка, то радость за успех общего нашего дела, огорчение от неудачи, стремление сделать лучше. Какие прекрасные строки о революции! Я, кажется, полюбил юнгу еще больше. Очень жаль его сожженного дневника. Для истории... Да, конечно. Но сегодня не до сентиментов. Сегодня мы делаем историю. И она нас простит.

Хотя я и в штрафном разряде, но мои связи с людьми не ослабли. Наоборот, они расширились и окрепли. Дел по службе стало меньше, дел по партии — больше. Встречи, беседы с товарищами, борьба с эсерами, дружба с новыми людьми, пришедшими к нам. Флот бурлит. Флот все больше и больше начинает жить, помня пример «Потемкина» и «Памяти Азова».

И я вновь вспоминаю Ленина. Как дать знать ему, что я выполнил его наказ — удержался на корабле? Но это неосуществимо, постоянно держать личную связь даже с Питерским комитетом большевиков опасно: следят. Однажды, возвращаясь с Выборгской стороны, я заметил, что за мной увязались двое. Сколько ни плутал, не отстают. Как избавиться? Сажусь на извозчика — они следом. Иду пешком — они по пятам. Наконец нахожу выход. Спешу на пристань, где ремонтируются корабли, быстро подымаюсь на первый попавшийся, но и «хвосты» неотступно следуют за мной. С одного корабля прыгаю на другой, знаю, где можно перейти. Они — тоже... и попадают между кораблями прямо в воду. Свистки, крики: «Тонут, люди тонут!»

Благополучно добираюсь к себе на «Океан». Передаю об этом случае в Питер.

Вскоре меня встречает Кирилл Орлов, видный на флоте большевик, еще в девятьсот пятом году прошедший революционную школу на Черном море. Он тоже связан с Питером. Мы с ним ведем работу параллельно, — как, впрочем, ведут ее и другие товарищи, — чтобы сеть партийной организации была разветвленной и чтобы не ослабилась работа в случае провала.

— Хорошо бы, Василий, прогуляться по берегу...

— Понимаю!

Блуждая по городу, говорим о делах, потом заворачиваем в сад. И тут Кирилл Орлов знакомит меня с девушкой — стройной и русоволосой. Она улыбается, протягивает руку:

— Людмила Николаева.

Улыбается и Кирилл Орлов.

— Ну, оставайтесь. Третий, как говорят, лишний.

Людмила берет меня под руку и увлекает в сад.

— Я к вам от Петербургского комитета. Для связи. Вот записка.

Читаю. Потом она берет записку и разрывает на мельчайшие кусочки.

— Я учусь на Высших женских курсах. Вы всегда можете меня найти там. Да и сама буду приезжать к вам почаще.

Кто-то идет. Людмила нарочито громко говорит:

— Надеюсь, я вам нравлюсь!

Услышали, захохотали, прошли мимо.

— Так вот, хорошенько запоминайте меня. Ведь теперь вы за мной «ухаживаете».

Коротко рассказывает о себе. Я — о себе.

— А теперь к делу. К нам плывет Пуанкаре. Французский премьер везет в Россию войну. Надо показать ему, что русский народ войны не хочет. Задание комитета такое...

— Ясно.

— Готовьтесь. Через два дня я снова у вас. Запомните: поручение очень ответственное...

Встречаюсь с руководителями пятерок и троек. Создаем группу боевиков: ведь царь и его сатрапы не допустят мирной демонстрации протеста против заморского гостя. Боевиков готовят Иван Сладков, Николай Маркин, Михаил Прохоров, Евгений Рисман и Алексей Щербаков. Заботимся об оружии — на всякий случай. Все чаще приходит ко мне «на свидание» Людмила Николаева.

Ну что ж, добро пожаловать, мосье Пуанкаре. Мы хорошо помним

статью «Правды», которая писала, что европейская буржуазия судорожно цепляется за военщину и реакцию из страха перед рабочим движением... Единственная гарантия мира — организованное, сознательное движение рабочего класса.

Кому, как не нам, поддержать рабочих!

8

Опыт стачечного движения и демонстраций питерский пролетариат имел огромный. «В России,— писал Ленин,— замечательно успешно развивается с 1912 года революционная массовая стачка».

Капиталисты ошетинились: на массовые стачки они все чаще отвечают локаутом. Петербург бурлит. И когда 20 марта 1914 года петербургские заводчики в один день выбросили на улицу семьдесят тысяч рабочих, Петербургский комитет РСДРП(б) обратился к трудящимся с воззванием, которое кончалось словами: «Товарищи! Выходите на Невский проспект в 11 ч. утра 4 апреля».

В Питере мощная демонстрация. По директиве Петербургского большевистского комитета группа кронштадтских моряков вошла в город: в случае кровавых столкновений мы должны выступить на стороне рабочих. Петербургский комитет неизменно подчеркивает необходимость более тесного единения матросов с рабочими. Такие события для матросов — прекрасная школа революционной закалки.

В апреле во время подготовки к демонстрации я часто бывал в Питере. Теперь же, в июле, в канун войны, когда в столицу к Николаю II плывет с визитом Пуанкаре, постоянную связь с ПК поддерживаю через Людмилу Николаеву. Она все чаще и чаще появляется в Кронштадте. Мы передаем сведения об интенсивной подготовке к встрече неспрошенного гостя.

И вот наконец настал день выступления. Часть матросов мы переправили в Питер еще накануне вечером. Рано утром вывозит свою тройку Иван Сладков. Вслед за ним прибываю с моряками и я. Каково же мое удивление, когда нас встречает Людмила Николаева! Она, как обычно, в строгом платье, в легких туфлях, только голова покрыта ярко-красной косынкой.

Я к ней:

— Что-нибудь новое?

— Нет, все остается по-прежнему.

— Зачем же ты здесь?

— С вами. Сестрой милосердия...

По городу идет демонстрация протеста. То и дело раздаются возгласы:

— Долой Пуанкаре!

— Не хотим войны!

— Пуанкаре — это война!

Нависла тревога. Повсюду вооруженные отряды полиции, конные разъезды.

Кронштадтские моряки и вооруженные рабочие на страже. Охраняют демонстрацию.

Начались столкновения демонстрантов с полицией. Мы вмешиваемся. На углу Симбирского переулка (на Выборгской стороне) баррикада. Завязывается перестрелка. Откуда-то появляется кавалерия. Отчаянно защищаемся. Рядом со мной падает Людмила Николаева. Ранена? Убита!.. Пытаюсь унести ее в укрытие, но на меня налетают жандармы. Скручивают руки, торопливо уводят. Бежит на выручку Иван Сладков, но из подворотни с тыла врываются казаки. Стоны, крики. Стрельба. Кто-то

бьет меня по голове. Теряю сознание. Очнулся я уже в кронштадтской тюрьме...

Мы терпим поражение?.. Нет, торжествуем победу! Ведь недаром в манифесте Центрального комитета РСДРП, написанном В. И. Лениным, сказано:

«Не далее, как накануне войны президент французской республики Пуанкаре во время своего визита Николаю II сам мог видеть на улицах Петербурга баррикады, построенные руками русских рабочих. Ни перед какими жертвами не останавливался российский пролетариат, чтобы освободить все человечество от позора царской монархии».

Это Ленин сказал о нас.

Наутро суд. Судят поодиночке. Выносят только два приговора: или смерть, или каторга. То и дело уходят матросы Балтики на суд-расправу. Одно отраднo, что не все наши товарищи схвачены: многим удалось скрыться. Как это важно! Значит, борьба продолжается.

Настал и мой черед. Обычные вопросы, и затем:

— Признаете себя виновным?

— Нет! Действовал именем народа. Народ не хочет войны.

— Кто еще участвовал?

— Не знаю.

— Кто женщина, которую вы несли на руках?

Но разве я могу назвать этим подлецам священное имя человека, который убит на баррикадах?

Я молчу.

— Чего же скрывать, она мертвая.

— Она будет жить вечно!..

— Ясно! — изрекает председатель и о чем-то шепчется то с левым, то с правым соседом.

Еще мгновение, и приговор готов:

— Расстрелять!

Уводят.

Смертников много. Ждем. Считаем минуты.

А на «Рюрике», «Новике» и других посыльных судах команды подняли восстание, требуют отмены всех вынесенных приговоров о смертной казни и каторге. По Кронштадту волна протеста. Но всего этого мы тогда не знали. Мы даже не сразу узнали, что смертную казнь нам под давлением товарищей заменили пожизненным заключением.

Когда меня ведут по крепостному двору, я уверен, что ведут на расстрел. Но жандармский ротмистр говорит:

— Проведешь тут всю жизнь. Отсюда не уходят — отсюда выносят.

Мы у цитадели. Каменная коробка с огромной сводчатой железной дверью. Да, я знаю, что это такое. Когда-то, еще при Петре I, в центре крепости были построены из гранитного камня помещения с глубокими подземельями — для хранения пороха, патронов, гранат. Начиная с 1905 года царские прислужники нашли новое применение старинной крепости: сюда стали сажать революционеров.

Меня втолкнули в камеру. Сзади с лязгом захлопнулась дверь.

В подземелье совершенно темно и сыро. Холодно. Иду на ощупь. Шестнадцать шагов в длину — стена. Десять в ширину — стена. Стены каменные, пол тоже. Нащупываю в углу солому. Больше здесь ничего нет. В кованой двери отверстие — утром, так я думаю (ведь нельзя узнать, когда на дворе день, а когда ночь: в моей камере вечная темнота), глазок открывается и чьи-то руки протягивают пайку хлеба и воду...

Что же делать? «Отсюда не уходят»... Может, разом покоячить с жизнью? Головой о камень — и все? Нет, этого от меня не дождутся. Если они верят, что будут властвовать вечно, то мы-то ведь не верим!

И все же что делать в этом мрачном подземелье?

Решено: вести счет дням. Кое-как долблю камешки. Маленькие —

дни, большие — недели. Отдельно сложенные — месяцы. Годы? Нет, об этом я и не думаю. Кто же в таких условиях протянет хоть один год? Зачем же тогда камешки? Может, люди потом догадаются. Слабое, но утешение...

Что нового? Как наши? Помнят ли заживо погребенных? Знают ли кронштадтцы, где я? И как с войной? Ведь Пуанкаре приезжал договориться с царем о начале войны. Кто знает, чем все это кончилось?

Проходят дни, недели... И я начинаю «устраивать» свой быт. У меня нет стола. Хлеб валяется на соломе, и я бережно разламываю его на пять частей. Кружка с водой на полу. Как бы смастерить стол? Маленьким камешком начинаю долбить стену. Правду говорят: капля и камень точит... Сколько времени прошло, не знаю, но выдолбил камень. Ставлю его около «постели». Теперь есть где лежать хлебу и стоять кружке с водой.

Нагрязнула новая беда: в подвале появились крысы. Их много. На первых порах развлечение. Гоняю крыс. Но стоит заснуть, как они съедают хлеб. Приходится его прятать — класть себе на грудь...

Чувствую страшный упадок сил. Мучает голод. Ужасно хочется есть. Сколько усилий требуется теперь, чтобы по-прежнему делить свой скудный паек хлеба и кружку воды на пять порций! Ведь больше не дадут. Взывай, проси, ругай, кричи... Никто не отзовется. Только в положенное время открывается окошечко, и я вижу, как руки протягивают хлеб и воду. Кружку нужно возвращать. Как-то не вернул — и в следующий раз руки протянули один лишь хлеб. Сутки пробыл без воды.

Крысы и голод начинают сводить с ума.

Сколько прошло времени? Трудно сказать. В груди «месяцев» уже одиннадцать камешков. И еще дни, недели... Видимо, сбился со счета. Крысы часто разметывают мой «календарь». Конечно, месяцы, целы, а дни и недели собирать трудно.

Руки, крысы, камешки... Да еще сбившаяся солома и обветшалая, начавшая гнить одежда...

Живу!

Вдруг перемены. Открывается окошко, и протягиваются руки с хлебом и водой. Только это не прежние руки — на этот раз они в грубых кожаных перчатках.

Что бы это значило? Что на воле? Жду, с нетерпением жду завтрашнего дня.

Опять руки в кожаных перчатках.

— Товарищ, что нового на воле?

Безмолвно защелкивается окошко.

Еще день. Все то же. Все то же.

Живу!

Время слито в единый темный сгусток. Только мозг без усталости работает. Но все чаще уже не думаю. Какие-то провалы. Рваные мысли — о людях, о том, что там делается, в близком, но недоступном мне мире...

Мешает головокружение.

В моих «месяцах» двадцать четыре камешка. Наверно, я что-то путаю.

Вскоре кладу двадцать пятый и перестаю верить. Нет, это нелепо...

Разоряю камешки. Попробуй теперь собери. С календарем все покончено...

Немного тоскую по камешкам.

Все чаще головокружение. Ощущение полного безразличия. Перестал воевать с крысами... А как их теперь много!

Живу!

Живу, но, кажется, пришел конец. Вон на моем «столе» сколько

хлеба, я кутаю его в бушлат. Или это мне кажется? Есть неохота. Холод стал мучить меньше — как будто бы стало теплей.

Еще поднимаюсь за хлебом. Или это тоже кажется? Сегодня даже кормил крыс. Может быть, во сне?

Руки в кожаных перчатках... Но я уже не в силах встать. Теряю сознание...

Последнее, что я помню,— это протянутые вперед руки в кожаных перчатках...

Мое заточение длилось с июля 1914 года до 19 сентября 1916 года. Потом мне рассказали...

Несколько дней я не поднимался за пищей, и жандармы выжидали: ведь «отсюда не выходят — отсюда выносят». Наконец они решили, что я мертв и, значит, для них не опасен. Покойника следовало списать: порядок есть порядок. Вызвали дежурного фельдшера. К счастью, дежурил в тот день фельдшер Потемкин, старый большевик, работавший по заданию партии вольнонаемным в крепостном госпитале. Он констатировал смерть. Меня на носилках отнесли в морг. Жандармы, получив на руки акт о том, что труп сдан, ушли.

И в жандармерии я стал числиться мертвым.

Потемкин между тем, убедившись, что я еще жив, обратился за помощью к профессору Филиппову, главному врачу госпиталя.

Филиппов внимательно и спокойно выслушал его. Коротко сказал: — Хорошо. Постараемся спасти.

И тут же приказал завязать мне глаза, чтобы я не ослеп, внезапно увидев свет. Меня поместили в «сумасшедшую» камеру. Подальше от чужих и внимательных глаз. Над кроватью повесили табличку «Исследуемый» («Observandus»). И начали искусственно кормить. На двадцать первый день ко мне вернулось сознание.

Первое воспоминание, когда я очнулся,— страшная боль во всем теле.

— Не забывайте, что вас нет,— предупредил меня профессор Филиппов.

Его усилиями мне была спасена жизнь. Но я так ослаб, что не мог и мечтать о том, чтобы встать. К тому же у меня образовались страшные пролежни.

Только в конце октября я стал понемногу приходить в себя, поправляться. Тайно меня начали посещать товарищи — теперь уже в санатории, в Мартышкино, куда меня отвез однажды ночью все тот же Филиппов.

Прошел еще месяц. И вот я еду на извозчике в Питер!

Знакомлюсь с обстановкой, получаю задание от Петербургского комитета РСДРП: снова в Кронштадт. Надо ли говорить, каким это было для меня счастьем!

Я продолжаю работать. Живу в подполье — снова по паспорту Вильгельма Сама.

Как-то в последних числах февраля — 26-го или 27-го — под вечер мы шли по саду с матросом-большевиком Николаем Пожаровым. Он — в форме, я — в одежде простого рабочего. Вдруг из-за поворота де Ливрон! Почти столкнулись. К моему удивлению, он в форме контр-адмирала. Пожаров откозырял. Де Ливрон ответил.

— Мичман Панюшкин?..

На взволнованном лице де Ливрона недоумение, быстро сменившееся добродушной улыбкой.

— Никак нет, господин контр-адмирал. Вы ошиблись.

— Извините.

Де Ливрон приветливо кивнул головой. Широкая веселая улыбка скользнула и погасла в усах. Ушел. Я остановился. Смотрю ему вслед; он ни разу не повернулся, шел обычной размеренной, чуть раскачиваю-

щейся походкой моряка. Дорогой человек! Но черт побери мою проклятую привычку: «Никак нет...»! Ну какой штатский так ответит? Уж, кажется, как приучал себя к «гражданке»! Видно, сказалась неожиданность встречи — я и сам взволновался. Все-таки де Ливрон! И хорошо, что это был он, а то выдал бы я себя с потрохами. Нечего сказать, «Сам»... Ну, ладно, миновало. Пожаров смеется, всю дорогу подтрунивает.

Да, но почему же наш де Ливрон в контр-адмиральской форме? Когда произвели? Только назавтра мы узнали, что он назначен командующим кронштадтского укрепленного района.

А в этот же день произошла еще одна мимолетная встреча — у самого входа в Летний парк нас обогнал Ведерников.

— Осторожней, друзья! Сзади Вирен...

Ведерников не остановился, быстро перешел улицу и скрылся. Но как мы ему были благодарны за предупреждение! Нам с Пожаровым не хватало только встречи с Виреном! Мы быстро свернули в переулок.

Пожаров рассказал о последнем заседании Петербургского комитета. Передал задание: «Готовиться».

Я опять среди своих друзей. Пусть мы пока в глубоком подполье. Теперь ждать уже недолго. Революционная ситуация назревала.

Нет, не так-то легко списать нас в расход!..

9

Еще в конце 1916 года вице-адмирал Вирен писал в Морской штаб, что «матросы сплошь революционеры». Вирен не ошибался.

С радостью и восторгом встретили моряки Кронштадта весть о Февральской революции, сразу же поддержали восставших рабочих.

Жизнь, казалось, обновилась, Кронштадт забурился. Забастовали рабочие Судоремонтного завода. Мартовской ночью 1917 года вспыхнуло восстание на кораблях и в военных частях, расквартированных в крепости. Захвачены склады оружия, арестованы контрреволюционно настроенные офицеры и те, кто вдоволь поиздевался над «серой скотинкой» — матросами. Установлен контроль на почте и телеграфе. Вся власть перешла в руки восставших матросов и солдат.

Толпа моряков у дома кронштадтского генерал-губернатора.

— Смерть Вирену!

— Долой царского прихвостня!

— Смерть кровопийце!

Безмолвный, он стоит на крыльце, дрожит, протягивает руки к разбушевавшейся толпе. Что он говорит, не слышно; ему не дают говорить.

— На виселицу!

— Зачем веревку марать!

— Держи ответ, собака!

— Сходи с крыльца!

— Разрешите надеть форму! — кричит он и пытается укрыться в квартире. Но матросы преграждают ему путь — сбрасывают его в толпу.

— Смерть Вирену!..

Его убивают.

Большевики против самочинных расправ. Чтобы предотвратить подобные случаи, мы срочно создаем суды.

В ту же ночь в огромном помещении Морского манежа идет суд над офицерами. Сослуживцы с одного корабля входят вместе, подходят к судейскому столу по одному.

Манеж переполнен, гудит:

— Знаем его. Хороший человек. Любит матросов.

Уходит на корабль.

— И этого знаем. Наш человек...
У стола высокий, сухопарый офицер.
— А, попался, сукин сын! — раздаются возгласы из толпы.— Скажи, сколько матросов покалечил?
Бегающий, трусливый взгляд, голова опущена.
— Мучитель!..
Выступают матросы, рассказывают.
Уводят под арест.
А вот и офицеры с «Океана».
— Де Ливрон,— объявляет председатель.
На мгновение тихо в толпе.
— Будете служить революции?
— Да, конечно.
— Можете идти, товарищ контр-адмирал.
Вызывают следующего.
— Ведерников!
— Адмиральский сынок! — кричат из толпы.
Но вот уже около судей кочегар Маркелов:
— Кто сказал: адмиральский сынок?
Все молчат.
— Я спрашиваю,— требует матрос,— разве среди адмиральских сынов не бывает порядочных людей?
И вдруг неожиданно:
— Вы меня знаете?
Крики, смех.
— Так вот: я за него ручаюсь.
Бросает последнее слово:
— Ясно? — И уходит.
Теперь спрашивает судья:
— Будете служить революции?
— Будет, ясно! — снова обернулся к суду Маркелов.
— Клянусь служить революционному народу честью и правдой! — чеканно и громко говорит Ведерников.
Шум, одобрительные возгласы.
Ведерников уходит на корабль.
— Пекарский!
Тоже с «Океана».
В зале взрыв возмущения. Пекарского хорошо знают не только матросы с «Океана»: многие испытали его руку, ругань, его доносы.
— Правду говорят люди? — спрашивает председатель.
Офицер молчит, смотрит исподлобья, с презрением.
— Отвечайте!
Саркастическая улыбка пробегает по лицу:
— Кому?
— Суду революции!
Снова улыбка.
— Арестовать!..
Пошли офицеры с других кораблей.
— Капитан по адмиралтейству Фарафонтьев!
Огромная толпа на мгновение притихла. И в тишине низкорослый, с дряблым лицом, втянув голову в плечи, он подошел к судьям.
И вдруг весь зал встал. Кто-то запел песню о матросах-минерах. Поют все — сурово, громко. Слова песни звучат, как клятва погибшим. Грозным приговором проносятся они над человеком, который расстрелял двести сынов революции. Фарафонтьев стоит молчаливый, испуганный. А слова песни о восставших и погубленных наших героях-товарищах накаляют сердца, вызывают на глазах слезы гнева и скорби.

Песня кончилась.

— Смерть палачу! — троекратно пронесится по залу.

— Что вы скажете, Фарафонтьев, в свое оправдание?

Молчит.

— Ведь они, расстрелянные вами, хотели только свободы и справедливости, только человеческой жизни.

Молчит.

— Отвечай, палач!..

— ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ...

Это поднялся суд для зачитания приговора.

— Именем революции, за погубленных моряков Балтики, за расстрел двухсот восставших, за свободу братьев-минеров, за молодые их жизни...

Решение революционного суда Кронштадта — расстрелять!

Фарафонтьева уводят. Приговор приводится в исполнение.

Офицеры Кронштадта прошли. Расстреляны немногие: меньше 20 человек из полутора тысяч. Часть заключена в тюрьму. Большинство приступили к своим обязанностям. Большевики удержали матросов от расправы. Отделили чистых от нечистых. Правда, были и ошибки. Помню, проходил перед судом крепости офицер Будкевич — подтянутый, строгий и вместе с тем вежливый. Его мало знали, поверили, что будет честно служить революции. А два года спустя он был уличен в контрреволюционном заговоре против Советской власти.

История показала, что революционеры были очень гуманны, великодушны. Мы часто верили на слово и, поверив, не всегда проверяли. Горьким уроком был для нас злодейский выстрел в Ильича.

Из Кронштадта в эти годы все лучшее, революционное уходило на фронты, на государственную и партийную работу. А враг не дремал: в трудную пору революции, летом 1919 года, здесь были раскрыты крупные контрреволюционные организации, созданные старыми офицерами, связанными с иностранными империалистами. Вот что писал Ф. Э. Дзержинский в специальном извещении, опубликованном в «Правде» 12 июля 1919 года:

«За последние недели органам Советской власти удалось захватить руководителей белогвардейских военных организаций, подготовлявших и отчасти пытавшихся уже осуществить вооруженное выступление в целях дать победу русским и иностранным империалистам на севере и в других районах. Белогвардейские предатели уничтожены. Среди них оказались, между прочим, Будкевич А. В. (начальник штаба Кронштадтской крепости); Рыбалтовский А. Ю. (начальник штаба Кронштадтской крепости); Грицай С. А. (помощник главного инженера Кронштадтского порта); Ануров А. М. (инженер-механик миноносца «Достойный»); Ливанов А. А. (помощник командира эскадренного миноносца «Украина»); Селлинга С. А. (старший штурман линейного корабля «Петропавловск»); Кулеш В. Я. (писарь Кронштадтского порта, социалист-революционер).

Одно бесспорно: матросские суды в марте 1917 года способствовали укреплению революционной дисциплины. А офицер, прошедший проверку и верный революции, становился, как и все, равноправным гражданином. Командный состав стал выборным, в числе командиров теперь и нижние чины, в том числе большевики. На всех судах и в береговых частях избраны судовые комитеты.

В Кронштадте создан Комитет движения. Руководство им поручено мне. Но в Комитете господствуют эсеры и меньшевики. Большевиков мало. Предстоит жестокая борьба. Центральный Комитет партии командировал в помощь нам испытанных товарищей. Больше всего мне приходится сталкиваться с Семеном Рошалем.

Когда я впервые встретился с ним, он произвел на меня неважное впечатление. Молодой студент (ему тогда был 21 год, а выглядел он еще моложе), с перекошенным от нервного тика ртом и оттого нечетким выговором, грубоватым голосом. Зачем он среди моряков, в своей студенческой форме? Хотел было позвонить в Питер — не ошибка ли? Но не успел и был потом очень рад этому. Случилось же вот что. Нас вызвали на собрание матросов форта «Красная Горка», где были сильны эсеры. Выступает здоровенный, довольно бойкий детина. Умело пересыпает речь поговорками и пословицами, заметно окает и злоупотребляет этим. Его речь вызывает аплодисменты. Явный успех. Не успел он сойти с трибуны, как встает другой эсер, предлагает резолюцию.

В это время поднимается с места и просит слова Рошаль.

— А ты кто?

— Из Питера.

— Штатский?

— Нет, солдат.

— Какой части?

— Солдат большевистской партии.

— Это нам не гоже. Иди к своим, там и болтай.

Но Рошаль уже на трибуне.

— Запрещаю! — кричит председатель.

— Вот вам и свобода, о которой тут говорил представитель эсеровской партии! Это они еще не у власти, а если придут, так всем рот кляпом забьют. Пусть председатель скажет прямо, что боится меня, и тогда я уйду с трибуны.

Прокатился смех.

— Кто тебя боится, вша недобитая!

— Ты боишься, — отвечает Рошаль.

— Я?

— Ты.

Собрание волнуется.

— Дать слово!

— Говори, — бурчит эсер. — Даю три минуты для развития твоих темных мыслей, три минуты для ответа на вопросы и три минуты на закругление. Крой.

Рошаль говорит три минуты.

Председательский звонок тонет в гуле толпы:

— Пусть говорит!..

— Не зажимай!

— Свобода слова! Валяй!..

— Кому нужна война? Что будет с землей? Какой должна быть революция? Куда ведут эсеры?

Рошаль говорит о самом насущном, о набравшем. Четко, ясно, просто, а главное, сколько силы, какая логика, как много знает этот паренек!

Аудитория захвачена. Председатель молчит. Перелом. Гром аплодисментов. И под конец — выборы в Кронштадтский Совет.

— Кого?

— Рошалья!

Он проходит почти единогласно.

Теперь он депутат Кронштадтского Совета, возглавляет в нем большевистскую фракцию.

Под влиянием Рошалья на многих кораблях в Совет избраны большевики. Видную роль в это время в Совете играют Николай Пожаров, Николай Маркин, Иван Сладков и многие другие матросы и солдаты.

В марте в Кронштадте начинает выходить большевистская газета «Голос правды».

Заметно усиливается, растет большевистское влияние. Почти ежедневно митинги, собрания, совещания. Идет борьба за массы. С каждым днем мы становимся все сильнее и сильнее.

В Кронштадте в ту пору действовала организация анархистов, «братишек», которые были не прочь побунить и побесчинствовать. Они примыкали к эсерам — сторонникам «экссов» и террора. Лозунг кронштадтских анархистов был прост: «Сам себе бог». Исповедуя этот лозунг, они дебоширили, своевольничали. Однажды анархисты решили проникнуть на склады, где хранились запасы спирта. Это угрожало большой бедой. В результате принятых нами контрмер матросам-большевикам удалось сорвать план анархистов. В отместку те стали распространять грязные слухи. «Большевики берегут царское добро! Берегут, чтобы самим на нем нажиться!»

Узнав об этих провокационных слухах, мы открыто выступили на матросских собраниях:

— Имеют ли моряки право допустить пьяный разгул? Имеет ли Кронштадт право пропить революцию?

Матросы целиком на нашей стороне. Это полная неожиданность для эсеров. Многие из них блокируются с анархистами: дескать, почему матросу нельзя выпить? Но они терпят поражение. Матросская масса горой стоит за строгий революционный порядок.

Как раз в это самое время к нам в Кронштадт приезжает Мария Спиридонова (она бывала в крепости много раз), кумир эсеров. Одеты во все темное, словно монашка, со строгой, гладкой прической и бледным лицом. Ясно, хочет восстановить пошатнувшийся авторитет эсеров, ведь они потеряли и свое влияние в Совете, остались там в меньшинстве.

Многолюдный митинг. Когда Спиридонова поднимается на трибуну, воцаряется тишина. Она истово и страстно защищает свою партию. Но когда она кончает говорить, раздаются голоса:

— Давай Рошалья!

Я понимаю, конечно, что это кричат наши. Но Рошалья-то нет — он сейчас в Гельсингфорсе и, естественно, не знает о приезде Спиридоновой

А на трибуну уже поднимается агитатор кронштадтского комитета большевиков моряк Петр Хохряков. Окидывает взглядом толпу — сколько людей на Якорной площади!..

— Вот, братцы мои, Маруся говорит: погодите, наведем порядок, тогда и землю мужику дадим. Обещает. Но какой же для мужика порядок без земли? Правильно или нет?

Гул одобрения.

Хохряков продолжает:

— Ради того, чтобы землю получить, крестьяне и революцию подержали! Революция пришла, а земля? У помещиков! Когда же ты, Маруся, землю дашь?

Спиридонова беспомощно разводит руками. Это явный просчет, и Хохряков тут же его использует:

— Значит, бессильна! А я вот силен — дай мне власть, завтра же мужик землю получит. Это я тебе говорю от имени большевиков.

— Дать Хохрякову власть! — кричит кто-то из толпы, и гром аплодисментов катится над площадью.

А Хохряков говорит дальше. И о войне, ненавистной солдатам, и о подневольном труде рабочих. Кончает, проникновенно, с сочувствием обращаясь к Спиридоновой:

— Была бы ты моей женой, Маруся, не разрешил бы я тебе с речами выступать. К чему народ в заблуждение вводить?

Несутся хохот, аплодисменты, возгласы одобрения.

Спиридонова уезжает несолоно хлебавши.

Митинги и собрания, на которых идет борьба между партиями,— явление обычное, повседневное, требующее большого напряжения.

Мы боремся. Боремся и побеждаем. И в ходе революционной борьбы растут и закаляются кадры агитаторов, воспитываются матросы и солдаты. Большевики накапливают силы для решительного удара — свержения буржуазного Временного правительства — последнего защитника капитализма. Повседневная пропагандистская работа во флоте, несомненно, сыграла немалую роль в подготовке Великой Октябрьской революции.

Апрельским утром спешим в Питер по вызову ЦК. Мне говорят, что завтра приезжает В. И. Ленин — нужно организовать моряков для встречи вождя...

Незабываемые дни. Появились исторические Апрельские тезисы В. И. Ленина.

Все стало на место. Какая огромная и четкая программа действий! Как исчерпывающе даны в ней ответы на самые злободневные вопросы современности!

Партия взяла на вооружение ленинские тезисы.

В бой!

...Апрельская конференция РСДРП большевиков. Посланцы от партийных организаций всей страны собрались в здании Высших женских курсов на Петроградской стороне. Радостные встречи: Матвей Константинович Муранов — сколько раз выступали мы вместе у нас в Манеже в Кронштадте в дни февраля!

Алексей Бадаев! Первый мой кочетовский наставник. Все такой же. И ссылка не изменила.

Григорий Иванович Петровский — дорогой и милый товарищ. Калинин познакомил нас, когда я еще работал на «Лесснере».

Анатолий Васильевич!

Он весь искрится, точно помолодел.

— А, товарищ Сам! — откликается, улыбаясь, Луначарский.— Ну как поживаете? Ничего не знаете о Пюжо? Нет? Представьте, и я тоже. А жаль. Я уверен, он с любовью и вниманием следит сейчас за нами.

Волнующие воспоминания о прошлом и, конечно, разговоры о том, что делается сейчас. Как всегда, элегантная, красивая и очень строгая Елена Стасова — с чувством особого уважения жму ей руку.

Я делегат Кронштадта. С радостью встречаюсь и со старыми товарищами и с теми, о которых раньше слышал, но лично не знал. Знакомлюсь с Ф. Э. Дзержинским. Коротко обмениваемся мнениями. В это время Дзержинского отзывает и о чем-то ему оживленно рассказывает Володарский. Я не раз слышал на митингах этого пламенного оратора, о котором мне известно лишь то, что он только родился в России, а с детства жил в Америке.

Теперь я познакомился и с ним. Вокруг много людей, больше в простой рабочей одежде, есть и военные.

Взволнованная встреча с М. И. Калининым.

— Как, мичман, дела? Еще не дослужился до адмирала?

— Все впереди, Михаил Иванович!...

Подходит Н. И. Подвойский, торопливо сообщает:

— Сейчас прибудет Ленин.

Елена Дмитриевна Стасова зовет делегатов занять места.

Очень коротким вступительным словом Ленин открывает конференцию. Избираем президиум.

Кажется, в помещении Высших женских курсов прошел только первый день заседаний, когда обсуждался доклад В. И. Ленина о текущем моменте. Потом конференция была перенесена во дворец Кшесинской.

Ленин сделал на конференции еще несколько докладов и много раз выступал. Против Ленина и его позиций — немногие (Каменев да еще кто-то). Конференция проходит под знаком полного единодушия и верности ленинским принципам. Жадно наблюдаю за Ильичем. Для него нет ничего незначительного, не существует мелочей: по несколько раз выступает он из-за той или иной поправки, настойчиво доказывая, почему нужна именно такая формулировка. Часто Владимир Ильич берет слово только для того, чтобы кому-то возразить или кого-то поддержать. И каждому постепенно становится ясно, как важна, как необходима нам до предела четкая, последовательная линия, учитывающая всю сложность обстановки в стране и в мире.

Сразу же после конференции меня вызывают в секретариат ЦК к Якову Михайловичу Свердлову. Получаю от него задание выехать в Тулу.

— Нельзя сейчас забывать деревню. Мы должны помнить уроки пятого года. Ну, а вы хорошо знаете Тульскую губернию. Вам и карты в руки.

Давая мне подробные указания и инструкции, Яков Михайлович подчеркивает, что В. И. Ленин просит обратить на деревню особенное внимание.

— Ну, счастливого пути!

Еду уполномоченным ЦК партии по Тульской и близлежащим губерниям. Везу с собой мощную по тем временам колонну агитаторов и организаторов — около ста кронштадтских моряков.

Наш штаб разместился в родной моей деревне Кочеты. Но как она изменилась! Бурлит, волнуется сельцо Кочеты. Бурлят и соседние деревни. Расспросы, беседы, споры...

Помню первое собрание. Чем интересуются крестьяне?

— Почему оно так: революция пришла, а земли мужикам не дали?

— Долго еще войне быть?

— Почто последних мужиков из деревни на фронт угоняют?

Надо ответить каждому. Такие собрания — по всем деревням. Сто моих моряков рассыпались по Тульской, Орловской, Рязанской и Воронежской губерниям. Создаем заново и восстанавливаем прежние большевистские ячейки.

Решаем издавать печатную газету.

Еду в Новосиль — наш уездный город. Какая неожиданность! Хозяин типографии — мой старый знакомый, анархистствующий эсер, с которым мне довелось встречаться и спорить в молодости, когда он был еще студентом. Договоримся ли?

— Зачем пожаловал?

— Да вот газету хочу издавать.

— А деньги есть?

— Есть, конечно.

— Тогда печатай.

Первый номер газеты «Крестьянская правда», редактором и издателем которой пришлось быть мне, вышел с Апрельскими тезисами В. И. Ленина.

Развозим газету по селам, устраиваем читки, ведем большую разъяснительную работу. «Крестьянская правда» пользуется в народе огромным успехом. Подготавливаем материал для второго номера. Опять еду к хозяину типографии.

— А газета-то большевистская, — цедит он.

— Да, конечно.

— По партийным соображениям я бы ее печатать не должен.

— Как же так, ведь свобода слова?

— Для меня свобода та, которую я разделяю. Другой не признаю.

— Ну что ж, придется в Тулу ехать.

— Езжай. А впрочем... печатай. Только заплатишь вдвойне.

— Наживаетесь...

— Не наживаюсь, а за-ра-ба-ты-ваю! Это вещи разные. Типография-то моя.

Приходится платить.

Так вслед за первым номером выходит второй, на очереди третий. Газета разъясняет, агитирует.

Много молодежи вступает в кочетовскую большевистскую ячейку. Возникают организации и в других селах. Большевистское влияние значительно возрастает. Но случаются и курьезы. Как-то приходит старуха и говорит:

— Хочу в большаки вступить.

— Это хорошо, только вот, бабушка, нужно знать устав. Походи на собрания, послушай...

Старуха перебивает:

— Это мне ни к чаму.

— Так зачем же в партию идешь?

— Говорят, керосином будут снабжать. Измаялась в темноте.

— Тебя кто-то обманул, бабуся.

— Не, верные люди сказывали. Давай записывай. Мне хоть бы самую малость керосинцу получить.

Кто-то нашелся:

— Так это, бабка, не к большевикам за керосином идти надо, а к эсерам. К ним иди.

— Ну,— удивилась старуха,— не туды попала? А где эти серые разместились?

— Да в нашем селе их нет, езжай в Новосиль...

Ее сменяет батрак:

— Ежели это верно, как товарищ Ленин говорит, что будут землю давать безземельным,— пиши меня к большевикам.

— Землю-то получишь, а если воевать за нее придется?

— Обдумал с женой. Знаю дело, даром не дадут. Воевать придется.

С таким настроением приходят многие. И это радует.

На собрании большевиков Новосильского уезда горячий разговор. Всю власть в Совете захватили эсеры: как же так, поддержкой не пользуются, а у власти? Решаем — переизбрать. Ведем подготовительную работу: перевыборы уездного Совета назначены на 28 июня. На съезд собираются со всех деревень. Идем и мы — от Кочетов. Вдруг на дороге меня нагоняет связной — вручает депешу: «Немедленно прибыть в Питер». Подпись: Я. Свердлов.

Тут же выезжаю. В успехе Новосильского съезда не сомневаюсь: народ ведь за нас. Жаль только газету — третий номер, значит, оказался последним: ведь я и редактор и издатель...

Каково же было мое удивление, когда я узнал позже о том, как разворачивались события. Как только большевики во главе с моим братом Семеном Лукичом прибыли в Новосиль, эсер Лисицын... всех их арестовал, а собравшихся депутатов разогнал.

— Никакого вам съезда не будет. Власть выбрана раз и навсегда,— объяснял свой поступок Лисицын.— Кто в ЦИКе? Наши. Ну и в Новосильском уезде мы хозяева. На веки вечные. Романовы триста лет царствовали, а мы теперь вечно править будем.

Так своеобразно понимал демократию эсер Лисицын. Правда, разогнав депутатов, он сразу освободил большевиков. Ради справедливости должен сказать и о том, что потом Лисицын перешел на нашу сторону, стал хорошим работником. Новосильские же большевики несколько позднее все-таки провели съезд, и Новосильский исполком стал большевистским.

Питер. С вокзала — прямо к Свердлову.

— Легко на помине. Езжай к Рошалю. Готовится демонстрация. Завтра люди выйдут на улицы. Мы против, но натиска не сдержать. Конечно, будут и матросы. Мы за мирную демонстрацию. Вот, кажется, и все.

— Ясно.

— Действуй, моряк!

Тепло прощаемся. Ухожу. А сколько еще людей на очереди к Якову Михайловичу! Удивительно быстро решает он все вопросы, прекрасно разбирается в обстановке.

Встречаюсь с Рошалем. Говорим о мирном шествии, о задании партии. Надеясь на моряков.

Из Кронштадта прибывают тысячи моряков, солдат и рабочих.

Строимся колоннами. Идем, четко отбивая шаг. Развевается знамя. На нем ярко горят слова призыва: «Вся власть Советам!».

Когда мы свернули с Невского и вступили на Литейный проспект, из окон домов, с балконов, из чердачных слуховых окон стали стрелять из винтовок. Ударил пулемет. Начали рваться гранаты.

Я ранен в руку осколком.

Передаю знамя ЦК товарищу, но моряк тут же падает, сраженный пулей. Знамя подхвачено снова, реет над колонной.

Идем!

Временное правительство начало расправу над мирной демонстрацией...

Настала ночь на 5 июля. Тревожно. Цокают по мостовой копыта — проносятся военные разъезды, группами шныряют пьяные юнкера, кругом полицейские. На улицах то и дело задерживают прохожих. Становится ясно, что реакция подняла голову. Нужно соблюдать осторожность, тем более мне, человеку с забинтованной рукой; разве поверят, что не участвовал в демонстрации? Бросаются в глаза группы черносотенцев. То тут, то там шепчутся они с дворниками. Кое-где раздаются выстрелы.

Ночью застаю в здании ЦК, во дворце Кшесинской, Якова Михайловича. Взволнованно и радостно обнимает:

— Жив?

Удивленно смотрю на Свердлова, но через мгновение все выясняется. Оказывается, в ЦК поступили сведения, что Панюшкин, шедший во главе демонстрации со знаменем ЦК РСДРП(б), убит. Говорю, что отделался только ранением — убит товарищ, которому я передал знамя.

Коротко рассказываю Якову Михайловичу обо всем, что мне довелось увидеть, прошу разрешения зайти в экипаж второго Балтийского флота — промыть и перевязать рану.

Здесь же в ЦК встречаю Елену Дмитриевну Стасову. Всегда сдержанная, на этот раз она показалась мне немного обеспокоенной. Нотки тревоги слышатся в ее голосе.

— По улицам шныряют шпики, арестовывают большевиков, без разбора хватают матросов. Очень кстати, что вы в штатском. Поезжайте в «Правду», нужно спасти материалы газеты.

Знакомая дорога — Мойка, 72, редакция «Правды». Со мной небольшая группа моряков, находившихся в ту пору в здании ЦК. Пробираемся переулками: всюду вооруженные патрули.

В редакции «Правды» — Надежда Константиновна Крупская, Анна Ильинична Ульянова и Людмила Сталь. Анна Ильинична указывает на тюки:

— Торопитесь, а то нагрянут, и будет поздно.

Все, что нужно спасти, вынесено. Поспешно уничтожаются какие-то бумаги...

Началась новая полоса подполья. Повсюду идет расправа. Продажная буржуазная пресса открыла подлейшую травлю большевиков и В. И. Ленина. Реакция... Наступило недолгое, но кровавое ее торжество.

На квартире Г. И. Петровского встречаюсь с Яковом Михайловичем Свердловым. Рассказывает: В. И. Ленин здоров, работает, но, преследуемый Временным правительством, вынужден скрываться. Здание ЦК — дворец Кшесинской — занято юнкерами.

Прошу разрешения вернуться в Кронштадт.

— Поезжайте! И готовьтесь! Сейчас, как никогда, нужно усилить работу среди солдат и матросов. Скоро придется взяться за оружие.

Уезжаю. Наступает новый период в моей работе — теперь я член Военной организации при ЦК РСДРП(б). В состав «военки», как мы тогда сокращенно называли себя, входят Н. Подвойский (председатель), К. Орлов, К. Механошин, В. Невский, П. Дашкевич, Н. Занько, М. Кедров, В. Панюшкин и другие. Руководили Военной организацией И. В. Сталин, Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский.

После июльских событий, когда партия, уйдя в подполье, стала вести подготовку к вооруженному свержению Временного правительства, «военка», по существу, была уже боевым военным отделом ЦК большевистской партии.

Вскоре Н. Подвойский повторяет указание — усилить работу среди матросов, использовать недовольство, создавать надежные военные кадры для будущих боев. В глубоком подполье мы готовимся к штурму.

Тороплюсь в форт «Красная Горка». Тут недавно произошли события, весьма поучительные для истории. 11 июля 1917 года части 5-й армии внезапно заняли форт. Части ввели на «Красную Горку» ночью: морякам сказали, что форт усиливается в связи с возможным наступлением немцев. Но это ловкий обмен: верные Временному правительству войска введены по приказу Керенского для того, чтобы задушить революционный дух, сломить волю матросов. Теперь, когда моряки в форте остались в меньшинстве, сопротивляться армейцам уже поздно и бессмысленно: как только части заняли форт, грозные орудия «Красной Горки» были повернуты на революционный Кронштадт — Керенский угрожал морякам расправой!

В Кронштадт прибыл капитан I ранга Тырков. Он назначен комендантом крепости. Старый служака, крайний монархист, ненавидящий народ, он и в Кронштадт въехал в окружении самокатчиков, двух броневинов и взвода казаков-донцов.

В Кронштадте смеются:

— Морской командир!.. Охраняет себя от моряков...

Начальник форта «Красная Горка» князь Нехлюдов не скрывает радости: вот наконец-то пришел человек крепкой воли.

Как же быть нам? Время явно упущено. Значит, нельзя больше терять ни минуты.

Ранним утром проводим партийное собрание большевиков форта. Ставим задачу — развернуть агитацию среди солдат.

Перейти к активной боевой агитации нам помогло само поведение Тыркова. Едва он появился в Кронштадте, как заявил старшему лейтенанту П. Ламанову, избранному начальником морских частей крепости, что будет вешать на кронштадтских фонарях всех, кто разлагает флот, и в первую очередь — большевиков. Слух об этом, конечно, разнесся сразу.

Новый вешатель в Кронштадте!

Армейские офицеры, да и наш князь Нехлюдов, разумеется, всячески противятся общению солдат с матросами. Но они оказываются бессильны этому помешать.

Нашему коменданту форта Ивану Петрову удается наладить связь с армейскими большевиками. Ночью собрание. Решено во всех ротах провести митинги. Докладчики наши, флотские. Доклады в ту пору были короткие — пять, ну, от силы десять минут.

И на одно такое собрание... набрел князь Нехлюдов:

— Это еще что за сборище?

Сколько свирепости в голосе!

Но докладчик медленно и спокойно отвечает:

— Да вот, ваше сиятельство, пришел я к солдатам и прошу: повесьте, братцы, как Тырков велел, а то неумоготу жить.

Князь опешил. Видимо, не сообразил сразу, о чем идет речь.

— То есть как?

— Обыкновенно, за шею да на фонарь, ваше высокоблагородие. Чем по Кронштадту стрелять, лучше нам смерть. Там же свои, моряки, братки наши...

— Молчать!..

— Да как я могу молчать! — И к собравшимся: — У кого рука не дрогнет, вешайте!..

— Арестовать!

Но приказу Нехлюдова никто не подчиняется. Подошел какой-то щупленький солдатик:

— Не мешай работать, ваше высокоблагородие. А то найдем и для тебя фонарь.

Нехлюдов — к Петрову:

— Вывести моряков и взять дерзкого и непокорного солдата!

— Есть! — козыряет Петров.

Выводит с полсотни матросов, кричит:

— Кто оскорбил начальника форта?

Выходит тот же солдатик, похожий на подростка:

— Я.

— Приказываю тебя арестовать.

— Попробуйте!

Петров вскипел:

— И попробуем! Вы шо, сукины сыны, орудия на Кронштадт навели?! Моряков убивать!

Парнишка смеется...

А докладчик уже продолжает:

— Вот и выходит: мы вас, а вы нас!.. Этого хотят временные. А ежели вместе на Керенского? Не лучше ли будет, братцы?

Митинг разросся. Увидев, что моряки окружили пехотинцев, многие роты спешат на выручку. И вместо драки начинается братание. Нашли простые люди земли русской общий язык. Договорились.

С неделю побыли у нас в гостях «верноподданные» войска Керенского, но, как «испытавшие сильное большевистское влияние»... были выведены с «Красной Горки». Меньше недели побыл в Кронштадте и Тырков — сбежал.

Временное правительство боится теперь нашего форта больше, чем немецких пушек. А форт «Красная Горка» зажил по-прежнему. Только революционные моряки теперь настороже — как бы вновь не попасть в ловушку.

В качестве военного комиссара Кронштадтского укрепленного района — эта новая (считай контр-адмиральская!) должность вводится по решению ЦК — я, естественно, основываюсь в «Красной Горке». В форте поголовное большинство идет теперь за ленинцами, несмотря на то, что командиром здесь пока все еще тот же чудом уцелевший князь Нехлюдов, открытый враг революции.

Иван Петров, мой старый приятель по прежней совместной работе в подполье, — комендант. Он возглавляет и партийную организацию «Красной Горки». Сейчас весь форт у него в руках.

Иван Петров!.. Сколько лет прошло с тех пор, но всегда, вспоминая его, я невольно преклоняюсь перед мужеством, смелостью и подвигами этого человека, как будто бы самой природой созданного для военной службы. Всегда подтянутый, щеголеватый, он любил дисциплину, море, был исполнителен и требователен. Не раз перед строем офицеры ставили в пример Петрова:

— Несите службу, как Петров!

Да, он отменно нес службу. Ведь он большевик — и это определяло все его поведение. Да, он был дисциплинирован, отлично знал военное дело — большевистской партии нужны хорошие военные!

...На «Красной Горке» матросское собрание. Я рассказываю об июльских событиях. Взрыв возмущения. Сколько в речах презрения к «временным», как накалена атмосфера! Кто-то кричит, что и вправду нужно повернуть орудия, но только не на Кронштадт, а в сторону Питера: уничтожить Зимний дворец, где восседает играющий в Наполеона презренный Керенский!

Раздаются возгласы:

— На Питер! Дождались — матросов убивают!

— На фонари «временных»!

Приходится сдерживать, убеждать. Всему свое время. Велено ждать.

И «Красная Горка» напряженно ждет...

Поручаю Петрову следить за князем Нехлюдовым. Петров улыбается: все в порядке. И у телефона и у радиоаппарата он расставил матросов-большевиков. За связь отвечает один особо надежный — Кудрейко. Он англичанин по происхождению. Подлинная фамилия — Кудрей. Вырос на Украине. Не подведет.

От Петрова сразу еду в Кронштадт. Секретарь партийного комитета Петр Смирнов сообщает неприятную новость: арестованы П. Дыбенко, В. Антонов-Овсеенко, С. Рошаль — все заключены в «Кресты». Керенский стремится обезглавить партийное руководство, прижать матросов. Но он просчитался! Арест людей, которые пользуются любовью и доверием на Балтийском флоте, вызывает совсем иную реакцию.

Еще раньше матросы были возмущены погромным приказом Керенского от 7 июля, требовавшим выдать всех «зачинщиков и бунтовщиков из Кронштадта и кораблей»; этим же приказом Керенский распустил и Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт). Матросы узнали, что арестована делегация Центробалта, которая прибыла в Питер для переговоров с ЦИК Советов, а кронштадтские моряки содержатся в Петропавловской крепости в окружении войск, верных Временному правительству.

Все новые и новые аресты! Моряки рвутся к активным действиям. Престиж Временного правительства окончательно подорван.

Во флоте теперь открыто ненавидят Керенского.

— «Временных» перестали ругать, — рассказывает Петр Смирнов, — над ними смеются.

Решаем устроить митинг на Якорной площади Кронштадта. Против этого рьяно возражает эсер Покровский, но большевики собирают матросов. Митинг превращается в мощную демонстрацию против Керенского и всего Временного правительства. Поднялась грозная волна возмущения: матросы предлагают немедленно начать военные действия.

Но еще не время. А сдерживать массы становится уже очень трудно.

«Теперь мирное развитие революции в России уже невозможно, и вопрос историей поставлен так: либо полная победа контрреволюции, ли-

бо новая революция», — так пишет В. И. Ленин (статья подписана: «Н. Ленин») в газете «Рабочий и солдат».

Эта ленинская статья, опубликованная 26 и 27 июля, находит широкий отклик в Кронштадте, подтверждает правильность наших действий, ведет вперед.

...Наш штаб на «Красной Горке» действует. Если меня кто-нибудь вызывает по телефону, то просит обычно:

— Позовите гостя.

На форте каждый член партии знаком сейчас со знаменитыми решениями VI съезда партии, нацеливающими на вооруженное восстание. Всем известны слова Манифеста, принятого съездом:

«Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»

Интересная деталь: вскоре после съезда я получил из Кочетов письмо от Феди Серегина, помощника сухотинского садовника. Теперь он стал большевиком. Пишет мне, что кочетовцы знают о решениях съезда и готовятся. Приятно читать такие известия...

В эти дни из Кронштадта меня вызвал к себе И. В. Сталин. Хотя это была первая личная встреча, меня поразило, что Сталин много знал обо мне. Хорошо осведомлен о подробностях политической обстановки в Кронштадте.

— Мне кажется, — после первых фраз спокойно, не повышая и не понижая тона, начал разговор Сталин, — мы недостаточно ведем работу среди офицеров, в частности среди офицеров флота, и недостаточно перетягиваем их на нашу сторону. В этом таится опасность.

Я рассказываю о ненависти матросов к командному составу, о том, как многие офицеры во флоте были жестоки, участвовали в кровавых расправах. Рассказываю и о суде в Морском манеже.

Немного подумав, Сталин все так же спокойно продолжает:

— Ну вот, значит, не все же кошки серы. Есть среди них и люди, верные революции. В особенности молодежь. Они пойдут с нами — самые честнейшие и смелые. Да и старые кадровые офицеры не все сторонники царского режима. Скажу даже больше — умный военный не мог быть приверженцем бездарного монарха. Вам поручение: усильте работу среди офицеров. Нельзя забывать, что каждый перешедший на нашу сторону усиливает нас, укрепляет дело народа. Не требуйте от офицеров всего сразу. Пока пусть перейдет на нашу сторону, будет с нами, а не против нас. А потом — уверяю вас — он сам сделает шаг вперед, обязательно. Откройте для офицера пути сотрудничества с нами. И постарайтесь снять с него чувство подозрения, когда он придет в революционную армию. Больше доверия.

Я рассказал Сталину историю Ведерникова.

— Ну, вот, видите. Но доверие сильно тогда, когда оно питается взаимностью. Кроме доверия, нужен, конечно, контроль, необходимы проверка и — у нас об этом часто забывают — помощь. В новых условиях офицер может начать действовать осторожно, а это значит порой пассивно, безынициативно. Эти качества обязательно появляются, если человек не почувствует доверия и помощи. Нам необходимо выдвигать тех офицеров, которые с душой идут к нам. Они вырастут в прекрасных полководцев и помогут нам. И заметьте себе, при большой революционной активности матросов обязательно должна вырастать революционная сила преданных народу, перешедших на его сторону офицеров.

Очень важна работа среди младших офицеров — есть умнейшие среди них и знающие. Именно среди этих офицеров изрядное число выходцев из народа, которым не давали двигаться по службе. Вспомните жизнь

и судьбу вице-адмирала Макарова. Сколько претерпел этот сын боцмана. А ведь какой талантливый был, как любили его матросы!

Наша беседа длится больше часа.

Особенно мне запомнилось следующее обстоятельство. Сталин говорил только об одном, спрашивал, слушал внимательно, и все о том, что его интересовало в ту пору. Было такое впечатление, что старался взвесить, сходится ли то, что я говорю, с его мыслями.

На протяжении всего нашего разговора он ни разу не отвлекался, не затрагивал другие темы, старался обходить их, непререкаемо ведя беседу только об одном: о завоевании офицерства.

Эта сталинская беседа осталась в памяти своей целенаправленностью и четкостью. Она оказалась мне полезной не только когда я работал в Кронштадте, но и позже, когда по заданию партии мне не раз приходилось быть на фронтах гражданской войны. Я не раз вспоминал этот разговор в первые дни и месяцы революции, когда мне приходилось на Северном фронте решать на месте многие сложные вопросы участия старых военных царской армии в руководстве военными действиями в подразделениях и соединениях. Я вспоминал эту беседу и впоследствии, когда судьба и военная работа, совместная деятельность по защите Отечества сводила меня с офицерами и генералами царской армии, перешедшими на сторону революции,— с Сергеем Сергеевичем Каменевым или бывшим начальником генерального штаба Егоровым, с нашим Главкомверхом Вацетисом или командармом V Славиным — бывшими полковниками генерального штаба царской армии — и многими другими старшими и младшими офицерами армии.

В те кронштадтские дни нам удалось сберечь многих офицеров от свершения ошибок, навсегда сроднить их с новой армией, с новым социалистическим строем.

Стремительно идет в Кронштадте процесс большевизации. Мне хочется призвать в свидетели П. А. Джапаридзе (Алешу), который в составе делегации VI съезда партии приезжал в эти дни к нам в крепость.

«Вместо скромной экскурсии, в которой должны были принять участие несколько сот рабочих,— рассказывал позднее П. А. Джапаридзе,— поездка эта приняла характер внушительной демонстрации. Выяснилось, что, кроме Петроградского района, в экскурсии приняли участие выборгские и сестрорецкие рабочие... Кронштадтцы встречают своих кровных братьев — питерцев... Трудно окинуть глазом начало и конец шествия... Вся эта длинная процессия... заворачивает и окружает высокую трибуну, с которой почти ежедневно раздаются смелые, пламенные речи честных революционеров... Получается огромный митинг».

Центробалт, выражая волю матросов и солдат, отказывается подчиняться распоряжениям Керенского и Временного правительства. И, по существу, теперь вся власть во флоте переходит в руки Центробалта — к большевикам.

И вот наступают дни, исполненные величайшей трагедии. Чувствуя свою гибель, Временное правительство в сговоре с союзниками решает, чтобы задушить революцию, укрепить власть помещиков и капиталистов... сдать Питер немцам.

Едва немецкий флот начинает наступление, становится известным, что Керенский подготавливает переезд правительства в Москву.

Силы неравные. У немцев триста кораблей всех рангов, у нас — сто. Но пропустить немцев — значит похоронить революцию. Центробалт, не колеблясь, принимает единственно мыслимое для революционеров России решение: «Защищаться!»

Второй съезд моряков Балтфлота 5 октября 1917 года принимает Воззвание «К угнетенным всех стран». Оно написано известным в годы Октября большевистским деятелем Владимиром Александровичем Антоновым-Овсеенко.

Днем, после обеда, на плацу выстроены команда форта «Красная Горка» и крепостные солдаты. Здесь нет только прислуги, оставшейся у орудий, и часовых, которые несут службу на постах входа. Яркий осенний день. Плац замкнут: полукругом — здания экипажа (казармы), полукругом у моря — пушки.

На высокой трибуне — прибывший из Кронштадта Петр Смирнов, высокий блондин в студенческой фуражке:

— Товарищи! Сегодня, в сей час, Воззвание «К угнетенным всех стран», как клятву, слушают на всех судах, экипажах, командах героической нашей Балтики. Слушайте и вы. Пусть ответом врагу будет единое наше слово...

Плац замер.

— «Братья, в роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы возвышаем к вам свой голос, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание. Атакованный превосходными германскими силами, наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу. Оклеветанный, заклеянный флот исполнит свой долг перед великой революцией. Мы обязались твердо держать фронт и оберегать подступы к Петрограду...»

Высокий грудной голос Смирнова срывается:

«Мы выполним свое обязательство. Мы выполняем его не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего милостью долготерпения революции. Мы идем в бой не во имя исполнения договоров наших правителей с союзниками, опутывающих цепями руки русской свободы. Мы исполняем верховное веление нашего революционного сознания. Мы идем к смерти с именем великой революции на недогорающих устах и в горячем сердце борцов! Русский флот всегда стоял в первых рядах революции...»

Не шелохнется плац. Только скулы сжаты у балтийцев.

«Имена моряков вписаны на почетном месте в книгу великой борьбы с проклятым царизмом, и в яркие дни развивающейся революции моряки всегда шли в авангарде борцов за ее конечные цели — до полного освобождения всех трудящихся. И эта борьба с отечественными хищниками, борьба не на жизнь, а на смерть, дает нам святое право призвать вас, пролетарии всех стран, призвать вас твердым перед лицом смерти голосом к восстанию против своих угнетателей...»

Звенит над фортом голос большевика Смирнова:

«Сбросьте с себя оковы, угнетенные! Поднимайтесь на борьбу! Нам нечего терять в этом мире, кроме цепей. Мы верим, мы дышим верою в победу революции. Мы знаем, что свой долг наши братья по революции выполняют до конца на баррикадах последнего боя. Мы знаем, что близок этот решительный бой. Разгорается великая борьба, дрожит горизонт пламенем восстания угнетенных всего мира. В час, когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются темные воды над их трупами, мы возвышаем свой голос...»

Смирнову трудно говорить. По плацу проходит рыдание.

«С уст, сведенных предсмертной судорогой, мы поднимаем последний горячий призыв к вам, угнетенные всего мира:

Поднимайте знамя восстания!

Да здравствует всемирная революция!

Да здравствует справедливый мир!

Да здравствует социализм!»

Несется «Ура!» — неистовое, грозное. С пением «Варшавянки» и «Интернационала» в строгом порядке расходятся с плаца моряки.

Балтийский флот стоял насмерть... Немцы потеряли десятки кораблей, но к Питеру не прошли.

Думается, значение этого сражения не оценено еще по заслугам: ведь это был первый бой рождающейся Советской власти с интервента-

ми — бой, организованный и проведенный под руководством большевиков, ведомых Ильичем.

Интервенты побеждены. Революционно настроенные матросы показали свое мужество и беззаветную преданность делу большевиков. Весь мир убедился в том, что значит стойкость солдат революции. Партия сумела воспитать на флоте людей, способных защищать свое Отечество и завоевания революции. Было ясно, что такие не подведут и в решительную минуту, когда по зову Ленина, по зову партии придется свершать новую, социалистическую революцию.

Однако я несколько забежал вперед. Как известно, еще до этого предательского сговора с немцами Керенский заручился согласием Корнилова ввести в Питер войска, чтобы подавить революционное движение. Вместе они задумывают поход Корнилова как поход против революции, против большевистских Советов.

Настало время. Партия бросает клич: «Все против Корнилова!»

Получаю распоряжение ЦК немедленно связаться с Подвойским. Он спрашивает меня, не мираж ли наши боевые отряды на «Красной Горке».

Молча, в недоумении смотрю на него: что означает этот вопрос?

— Не волнуйся и не обижайся. Настала пора действовать. Выдержат ли?

— Уверен.

— Тогда нужно срочно перебросить несколько отрядов туда, откуда ведет наступление Корнилов, а потом ударить ему с тыла. Дело очень серьезное.— Он подумал и добавил: — И ответственное. Там сильное гнездо контрреволюции и эсеров.

Выступаем днем, двумя отрядами: моряки под командованием Петрова и смешанный отряд, в который входят питерские рабочие, кронштадтцы и крепостные солдаты. Завязываются бои под Нарвой, фортом «Серая лошадь», Юрьевом. Чтобы отразить возможное наступление врага, занимаем Остров, Дно. Наши и питерские отряды решают участь Корнилова. Он арестован. Генерал Крымов, командир 3-го кавалерийского корпуса корниловских войск, окруженный, отрезанный от Питера и Пскова, видя полный провал предпринятых боевых действий, застрелился. Его место занял генерал Краснов. Корниловский поход захлебнулся.

...10 (23) октября 1917 года. ЦК партии принял решение о вооруженном восстании. В. И. Ленин снова в Петрограде. Он во главе подготовки штурма.

16 октября. Меня с «Красной Горки» вызывают в Питер на расширенное заседание ЦК партии, созванное по предложению В. И. Ленина. Присутствую как представитель Петроградского Совета и член Военной организации. Это — заседание ЦК с представителями ПК, Военной организации, Петроградского Совета, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, железнодорожников.

В напряженном волнении, понимая все значение этих минут, всю ответственность свою перед историей, мы слушаем резолюцию, которую оглашает Владимир Ильич. Резолюция эта, принятая Центральным Комитетом на заседании 10 (23) октября, обосновывает настоятельную необходимость вооруженного восстания. Представители с мест докладывают — картина ясна: большинство Советов, решающие профсоюзные организации на стороне большевиков. Выступают один за другим руководители партии: Дзержинский, Калинин, Свердлов, Сталин. Верные ученики и соратники Ленина, они решительно поддерживают Ленина: «Необходимость начать восстание в ближайшие дни ясна». И снова, как и на заседании 10 октября, против восстания, против Ленина выступают лишь Каменев и Зиновьев.

Расширенное заседание безоговорочно идет за Лениным и его соратниками. Принята историческая резолюция. Собрание «призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке вооруженного восстания... выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления».

Заседание окончено. Знакомлюсь с закрытым решением ЦК: избран Военно-революционный центр в составе Свердлова, Сталина, Бубнова, Урицкого и Дзержинского. Центр влился в Военно-революционный комитет при Петроградском Совете.

Вызывают к Свердлову. Назначение — Псков, председателем Боевого комитета при главнокомандующем фронта. Короткий и, как всегда, деловой разговор. В нескольких словах предупреждение об осторожности, об умении вести агитацию.

— Представляете задачу? Ильич называет Псков решающим участком революционного фронта. Сколько людей поедет с вами?

— Да человек тысяча, Яков Михайлович.

— Что вы, что вы! Так мы Питер без революционных войск оставим! Керенский об этом только и мечтает. Нет, не доставим мы ему такого удовольствия. Да сейчас нам и здесь нужно много людей. Возьмите человек триста.

— Маловато.

— Подсчитайте с Подвойским.

После долгих переговоров Подвойский соглашается на пятьсот.

Об этом я и докладываю Якову Михайловичу.

— Вот и хорошо,— говорит Свердлов.— Каждый революционный солдат должен быть командиром. Организуйте людей на месте, создавайте партизанские отряды, перетягивайте солдат на свою сторону. Да, кстати, у нас есть такое мнение, что все эти отряды нужно возглавить вам. Поезжайте.

Вскоре пятьсот матросов с «Красной Горки» уже в Пскове. Наше появление здесь — полная неожиданность. И сразу — митинги, митинги, митинги... Каждый матрос — агитатор. Усиленно ведем разъяснительную работу в войсках, верных Временному правительству. В частях все больше неповиновения Керенскому. Это замечает даже такой матерый монархист и враг революции, как генерал Краснов. Вот как впоследствии он передал в мемуарах свой разговор с генералом Тепловым, который в течение нескольких дней занимал пост главнокомандующего Петроградским военным округом.

«Какие указания я могу вам дать? — говорил Теплов.— Я здесь калиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет... Идет борьба. С одной стороны — Керенский, с другой — Совет солдатских и рабочих депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным и который становится все более и более популярным среди петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться?..»

Наши отряды, в особенности отряд Ивана Петрова, успешно ведут работу по разложению частей Краснова. Моряки пользуются популярностью и уважением даже среди казаков. Помню, как нам удалось угорворить три полка донцов отправиться на Дон. Они все ушли с холодным оружием, на лошадях...

«Корпус,— свидетельствует далее в своих мемуарах Краснов,— оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его растасовке».

Матросы вместе с псковскими большевиками делают свое дело. У нас уже крепкие отряды. Достаточно сказать, что в один только отряд Ивана Петрова, в котором было поначалу не больше двухсот матросов, к этому времени влились около тысячи двухсот партизан, солдат, казаков, псков-

ских коммунистов, молодежи. Мы наносим войскам Керенского ощутительные удары, отвлекаем силы врагов от Питера.

...В ночь на 24 октября меня снова вызывают в ЦК. Короткая беседа с Я. М. Свердловым. Сообщаю о том, что в городе Пскове власть в руках Советов. И только Псков II-товарная контролируют казачьи части сюда прибывают эшелоны с Юго-Западного фронта.

— В Псков, снова в Псков! — говорит Яков Михайлович. — Захватите еще до ста моряков и немедленно возвращайтесь обратно. Требовани Ильича: Псков должен стать надежным заслоном Питера. Готовьтесь полному захвату власти! О дне и часе вооруженного восстания получит дополнительные указания. И не забудьте — ни один эшелон с войсками белых не должен пройти в Питер. Ни один!

Еще одна встреча — с товарищем Н. И. Подвойским, назначенным председателем Военно-революционного комитета Петрограда. От него получаю подробные задания, явки, пароли. Во время разговора раздастся звонок из Кронштадта — оттуда сообщают, что к нам, в Псков, направляется подкрепление.

На этот раз еду в Псков в качестве председателя Военно-революционного комитета Северного фронта. Вместе со мной из Питера приезжает Б. П. Позерн, назначенный ЦК комиссаром фронта вместо меньшевика Войтинского, избличенного в подрывной деятельности и в связях с контрреволюционными генералами. От Кудрейко, матроса с «Красной Горки» который ныне ни больше, ни меньше, как комиссар связи Северного фронта, узнаем последние новости и, что особенно для нас важно, чем дышат командующий фронтом белый генерал Черемисов и его начальник штаба генерал Лукирский.

Позерн сразу же встречается с комиссарами из полков и дивизий и передает им распоряжение ЦК партии большевиков: захватить власть на всем Северном фронте.

Начинается лихорадочная подготовка. В эту же ночь — на 25 октября — позвонил Н. И. Подвойский:

— Как у вас погода?

— Прекрасная.

— У нас тут завтра начнется совещание. Советуем провести и вам. Значит, завтра... «Совещание» — это пароль, о котором мы условились в Питере. Он означает — завтра выступление. Наконец-то!

— Есть провести совещание!

— А хорошенько ли подготовились?

— Вполне готовы.

— Начинайте. Желаю успеха.

И мы начали...

11

Охрана города Пскова, где власть перешла к большевистским Советам, возложена на большевика Ивана Петрова, командира отряда. Заменен комендантский патруль. К нам присоединилось много солдат Порховского полка, расквартированного в ту пору в Пскове. Этот 120-й запасный пехотный полк полностью наш.

Командиру отрядов Петрожицкому приказано арестовать комиссара Временного правительства Войтинского, но его и след простыл — бежал. Привозят его заместителя, эсера Шубина. Позерн, сопровождаемый десятью матросами-большевиками, занимает комиссариат.

В распоряжение Кудрейко для того, чтобы заменить ненадежных, посылается группа солдат и матросов, знающих технику связи. Кроме того, сменены отряды связи.

Перешедшему на нашу сторону казаку Александру Яковлеву из корпуса Краснова поручена разведка. Он держит связь с казаками-большевиками, наносит на карту дислокацию войск. Под Псковом сейчас 82 ты-

сячи солдат. Узнаем — подтягиваются еще войска с юга, с румынского фронта.

Один из наших партизанских отрядов — под командованием Мясникова — отправлен в Питер в распоряжение Н. И. Подвойского. (Отряд этот отличился своей храбростью в сражении с юнкерами при взятии Зимнего дворца. Мясников же в 1918 году был предательски убит из-за угла.) Другой отряд — под командованием Киселева — получает задание разобрать рельсы на путях к Петрограду. Этот отряд арестовал на станции Белые Струги бежавшего командующего Северным фронтом Черемисова.

В наши руки переходят почта и типография «Псковский набат». Там уже печатается листовка «Долой большевиков!», один потрепанный экземпляр которой мне еще в Питере передала Елена Дмитриевна Стасова. Содержание этой листовки — ответы на вопросы: кто кричит «Долой большевиков!» и почему? За что борются большевики? Чего они хотят? Слова «Долой большевиков!» выделены крупным шрифтом. Весь текст напечатан мелко. Тонкий расчет.

Вместо Черемисова командующим фронтом назначается Федор Федорович Новицкий, генерал-майор, командир 43-го корпуса, пользующийся большой популярностью и уважением солдатской массы. Выбор одобрен народом. Но Федор Федорович отказывается:

— Фронтом командовать не могу, но буду с вами

Тогда я предлагаю перейти на коллегиальные начала. Должен сказать, что генерал Ф. Ф. Новицкий с тех пор навсегда связал свою жизнь Советской Армией, был ближайшим сотрудником М. В. Фрунзе, преподавал в Военной академии. Он умер в 1944 году в звании генерал-лейтенанта.

В распоряжении Псковского Совета теперь около семи тысяч солдат матросов, объединенных в боевые отряды, немало сделавшие впоследствии для победы революции. С 7 ноября 1917 года их стали именовать Первыми соединенными социалистическими рабоче-крестьянскими партизанскими отрядами при ВЦИК», или, как окрестил их Яков Михайлович Свердлов, «Отрядами Панюшкина».

А в Питере — полная победа! У всех на устах ленинское Воззвание «К гражданам России!»:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона».

Радостная весть! От нее горячо, трепетно на сердце.

Победа окрыляет. Но и обязывает. Ведь Псков-II еще в руках белых.

...Доходят слухи, что белогвардейщина готовится вновь двинуться на Питер. Александр Яковлев сообщает, что в Пскове несколько часов был Керенский. Вместе с Красновым, со своим шурином — генерал-квартирмейстером Северного фронта Барановским — сумел улизнуть на машине в сторону Питера, в Гатчину. Сведения точные. Тревожно. Вероятно, Керенский с Красновым встретились неспроста. Посоветовавшись с Позером, решаем: сменить комендантов на станции, поставить своих, надежных людей.

На каждом заводе — отряды Красной Гвардии. Во главе их в большинстве матросы с «Красной Горки».

Уже дважды, но безуспешно пытаемся захватить псковскую тюрьму. Среди политических там триста шестьдесят «двинцев» — солдат и офицеров из Двинской крепости, куда они были помещены после ареста за неповиновение и восстание на фронте, за срыв июньского наступления, за уманного Керенским. Временное правительство и Ставка, испугавшись копления в Двинске десятков тысяч бунтовщиков-армейцев, раскассиро-

вали их по разным тюрьмам. Те, которые недавно привезены в Псков, осуждены военно-полевым судом и содержатся в старой каторжной тюрьме.

Мы рвемся помочь товарищам, да и нам самим крайне нужна их помощь. Стоит ли говорить, что значат для нас прошедшие фронт солдаты именно сейчас, когда мы срочно обучаем каждого, кто может носить оружие? Это хорошо понимает и враг: недаром в районе тюрьмы сосредотачиваются наиболее надежные юнкерские и казачьи части. Оттесненные нами из города, они пока контролируют пригород и Псков-II.

Мы решаем любой ценой освободить из тюрьмы наших товарищей.

В ночь с 28 на 29 октября вызываем в наш штаб большевика Шестало, в распоряжении которого находятся бронемшины.

Строевым шагом входит молодой бравый украинец, с вьющейся копной черных волос и длинными, чуть закрученными кверху усами:

— Бывший унтер-офицер Шестало прибыл в ваше распоряжение для получения боевого задания!

— Садитесь, товарищ,— приглашает Позерн.

Отковырнув еще раз, Шестало садится.

— Вы член партии? — спрашивает Позерн.

Шестало вскакивает, становится во фронт, берет под козырек:

— Так точно, большевик!

— Очень хорошо,— отвечает Позерн.— Мы тут хотим дать вам одно поручение.

— Слушаюсь!

— Да вы садитесь, садитесь и, пожалуйста, перестаньте козырять, то это сбивает меня с толку,— очень серьезно говорит Позерн.— Давайте поговорим по-человечески.

Шестало смеется.

— Сколько можете вывести машин?

— Если надо, могу вывести все.

— Вот и хорошо. Сейчас же снимайтесь и езжайте в тюрьму. Задача — освободить всех политических заключенных.

— Будет выполнено.

Шестало уходит.

Чтобы восполнить мой рассказ, с разрешения бывшего двинца Петр Михайловича Федосова, освобожденного тогда нами, я привожу здесь его солдатский дневник той поры. Мне думается, он очень ярко и убедительно характеризует состояние и настроение заключенных армейцев в предгрозовые дни кануна Октябрьской революции.

«20 сентября 1917 года. Месяц назад нас судили. Двенадцать солдат 480-го пехотного Двинского полка получили каторжные работы от 6 до 12 лет. Прокурор требовал смертной казни: «Я надеюсь, господа присяжные заседатели, что у вас поднимется рука, чтобы подписать смертный вердикт этим разлагателям армии, немецким шпионам...» Присяжные — из офицеров ударных частей, созданных Керенским. Свидетелям было учинена присяга перед крестом и евангелием — это тоже офицеры-монархисты из наших частей. Все это много времени не заняло. Но и у «ударных офицеров» рука не поднялась на вердикт. Судят пачками и сами трусят! От нас говорил младший унтер-офицер Шукин:

— Корниловцы, вы жаждете нашей крови. Но всех не закуете...

После суда Шукин сказал:

— Не робейте, ребята. Суд скорый, да неправый. Скоро выйдем.

Я ему верю.

Из здания окружного суда в тюрьму вели под конвоем, снова через весь город, пешком. Народ смотрит сочувственно. Не то, что в первый день, когда приехали в Псков: видно, известно было, что привезут большевиков,— собралась чистенькая публика, в котелках, с золотыми зуба

ми. Открыли теплушки, команда: «Стройся по четыре!». Привезли нас человек 200, а юнкеров, что окружили нас с винтовками наперевес, почитай, не меньше 400. На нервы действуют, но и сами боятся, сволочи. Я тогда отстал. Спрашиваю юнца-прапорщика:

— Куда ведете?

— На братское кладбище.

— Зачем спрашиваешь, кого? Это ж не человек,— сказал мне Шукин.

Тогда и вправду не знали мы, что с нами будет, а сейчас все прошли, и каторжники уже, а не страшно.

Охраняют нас юнкера.

25 сентября. Юнкер сменил сегодня 120-й пехотный полк — папаша, «крестики» — ополченцы. Смотрят робко. Дичатся, а самим, видно, любопытно: кто мы?

27 сентября. Наша пересыльная каторжная — на Коханском бульваре. Централ. Задняя тюремная стена не такая высокая. Мальчишки забиячатся, кричат: «Товарищи, организуйтесь!» И смех и грех на пацанов: видно, это они из листовок. Им пригрозили. Мы пели песни, на той стороне собирався народ.

28 сентября. Какие-то китайские артисты на противоположном тротуаре расстелили коврик: нам давали представление. Вот оно как слушается.

29 сентября. В тюрьме на третьем этаже собрание большевиков нашего коридора. Докладывает Курышев. Подымает настроение, говорит, что скоро крышка будет Керенскому и всей компании. Ругает Скобелева: ведь это по его милости мы в тюрьме. Это он приезжал самолично к нам в полк и обманно арестовал всех большевиков. Собрание полностью не удалось. Ворвался юнкерский начальник:

— Что за собрание?!

Вышел Козьма Шукин:

— Да вот хотим помилования просить у Керенского. Для того и собрались.

Какой-то офицерик сказал:

— Слава богу, за ум взялись.

Ушли. Ох, и ненавидят их у нас!

10 октября. Когда нет юнкеров, свободнее дышится. Сегодня нас охраняют солдаты 120-го полка. С этими мы в дружбе, и с каждым днем все больше. Вначале они сторонились. А потом — слово за слово:

— За что вас? Супостаты, что ль, какие?

— Да как сказать, за что? Воевать, папаша, надоело.

— Ну, это и мы против войны. А еще за что?

— А еще за землю, чтобы народу досталась. Крестьянину ее отдать надо.

— Ну это, конечно, за землю и мы. Нужна, больно нужна крестьянину земля. Вот, знаешь, у нас-то...

— Э-э, папаша, ну тогда ты по всем статьям и сам большевик...

Охраняют. Ума набираются.

Стою. Через решетку разговариваю с одним пожилым крестьянином. Закуриваем махорку.

— Вот, может, ваш Ленин к власти придет, тогда и закрепится мир. И землю дадут. А от Керенского ничего не дождешься. Царя спихнули, а кого к власти допустили? Срамота.

Такое настроение теперь у всех наших «крестиков» из 120-го. Шевелят мозгами.

И с воли что новое от них узнаешь, и полегче на сердце, как начнут свое:

— Ты откеле, браток, сам-то будешь?

Когда они на постах, вроде и не чувствуешь, что в тюрьме.

15 октября. Солдатики носят газеты.

18 октября. Получили с воли листовки. Шукин говорит, что большевики готовят свержение правительства Керенского. Настроение у всех боевое. Листовки пришли, хоть охрана тюрьмы усилена. наших солдат из 120-го больше нет. Тюрьма охраняется казаками. кое-где в казематах делают конверты для фронта. Большевики работать отказались. Сегодня троих из нашего полка — Александра Соломонова, Митю Воеводина и Исаака Черного — увели в карцер за пение песен. Тогда, в протест, запела вся тюрьма. Казаки открыли стрельбу из пулеметов и винтовок. Мы лежали и пели.

22 октября. Черт знает что. Юнкера и казаки усилили свои караулы. Сиди здесь... Сегодня пулеметный огонь по тюрьме.

23 октября. снова около тюрьмы шла стрельба. Говорят, нас хотят освободить.

24 октября. Опять стрельба. Бьют пулеметы. Шукин сказал, что на тюрьму был налет псковских революционных отрядов. Но окончился неудачно. Действуют наши товарищи. Как хочется на волю! А мы отрезаны от мира. Не знаю, правда ли? Говорят, внизу, на первом этаже, клетки для людей. Неужели правда? Гулять нас не выпускают. Одно развлечение — церковная служба. Только мы не ходим, хотя церковь на нашем этаже. Раз или два в неделю служат.

26 октября. Сегодня удивительное событие. Но прежде объясню. Наш третий и четвертый этажи добились-таки своего: теперь свободно сообщаемся из камеры в камеру. Ходим по коридору. В конце его — решетка. Утром пришел священник. Мы стояли втроем у решетки. Старый батя, проходя мимо нас, остановился, спросил:

— А где тут у вас большевики сидят?

— А на что, отец, они вам понадобились? Тут сидят.

— Скажите им, сегодня в Петрограде большевики захватили власть, как сказано, взяли власть в свои руки.

Первую секунду мы стояли ошеломленные: верить ли?

Казак, не повышая голоса, сказал:

— Проходи, батюшка, по своим делам. По божественным. А государственную тайну не разглашай.

Священник ответил:

— Эх, ты, соколик, да эту тайну уже весь мир знает.

И ушел.

А мы, не помня себя, побежали:

— Братцы! Ура! Ленин у власти!..

Что творится в камерах! Заволновалась, заходила тюрьма. Стены сотрясаются от криков. Третий и второй этажи подняли восстание. У каторжников, клеивших конверты, забрали всю красную бумагу. Окна выбиты — через решетки вывешены красные флаги. Мы запели «Отречемся от старого мира...». И вся тюрьма подхватила «Марсельезу».

Только спустя полчаса открыли стрельбу по тюрьме — растерялись наши охранники. Но царская тюрьма добротная, построена крепко: пули ее не пробивают. Мы лежали долго.

27 октября. На заре нас снова пытались отбить у казаков. Стреляют, сволочи!

Мы нужны там, на воле, а торчим здесь и бездействуем! Днем приехали благообразные взволнованные господа. Так и не поняли мы: эсеры или меньшевики. Высокий, в золотом пенсне, не стесняясь, сказал:

— Господа, наберитесь терпения. К чему волноваться? В Петербурге вопрос «кто — кого» еще не решен.

Ему показали «кто — кого!» Вопрос ему не решен? Так объяснили, что еле ноги унес... Держат нас, подлецы! снова бьют пулеметы.

30 октября. Ночь. Это случилось вчера под вечер.

Еще снизу донесся топот:

— Собирайтесь, товарищи!

Лязг засовов. Подкатили броневики. Тюрьма сдалась без сопротивления. Вбежали солдаты 120-го — наша бывшая охрана. Вошел высокий матрос — желтый дубленый полушубок, зимняя матросская шапка с кожаным верхом и меховым околышем, огромный маузер на боку.

— Собирайтесь, братки!

В тюрьме широкие лестницы. Мы спускаемся боевым строем и поем «Смело, товарищи, в ногу». У видавших в лицо смерть, заросших бородами солдат на глазах слезы. Наш дорогой пропагандированный 120-й, наши «крестики» — папаши тут же, на тюремном дворе, выдают оружие. Получил две гранаты, винтовку.

За тюремной стеной — в цепь. И в бой!

Сейчас станция наша — взяли на заре. Поставили караулы...»

На этом тюремный дневник П. Федосова обрывается.

...Бой 29 октября за железнодорожный узел был уже не первым. Псков-II и вокзал по несколько раз переходят из рук в руки. И даже на этот раз наши отряды выбиты. Только через несколько дней мы окончательно и прочно стали контролировать Псков, Двинск, эстляндский город Валк и Остров.

А пока...

Пока мы нарушаем коммуникации. Комендант, наш человек, ненароком — «по техническим причинам» — загоняет эшелоны в тупик. А уж тут как тут наши агитаторы-солдатики. Рассыпаются по эшелону, влезают в теплушки.

— Зачем едете, братцы, куда?

— Да в Питер. Там, говорят, старослуживые устали — сменить.

— Э-э, да ничего и похожего нет. Вас на революционный Питер гонят! Или не слыхали? Власть взяли большевики, народ согнал Временное правительство. И декреты новые издали — против них-то все буржуи и поднялись. И вас за то гонят.

— Какие декреты?

— Да известно какие — о мире, о земле.

— Врешь... Выкладывай. Или голову долой! Так не шутят. Где начальство? Почему декреты утаили?..

Под Псковом скапливается разношерстная бурливая солдатская масса...

Позволю себе напомнить, что пишет в своих мемуарах об этом тревожном периоде В. Антонов-Овсеенко:

«Упорная борьба за псковский узел. Гарнизон Пскова (120-й запасный полк, три этапных роты, три рабочих роты, дружина, до 7 тысяч солдат распределительного пункта и два стрелковых эскадрона 16-й кавалерийской дивизии) целиком большевистский.

Мы сильно рассчитывали на энергию Панюшкина, матроса, направленного нами в подкрепление Псковскому ревкому. Под руководством Панюшкина утром 26-го власть в Пскове — в руках ревкома, но Псковский железнодорожный узел охранялся двумя сотнями донцов; отрядом ревкома станция 29-го занята, однако из Валка прибыл ударный батальон и небольшой партизанский отряд, выбившие большевиков со станции. Ревком готовит новый удар».

О том, как нанесли мы этот удар, мне и хочется рассказать.

...Вокзал Псков-II целиком во власти казачьих войск. Узел во что бы то ни стало должен стать нашим.

Встречаюсь с Александром Яковлевым, возглавляющим теперь конный разведывательный отряд казаков, добровольно перешедших на нашу сторону. Яковлев докладывает о разложении среди казаков. Много митингуют. Но еще сильна дисциплина. Офицеры стремятся проводить суровую карательную политику. Начинают запугивать. Ка-

заче командование, докладывает Яковлев, хочет расправиться с Советской властью в Пскове, и для этого сюда перебрасываются верные войска. В Пскове сотня уссурийских казаков захватила артиллерийский склад фронта.

Хотя в Пскове много казачьих частей, а всего войск более 82 тысяч, мы все же решаем разоружить сотню уссурийцев и арестовать штаб, расположившийся в городе без ведома революционных властей. Провести эту операцию поручаем двум отрядам — Петрова и Петрожицкого.

А я еду на автомашине в типографию, грузу тюки с листовками «Долой большевиков!» и уезжаю в Псков-II. Думаю созвать митинг, поговорить с казаками, раздать листовки.

Машина — легковой гоночный автомобиль бывшего командующего фронтом — мчится по узким и темным улицам. Торплюсь скорее добраться до места. Вдруг у шлагбаума нас задерживает патруль. Я успел заметить, что станция забита военными составами и на подступах к ней, насколько хватает глаз, стоят эшелоны. Как я потом узнал, это прибыли новые войска с румынского фронта.

Обычный оклик часового:

— Кто идет?

— Председатель Военно-революционного комитета Северного фронта.

— Его-то нам и нужно, — отвечает, выходя из тени, офицер.

Всматриваясь в меня, цедит:

— Сам пожаловал. За тобой-то мы как раз и охотимся.

Тем временем окружившие нас солдаты замечают в машине пачки бумаги. Не долго думая, они вспарывают тюки и нарасхват разбирают: запастись на сигарки.

— Пстой, пстой, — слышатся голоса. — Что такое? «Долой большевиков!»

И сразу начинают читать. Солдатам интересно: ведь гонят-то их в Петербург, уничтожать большевиков. Расчет верный — такую листовку офицеры у солдата не отнимут... И действительно, начальство не придает никакого значения этому чтению.

Листовки пошли по рукам. Вот и хорошо. С этой целью, собственно, я и ехал. Правда, меня задержали, но теперь, да еще с благословения самих господ офицеров, листовки попали прямо в руки тех, к кому они обращены. С радостным чувством смотрю я, как жадно читают солдаты. Листовка дошла до народа... Конечно, мы действуем не только словами, не только силой убеждения: уже разобраны пути на Петербург, почти на всем пути следования поставлены пулеметы и орудия. Однако что значит все это против массы вооруженных до зубов солдат! Нет, в ту пору мы, конечно же, больше всего надеялись на правдивое и прямое наше большевистское слово. Борьба с контрреволюцией «соединяла в себе не столько военные действия, сколько агитацию».

...А меня пока арестовали. Подвели к теплушке, посадили. В вагоне яркое электрическое освещение. Как видно, стоит этот вагон давно и используется офицерами и железнодорожной администрацией. Сразу же появляется патруль.

Казаки начинают осторожно расспрашивать: что делается в Питере, как попасть в свои станицы на Дону?

Отвечаю, разъясняю и ввертываю понемножку про то, что происходит и как что надо понимать. Внимательно слушают.

А в это время куда сильнее и больше, чем мы надеялись, действовали мои «Долой большевиков!». Листовки пошли по всем эшелонам. Кое-где дело доходит чуть ли не до драки.

Так проходит час, полтора, два. Дверь вагона открыта. Кто-то подходит; видны полковничьи погоны. Спрашивает:

— Кого вы тут поймали?

Подбегает хорунжий.

— Разрешите доложить, господин полковник! Так что это большевик. Председатель Военного революционного комитета.

Полковник злобно смотрит на меня:

— Ну что ж, давайте побеседуем. Можем и помиловать. Да, кстати, подпишите сначала эту бумажку.

— Какую?

— Чтобы отпустили мою сотню, которую забрали у вас в городе, и мой штаб.

«Ах, вот в чем дело! Значит, Петров и Петрожицкий успели...»

Озадаченно смотрю на полковника.

— Что вы, как я могу подписать! Как офицер, вы должны хорошо знать русскую историю. Помните, когда Петр Великий, создав русскую армию и флот, уехал воевать с турками под Азов? Перед этим он дал сенату указание: если он попадет в плен к туркам, никаких его приказаний не исполнять, так как пленный император не есть император. Вам, полковнику, следовало бы это знать...

Полковника передернуло.

— Ваши шутки неуместны. Подумайте. Я приду через некоторое время.

Так проходят еще часа два.

Вдруг слышу, снаружи вагона что-то зашевелилось. Шестеро солдат в грязных папахах, фронтového вида, с винтовками в руках спрашивают:

— Кто у вас старший в конвое?

— Я...— поднимается один из казаков.

— Так вот, мы пришли сменить вас.

— Нас должны менять не вы.

И называет какую-то свою часть.

— Нет, мы сменим вас. Вы устали. Топайте отдыхать.

— Ну, раз сменять, так сменять.

Казак ушли, а солдат стукнул прикладом винтовки об пол вагона и говорит:

— Так что, товарищ комиссар, караул прибыл в ваше распоряжение. Приказывай, что делать.

В это время возвращается полковник:

— Ну как, надумали? Подпишете распоряжение?

Я переспрашиваю:

— Какое распоряжение?

Он не догадывается, не видит, что у нас уже другой конвой и казачий хорунжий — в вагоне (его посадили, но он молчит, ничего не говорит).

Смеюсь. Полковник свирепеет. Тогда наши конвойные «успокаивают» разбушевавшегося полковника. С него срывают погоны, арестовывают, сажают в теплушку мне на смену. В это время врываются матросы во главе с Петровым. Один из них подходит к арестованному:

— К вам, господин полковник, вопрос есть.

— Что такое?

— Вопрос, говорю. Когда будем расстреливать, плакать будешь? Молчание. Лицо дергается.

— А богу молиться будешь?

— Я много раз встречался со смертью.

— Оно и заметно. Видел, как ты пристрелил солдата, который листовку читал. Выходи, сволота! Рядом ляжешь.

Матрос уводит полковника. Выстрел...

Хозяйничать здесь пока остается Александр Яковлев, команда которого пополнилась казаками, сагитированными листовкой «Долой большевиков!».

Подана машина, и мы спешим на Псков-пассажирский.

Старый комендант, тоже полковник, начинает заискивающе рапортовать. Я его спрашиваю:

— А что вы сделали для того, чтобы не скапливать столько войск на станции? У нас скоро не хватит продуктов. Чем будем кормить всех этих людей? Вы хотите, чтоб они подняли бунт?

Он молчит. Тогда я обращаюсь к Петрову:

— Прими от него дела.

Теперь комендант вокзала Петров. У него свой отряд, и он сразу начинает командовать. Вот уж в ком можно не сомневаться! Невольно вспоминаю «Красную Горку»...

Прохожу по эшелонам. Везде люди читают нашу листовку. Приглашают посидеть, расспрашивают, просят выступить.

У самого вокзала пьяные:

— Комиссар... ты не бойся. Комиссар, пить будем, воевать с Питером не будем.

Но это уже маленькая группка. Значит, пожар затухает. А ведь всего несколько дней назад здесь развернулись события, когда мы в необычных и сложных условиях сумели проверить силу наших слов, силу большевистской правды, которая трудно, но прочно входит в простые сердца.

Я говорил уже, что на Псковском железнодорожном узле — очень важном стратегическом пункте — создалось к тому времени своеобразное двоевластие: хотя нами были назначены коменданты Военно-революционного комитета, прежние коменданты, опираясь на верные казачьи части, также продолжали действовать. Кроме того, помимо наших комендантов, то тут, то там распоряжалось множество представителей от революционно настроенных частей. Чтобы воспрепятствовать пропуску войск на Питер, они самолично вели наблюдение за продвижением эшелонов. Агитация шла вовсю. Бурлили забитые войсками тупики Пскова-I и Пскова-II.

Но не дремал и враг. Видя сильное брожение, контрреволюционное командование пошло на крупную провокацию: на вокзал подали состав с цистернами вина и водки... Узнали мы об этом поздно ночью, когда пир уже разгорелся вовсю — много ли нужно было?

Немедленно был отдан приказ: «Явиться без оружия, по тревоге: пьяная оргия на путях. Уговорить!».

Полыхает зарево. Горят бочки. Беспорядочная стрельба. Железнодорожники и казаки ведрами таскают вино. На путях — рассыпанный сахар, распоротые мешки с мукой. Большевики (из числа недавно выпущенных из тюрьмы) и наши моряки с «Красной Горки» призывают казаков к порядку, не идти на революционный Питер:

— В Кронштадте матросы сами держат охрану у складов с водкой и спиртом. Там ни одного пьяного не встретите, братки. А вы!..

— Корниловцы нарочно спаивают вас, чтобы погнать против своих же братьев, против свободного Питера. Одумайтесь!

Перед разбушевавшейся пьяной толпой выступают большевики. Солдаты, что потрезвее, слушают. Но также слушают и своих офицеров. Чувствуется, люди еще не выбрали, за кого воевать.

Сейчас, по прошествии сорока лет, бывший солдат Петр Михайлович Федосов, ныне историк, преподаватель Академии общественных наук, вместе со своим дневником передал мне ряд документов, многих из которых я не знал и не мог знать в ту пору. Они проливают яркий свет на события тех дней, на нашу тогдашнюю боевую работу, раскрывают смысл

того, что мы делали, показывают, что значило для революции: «Держать Псков!» Создавая заслон перед Питером, мы охраняли революцию на ближних подступах.

Из документов, уже известных мне ранее и новых для меня, явствует, что решающей ставкой белогвардейщины был именно Псков.

Не пропустить в Питер контрреволюционные войска — такова была первая и главная задача, которую мы решали.

...День за днем верховный главнокомандующий Духонин запрашивает по прямому проводу положение на железнодорожном узле, контролирует движение эшелонов. Он держит Псков под неослабным личным наблюдением, вызывает к телефону генерал-квартирмейстера Северного фронта Барановского. «Приняты ли меры к охране надежными войсками (небольшевистскими) Псковского железнодорожного узла, как я о том просил и настаивал сегодня утром?». Это запросы от 26—27 октября. А 3 ноября у аппарата Главкосев генерал Черемисов. Он передает рапорт нового начальника гарнизона Пскова, генерала Триковского: «Доношу, что местный гарнизон г. Пскова полностью находится во власти революционных организаций крайнего направления и в контакте с Военно-революционным комитетом Петрограда. Гарнизон силою открыл артиллерийские и оружейные склады и обильно снабжен всякого рода оружием, вплоть до артиллерии. Гарнизон стоит на непримиримой позиции по вопросу продвижения эшелонов севернее линии от Пскова, усматривая в этом развитие контрреволюции и содействие таковой со стороны местных властей. На почве этого возможны эксцессы, вплоть до вооруженных выступлений, как это уже имело место 31 октября и 1 ноября. В настоящее время даже чисто стратегические передвижения в районе Петрограда и его окрестностей невозможны. В гарнизоне нет ни одной части войск, которую можно было бы противопоставить другой группе, и всякая в этом отношении попытка будет губительна для Пскова, как центра жизни Северного фронта».

Черемисов сообщает, что если не отвести эти части, то они очень «скоро переменят окраску и, возможно, самочинно двинутся к Петрограду, но уже совсем с другой целью, чем вы предполагали. Кроме того, если эшелоны даже пройдут через Псков, то они будут задержаны, как мне сообщил Шубин, на следующих узловых станциях, где уже приняты меры революционными комитетами». Докладывая обстановку Духонину, Черемисов угрожает своей отставкой в случае, если Духонин не отменит распоряжение о продвижении войск через Псков: «Повторяю вам, что я за эти дни настолько измучился, что с величайшим наслаждением ушел бы немедленно с должности и сделаю это, как только начавшаяся политическая передрыга так или иначе закончится».

Командующий фронтом просит Духонина говорить откровенно. Вот как он начинает свой разговор: «Здравствуйте, Николай Николаевич. Положение настолько угрожающее, что я не могу приехать к вам в ставку, да в том и нет надобности, так как мы можем говорить по аппарату. Мой аппарат в моей квартире вне всякого контроля, так что вы можете говорить все, что сказали бы мне лично».

Командующий фронтом еще тогда, сорок лет назад, поразил нас точностью и откровенностью формулировок. Генерал Черемисов ошибался только в одном: он не знал, что Кудрейко, который дневал и ночевал на узле связи, этот мудрый «английский хохол», как мы его называли, оставлял старому генералу лишь иллюзию бесконтрольности. Это во многом сберегало нам силы и время.

...На рассвете я у Позерна. Звонил, оказывается, Подвойский: Керенский засел в Гатчине; Краснов идет на Питер. Приказано ударить с тыла.

Один за другим уходят отряды. Во главе их и те, кто приехал со мной из Кронштадта, и те, кого мы освободили из псковской тюрьмы.

Среди них особенно отличились впоследствии первые партизанские социалистические отряды Ивана Кима, Ивана Курышева, Павла Раева, Ивана Чернышева.

С тыла, у Пулкова, наши бьют по Краснову.

В эти дни стало понятно, почему еще, помимо всего прочего, силы контрреволюции так упорно цеплялись за Псков. Когда происходила развязка с Красновым на Пулковских высотах, у белого генерала был огромный перевес в артиллерии, но у него не оказалось... снарядов. Чтобы спасти положение, небезызвестный генерал Духонин дал срочное и весьма секретное распоряжение псковскому складу № 5 отпустить 3-му конному корпусу 20 тысяч гранат, 20 тысяч шрапнельных снарядов, 15 миллионов патронов для винтовок и 2 тысячи снарядов для бронепоезда. Распоряжение более чем красноречиво!..

Склад № 5, находившийся на Песках, в 4 километрах от Пскова, охраняли казачьи части, верные Краснову. Распоряжение Духонина было перехвачено нами позже. Вначале мы узнали только о приезде приемщиков. Для кого будут они отбирать оружие? Для Краснова? Несомненно, для него. Допустить отpravку снарядов было равносильно тому, чтобы собственными руками укрепить генерала, рвавшего удушить город, ставший колыбелью пролетарской революции.

Еще недавно во избежание кровопролития мы долгое время вели мирные переговоры с частью, которая охраняла склад. Мы тем более спокойно и уверенно делали это, что держали его под своим неослабным контролем, а мертвый, бездействующий склад до поры до времени был нам не опасен. Теперь обстановка резко изменилась. Переговоры явно становились бессмысленными. Александр Яковлев сообщил: «Снаряды будут отправлены Краснову; необходимы самые решительные меры!»

Вечером в доме губернатора на Кохановском, ныне Пролетарском бульваре, где в ту пору находился Военно-революционный комитет, мы проводим короткое совещание. Ставим задачу: ночью захватить склад. Учитываем и возможность вооруженного сопротивления.

Последнее донесение: казаки хозяйничают, уже нагружают вагоны. В срочном порядке организуем отряды. Коммунисты — офицеры и командиры из солдат — каждый с дюжиной — другой красногвардейцев разосланы по предприятиям — по своим дружинам. Поднятые по боевой тревоге отряды Красной Гвардии молча сосредотачиваются, вливаются в колонны. Собирается до 400 человек. Вооружены пулеметами. Выступают в поход. Идут форсированным маршем.

Решено: окружить склад, неожиданно выйти из леса, «стукнуть» внезапно с двух сторон.

Операцию начинаем на заре. Казаки спят. В лоб склад атакует конный отряд Александра Яковлева. Окружают остальные отряды, в том числе и наиболее многочисленный, которым командует Иван Петров.

Наши красногвардейцы с такой быстротой обезоруживают стражу и влетают в казармы, что казаки не успевают натянуть исподнее. Об организованном сопротивлении не может быть и речи. Казаки бегут: **плз**-менного желанья воевать за Краснова у них, судя по всему, нет. **Человек** семьдесят, взятых в плен, посажены в тюрьму. Склад № 5 на Песках перешел в наши руки. 3-й корпус Краснова не получил из Пскова ни одного патрона, ни одного снаряда — распоряжение генерала Духонина не выполнено! Повернутые жерлами с Пулковских высот на Питер пушки генерала Краснова... молчали.

Коммунисты Пскова самоотверженно и беззаветно выполнили задание Ленина, переданное Яковом Михайловичем. Они захватили Псков, задержали войска, которые контрреволюция могла двинуть оттуда на Питер.

Выполняя волю партии и Советского правительства, отряды ВЦИК были там, где приходилось труднее всего. Это они были в числе тех, кто отбивал первую атаку немцев под Псковом. Это их посылали на продрозверстку — отправлять хлеб Питеру и Москве. Это они отбили у белых Казань, воевали под Вяткой, Уфой, предотвратили в Питере белогвардейский мятеж. Сколько героических страниц вписали наши товарищи в славную книгу революционной борьбы!

Мне посчастливилось много раз встречаться с В. И. Лениным, М. И. Калининым, Я. М. Свердловым, И. В. Сталиным, долгий период работать вместе с Ф. Э. Дзержинским, близко сталкиваться с теми, с кем вместе был в подполье. Все это сохраняется в памяти. В моей долгой и нелегкой жизни всегда путеводной звездой были идеи Ленина, идеи нашей родной Коммунистической партии.

Ленин запомнился мне внимательным и чутким, отзывчивым и добрым. Ленин запомнился мне и строго-требовательным. Революция — борьба. И ее предстояло выиграть.

Помню, в 1919 году я формировал новое воинское соединение в Тульской губернии (первые соединенные социалистические партизанские отряды при ВЦИКе превращались в боевые соединения) и провел эту работу довольно быстро. Проезжая через Москву, заслужил от Ленина похвалу. Но в Питере, где наше соединение вооружалось и обмундировывалось, мне мешали, в особенности Троцкий. Мы не успели к сроку выступить на фронт. Москва несколько раз запрашивала: «Почему?» Я. М. Свердлов ругал меня за задержку с формированием. И все же сборы наши затянулись. Тогда в это дело вмешался В. И. Ленин. «Телеграмма В. Л. Панюшкину. Петроград. 12 IV. 1919 года. Ваше промедление с погрузкой и отправкой становится непонятным. Поймите, что малейшее промедление преступно. Никакое недоснабжение не оправдывает. Выезжайте и вывозите вашу воинскую часть во что бы то ни стало немедленно. Предсовнаркома Ленин».

Ленин всегда учил, что интересы революции превыше всего и невозможного для коммунистов не существует. Мы знали ленинскую требовательность и напрягали все силы, чтобы как можно лучше выполнить любое его задание. Ленинское слово всегда воодушевляло ум и сердце. А при встречах Ленин неизменно поинтересуется личным, посоветует, обязательно спросит, в чем нужда. Как-то, подписывая мне удостоверение на длительную поездку в Самару, Владимир Ильич вызвал к себе мою жену, работавшую у него в секретариате, и сказал:

— Что ж вы на работе? Муж выезжает, кто его будет провожать в дорогу?

Он был великим и в мелочах.

Однажды мне довелось наблюдать (в ту пору я был уже на хозяйственной работе), как Владимир Ильич присутствовал при испытании автоплуга. Надо было видеть в ту пору Ленина! Заводской рабочий вел плуг, а Ленин ходил возле плуга, по борозде, наклонив голову, наблюдал работу, расспрашивал, советовал. Он был в торжественно-праздничном настроении. И это передавалось всем.

С тех пор прошло много времени. Нынешний год — юбилейный. Мы вновь и вновь вспоминаем Ленина. Мы полны гордости за наше государство, им основанное. Если бы мог посмотреть Ильич сегодня на нашу страну! Какую радость он испытал бы! Многие сделано, о чем мечтал наш Ленин. Многие нам еще предстоит сделать. И все, все сбывается. Тому порукой наш народ — народ, который первым завоевал на земле свободу, народ, которому принадлежит будущее, советские люди.

Литературная запись А. Млынек.

Иван РЯДЧЕНКО

Большое ленинское дело

Трещал мороз.
Гудки летели.
Смерзались слезы на щеке.
И бились крыльями метели
о землю в скорби и тоске.
И поседевшая планета
глядела молча под стекло
на вечный номер партбилета,
еще хранящего тепло.
У ног истории ржавело
железо царского орла.
Большое ленинское дело
на плечи партия брала.
Гром грохотал.
Война чадила.
Дом покидали сыновья.
В солдатской обуви ходила
по свету молодость моя.
Взмывали в небо хлопья пепла,
и оседали блиндажи.
А дело ленинское крепло
и раздвигало рубежи.
Я, возмужавший незаметно,
в те годы понял навсегда,
что дело партии бессмертно,
как хлеб,
 как воздух
 и вода.
И, став под знаменем крылатым,
сказал я партии своей:
— Возьми меня к себе солдатом,
распоряжайся и владей!
Не знаю более завидной
судьбы, хоть путь наш каменист...
Лежит под кровлею гранитной
планеты первый коммунист.
И смерть утрачивает право,
смерть пережить ему дано:
мы, отменив январский траур,
рожденье празднуем одно.

Гремят оркестры, реют флаги
над всею праздничной страной.
И слышат люди в каждом шаге
дыханье партии родной.
О ней кремлевские рубины
народам мира говорят,
о ней бессчетные турбины
безостановочно шумят,
о ней — и грохот реактивный.
волны рожденной новизна,
о ней звенит на струнах ливней
большая хлебная весна.
Сошлись в едином слове тесно
и гул станков,
и шум хлебов,
и труд,
и празднество,
и песня,
борьба и первая любовь.
Исчезла старая «Расея»,
растаял шумной тройки след...

Лежит в реликвиях музея
знакомый миру партбилет.
Чернила блекнут на билете.
Звучат куранты.
Мчатся дни.
А у него на белом свете
все прибавляется родни!

С ы н

Она мечтала о своей Наталке,
о сорванце по имени Сергей.
Но ни врачи,
ни бабки,
ни гадалки
не помогали в равной мере ей.
За окнами метели тосковали.
Душевный чайник охал медным ртом.
Муж невзначай промолвил:
— Знаешь, Валя,
на площади Победы есть детдом...
Курносый сын погибшего солдата
отказывался тетю обнимать.
Чужой малыш...
Узнает он когда-то,
что мать его
совсем ему не мать.
И что мужчина в пиджаке недлинном
ему не батька.
А его родной
лежит в земле железной под Берлином,
за день до мира
отнятый войной.

Чужой ребенок! Истина жестока.
Задумается повзрослевший сын.
Двум постаревшим станет одиноко
и холодно
от собственных седин.
Чужой ребенок! Истина упряма.
Не развязать запутанных узлов.
Он, столько лет твердивший «папа», «мама»,
откажется от этих лучших слов.
Другие человеческие руки
должны купать бы мальчика в свой срок
готовить завтрак,
ночью штопать брюки
и гладить непослушный вихорок.
На циферблатах время вертит стрелки.
Его остановить нам не дано.
В час ужина принесены тарелки,
отцом на стол поставлено вино.
Вареники, что больше сыну любви,
придвинуты к виновнику в упор.
Но почему дрожат у мамы губы,
не начинает папа разговор?
Все гаснет огонек на сигарете.
Седые, смерть выдавшие не раз,
смешные, как нашкодившие дети,
отец и мать беспомощны сейчас.
С минуты на минуту грянет драма.
У женщины — слезинки первый след.
А он обнял за плечи.
— Что ты, мама?
Мне все известно ровно десять лет!

Вокзал

Мера всех дорог и расстояний,
с детства ты пленил меня, вокзал,
каменная пристань расставаний,
встреч горячих радостный причал.

Мчались дни в колесном перестуке,
поезда считали ребра шпал.
Никогда за долгие разлуки
я тебя, вокзал, не упрекал.

Мне в дорогах плакалось и пелось,
кипяток на станциях был крут.
Но не зря ведь молодость и зрелость
от перронов свой разбег берут.

Колокол вокзальный бил сурово,
призывая: место занимай!
Тут стоял в шинели рядового
будущей победы
добрый май.

Звонкий цокот буферных тарелок,
пара остывающий пушок...
Где друзья, стоявшие у стрелок,
на ветру державшие флажок?

С каждым годом мне они дороже.
Как пожать им руки, дай ответ,
за разлуки, сделавшие строже,
и за встречи, нежные, как свет?..

Всякий раз без лишних притязаний
мне, как раньше, хочется попасть
в мир твоих железных расписаний,
в скоростей пленительную власть.

Пусть летят поля, грохочет встречный,
Родина красуется жнивьем.
Только чтобы станции конечной
в расписание не было моем!

Мудрость

Есть молодость
и модное пальто,
энергия и щек налив румяный.
Ты рано научился тратить то,
что мать по доброте
дает в карманы.
Рядишься мудрецом
в кругу кутил
и судишь всех налево и направо.
Но, может, скажешь:
чем ты заплатил
за это неполученное право?
Нет ни трудов,
ни знания наук.
А деньги —
слишком мизерная плата.
За мудрость платят
горечью разлук,
большим трудом,
дорогами солдата.
О, мудрость наша —
это не старье,
а молодость, что знает цену боли,
и на лице морщины у нее,
а на руках —
рабочие мозоли.

Григорий КИРИЛЛОВ

НА ИЛЬМЕНЬ-ОЗЕРЕ

Повесть

1

В мае, когда распускаются березки и дни стоят солнечные, особенно хороши вечера. На краю Новгорода, где улицы заросли травой, мирно переговариваясь, пасутся гуси. Люди сидят у ворот на скамеечках, отдыхают после рабочего дня. Воздух чист, прохладен. Пахнет молодым листом. Ребятишки охотятся за майскими жуками. Из открытых окон нарядного домика льется и льется фортепьянная музыка.

Вот в такой прозрачный вечер к пристани речного вокзала подбежал вспотевший военный моряк в расстегнутом бушлате, в сбитой на затылок бескозырке, с чемоданом в одной руке и шинелью в другой. Пароход уже отвалил. Моряк опешил, чемодан, выпущенный из рук, тупо стукнулся о доски. Высокий седой речник повернулся на стук и сказал простодушно:

— А, морячок, где ж замешкался?

— Четыре года, поверите, дома не был, а здесь такая незадача!

— Службу нес? Тогда погоди,— решительно проговорил речник, взял рупор и крикнул в сторону парохода:

— Громов, подойди к пристани! Громов, слышишь? Подойди к пристани!

И большой белотрубый пароход, загребая колесами густо засиневшую воду, стал круто заваливаться носом к берегу.

— Вот уж спасибо вам! — шумно выдохнул моряк. — Никогда этого не забуду!

— Ладно, ладно, служивый,— отвечал речник, глядя на моряка из-под седых кустистых бровей. — В отпуск или насовсем?

— Насовсем. С Балтики.

Пароход подошел, и капитан спросил с мостика:

— В чем дело, товарищ начальник?

— Да вот, морячка заберите. Припоздал маленько.

— Мы тоже опаздываем, Степан Петрович.

— Нагоните. Человек четыре года дома не был. Нельзя.— И, повернувшись к моряку, добавил: — Ну, счастливо доехать!

Так они расстались.

Застегнув бушлат и поправив бескозырку, Илья Сомов поднялся на верхнюю палубу. Слева и справа на скамейках рядом сидели пассажиры. Оглядевшись, Илья прошел по палубе вперед и сразу увидел знакомого. Это был односельчанин Кузьма Ефимович Скрипун, постаревший, но еще

крепкий, жилистый, смуглый. Примостившись на скамейке, он устало жевал черный хлеб. Илья подошел и, ставя чемодан на край скамейки, поздоровался.

Скрипун повернул голову, всмотрелся и сказал безо всякого удивления, будто они виделись только вчера:

— А-а, Илья Тимофеевич! С приездом.

— Спасибо. Все ли у нас живы-здоровы?

— Живут,— прогудел Скрипун и снова принялся за хлеб. Ел он неторопливо, подолгу разжевывал каждый кусок. Падавшие на плащ крошки собирал в горсть и бросал в рот. Казалось, ничто его больше не интересует. Но так мог думать только тот, кто не знал Скрипуна.

Илья сел рядом и, чтобы не мешать соседу, докучать ему вопросами не стал. Откинувшись на спинку скамьи, он жадно вдохнул пахнущий пароходным дымом и водою воздух и стал смотреть на стрелы башенных кранов, поднимающиеся над новыми стройками, на пробегавшие по набережной машины, на рыболовов, стоявших на берегу с удочками в руках.

Из-за густой зелени городского сада выплывал новгородский Кремль. Закат тронул багрянцем купола и кресты церквей, и снизу, с реки, казалось, что они свободно парят в темно-сиреновом небе. Пароход плыл, разрезая задремавший Волхов, и вслед за ним гусиным косяком бежали волны, неся на переливающихся спинках своих розовые отблески заката. Воздух свежел, синь густела. Берега раздвигались, и шумы на них глохли. «Веселая горка» осталась далеко позади. Звуки музыки долетали все слабее и слабее и скоро совсем утонули в монотонном говоре колес...

Озеро встретило пароход легким ветерком и тихим шумом волн. Они поблескивали тускло, как свинец. Далеко впереди виднелись разноцветные огоньки бороздивших озеро тральщиков. А ближе к правому берегу то вспыхивал, то потухал, словно манил к себе, золотой глазок мигуна. Пароход повернул и пошел прямо на него. И когда поравнялся с ним, все увидели большой белый бакен конусообразной формы. С тихими всплесками он покачивался на волнах, и на вершине его то и дело зажигался ясный глазок.

Потом справа и слева стали появляться ладьи под парусами, и все парами. Мимо одной пары пароход прошел совсем близко, пассажиры залюбовались ею. Ветер лежал в парусах, и ладьи заметно кренились. Одна стремилась в сторону, куда шел пароход, другая в обратную. Но расстояние между ними не увеличивалось. Казалось, что они соединены длинным канатом и соревнуются, кто кого перетянет. Два ловца на одной ладье и два на другой, стоя, смотрели на пароход.

— Пльвуны-ы,— протянул Скрипун.

Илья с интересом смотрел на парусники. До его службы этого способа лова здесь не было.

— Это что же, вроде траля? — спросил он.

— Ну да. Вишь, по ветру плывут. Запустили сети и плывут. Лещ, судак, он ночью на дне стоит, дремлет. А когда сеть ему на нос наплывет, проснется, с перепугу кинется и — запутался...

Становилось свежо. Люди одевались потеплее, но с палубы не уходили. Белая ночь своим дыханием, звуками, полусумрачной красотой, этими вот парусами и разноцветными огоньками завороживала всех.

Поужинав, Скрипун обтер ладонью усы и надвинул картуз на самые брови. Потом вынул кисет, закурил.

— Дома жить думаешь? — спросил он Илью, ненасытно смотревшего на родное озеро.

— А где ж еще?

— Ты птица вольная, можешь и в городе устроиться.

В этих словах Скрипуна Илья почувствовал невысказанное осуждение. Видимо, старый рыбак гневался в душе на тех молодых людей, которые, отслужив свой срок в армии, домой, в колхозы, не возвращались,

а оседали в городах. И у Ильи зародилась одно время такая мыслишка. Может быть, именно поэтому ему вдруг стало как-то неловко, будто Скрипун уличил его в нечестности.

— Если говорить правду, Кузьма Ефимыч, так была и у меня такая думка,— откровенно признался он.— Соблазнительное это дело — пожить в большом городе. Там тебе и театры, и стадионы, и водные станции. Развлечений уйма. И магазины побогаче нашего сельпо. А вот пришло время демобилизоваться — и потянуло домой, так потянуло, что ничего-то мне не надо, только бы скорее ступить на родную землю. Как там у нас сейчас, в колхозе?

— Дела идут,— весело прогудел Скрипун, и даже лицо его посветлело. Хорошо, что в колхоз возвращается такой нужный человек, как Илья.

— Перемен много?

— Есть. Да ведь ты знаешь, сестра-то, наверно, писала. Председателем у нас теперь Семен Жилин. Дочка его рыбозаводом заведует. Зимой курсы кончила.

— Это Дуська, что ли? Так она же еще девчонка.

— Была-а. А теперь невеста. Скоро свадьбы ждем. За инспектора рыбнадзора выходит. Сын на городские хлеба ушел, теперь вот и дочка. Да и сестра твоя тоже, гляди, не нынче-завтра выскочит.

— Что-то она не писала мне об этом.

— Сам увидишь.

Илья слушал эти волновавшие его новости и то задумчиво смотрел вперед, где в светлом сумраке ночи вспыхивал глазок нового мигуна, то переводил взгляд на далекий берег. Край неба белел, и на светлом фоне его рисовались каланча, шапка деревьев, одинокий ветряк на горе. Все это было и знакомо и незнакомо, и хотелось поскорее увидеть раскинувшуюся по песчаному взгорью родную деревню, обнять мать и сестру, пройти по широкой зеленой улице. Что изменилось за эти годы? Так ли, как и раньше, цветет в палисадниках сирень, и правда ли, что многие односельчане перебрались в город и дома их заколочены?..

А пароход хлопал и хлопал колесами, плывя по озеру, как лебедь, и чуть-чуть покачивался с боку на бок.

2

У берега шумели волны. Накатываясь, они лизали желтый песок и щекотали босые крепкие ноги девушки. В белом синей горошинкой платье она стояла «по косточку» в воде и, вытираясь полотенцем, смотрела в даль озера, где на волнах сверкал и переливался свет ясного, солнечного утра и где стаей белых бабочек плыли под парусами рыбацьи соймы, возвращавшиеся домой с ночным уловом. Легкий ветерок, шевеливший на висках черные завитки волос, и ласковые набеги волн, целовавших ее ноги, вызывали в девушке радостное волнение. От свежей воды и оттого, что утиралась мохнатым полотенцем, лицо ее покраснелось.

— Проспа-али! — сказала она низким певучим голосом и повернулась в ту сторону, где шагах в десяти от нее в белой майке и в черных брюках стоял на камушках и умывался узкогрудый мужчина с птичьим лицом и редкими перышками несветлых и нетемных волос, падавших на лоб.— Ловцы уже домой бегут.

— Все равно от меня им никуда не убежать, Дусенька,— нежным голоском отвечал он.— Пускай пользуются моментом. Им тоже, Дусенька, жить надо.

— Какой вы сегодня добрый, Виктор Васильевич, даже на инспектора непохожи,— снова пропела она, растягивая слова и насмешливо улыбаясь. И этот певучий голос и эта насмешливость удивительно гармонировали с ее внешностью, как бы сливались с нею. Трудно было предста-

вить себе Дусю сердитой или услышать от нее короткую, обрывистую фразу.

Блохин соскочил с камушков, подошел к Дусе.

— Давно я не видел вас, Дусенька, дайте хоть наглядеться-то. Верите, дожидаться не мог, когда это мое повышение квалификации закончится.

Дуся повела глазами, и сочные губы ее раскрылись в улыбке, обнажив молочно-белые зубы.

— Будто уж вы так скучали по мне,— лукаво сказала она.— Небось, там, в Ленинграде...

— Там, в Ленинграде, Дусенька, я только о вас и думал. Честное слово! Неужели вы мне не верите?

Не верить Блохину у Дуси оснований не было. Он всегда был вежлив и внимателен к ней, а из Ленинграда чуть не каждый день писал письма, хоть и знал, что она относится к этим письмам, как избалованный ребенок к игрушкам. Но с некоторых пор все его признания и уверения в преданности вызывали у Дуси только веселую усмешку. И от этого Блохину становилось грустно.

— Да ла-адно, верю,— снова пропела Дуся.— Ну, пойдете, на работу надо.

Поднимаясь по зеленому взгорью, Блохин поддерживал Дусю за розовый локоть и мечтательно говорил ей:

— Я решил, Дусенька, писать научную работу о сохранении и размножении рыбы в пресных водоемах. Получу ученую степень, а там...

— Станете уче-еным, бога-атым и неученую жену побоку,— встала она.

— Ну, зачем вы так говорите, Дусенька? — обидчиво сморщился Блохин.— Разве я такой непостоянный? Да я вас на руках носить буду!

Дуся озорно блеснула глазами.

— Во мне шестьдесят пять килограммов, вам и не поднять меня,— засмеялась она и, видя, что он и на самом деле готов поднять ее на руки, крикнула: «Догоняйте!»— и помчалась к саду; только замелькали белые икры ног, да темная коса, извиваясь, заплесала на спине. Блохин упоенно смотрел ей вслед.

— Хороша! — проговорил он, сжимая в руках полотенце.— Не девушка, а весна!..

Через некоторое время, в жакетке и в голубой косынке, Дуся вышла из дома на улицу. В палисадниках на пахучих кустах сирени солнечными огоньками сверкали капельки росы. Радуюсь хорошему дню, в кустах возились и суматошно кричали воробьи. На березах, у своих скворечен, высвистывали и выщелкивали скворцы. А в окнах домов еще белели задернутые занавески, и на улице — ни души. Только два петуха взлетали кверху и отчаянно нападали друг на друга. Дуся швырнула в них камнем. Петухи отскочили друг от друга, но тут же снова сшиблись.

— От черти! — выругалась она и снова швырнула камень. На этот раз петухи разошлись, и сначала один, потом другой громко по-куриному закудахтали. Дуся подошла к окну небольшого домика, стукнула кулаком в раму.

— Нюшка, пошли!

— Иду-у! — отозвался со двора грубоватый голос, и высокая, с костистым темнобровым лицом девушка в серой вязаной кофте вышла из калитки.

— За Клавкой зайдем? — спросила она.

— Некогда. Ловцы бегут. Корзины готовить надо,— ответила Дуся, и они торопливо зашагали по улице.

А Клава Стогова уже бежала по переулку. Беленькая, пухлощекая, со смешинкой в глазах. Была она в красной шелковой кофточке, в клетчатой юбке и в цветном платочке. Увидела подруг и, подбегая, с ходу зататорила:

— Ой, девочки, знаете, кто приехал? Илья Сомов! Сама видела. Какой он интересный стал, просто загляденье!

Глаза Дуси засветились. Ей сразу вспомнился день, когда она еще долго до его службы ходила с ним и его сестрой Наташей за ягодами. Проголодавшись, они в полдень вышли к небольшой, заросшей кувшинками речке и сели закусить. День был жаркий. Оставив Илью у корзинок, девушки ушли за кусты, разделись, и вскоре до Ильи донеслись плеск и девичье повизгивание. И он не удержался: крадучись, подошел и остановился за кустом. Первой из воды вышла Дуся. Еще не развившаяся полностью, но уже стройная, она обтерла ладонями лицо, грудь, бедра, посмотрела кругом и, заметив за кустом Илью, охнула, присела на корточки и быстро накинула на себя рубашку. Илье стало стыдно за свой поступок, и он хотел уйти, как вдруг Дуся испуганно вскрикнула и побежала в сторону. И тут Илья увидел, что вслед за нею по траве катится гибкая блестящая змея. Он схватил сук, догнал зашипевшую на него змею и двумя ударами убил ее.

— Стой, Дуся, стой! — закричал он.

Дуся остановилась. Илья поднял убитую змею за хвост, и она повисла, словно большой черный ремень.

— Вот она, гадюка! Иди, не бойся.

Забыв, что она не одета, Дуся подошла к Илье, посмотрела на убитую змею.

— Ой, какая она страшная-то! И зубы, как у собаки.

В это время из-за куста вышла уже одетая Наташа, сказала:

— Дуська, бесстыжая, ты что ж в одной рубахе-то стоишь?

Дуся, спохватившись, зверьком посмотрела на Илью и побежала одеваться...

Сейчас, узнав от Клавы о приезде Ильи, Дуся спросила:

— Совсем приехал или нет?

— Говорит, что совсем.

— Уе-едет! — холодно вставила Нюшка. — Будет он теперь в деревне жить!

— А ты почему знаешь? — набросилась на нее Клава. — Может, и будет. Не все же, как ты, только о городе и мечтают.

— А ты не мечтаешь?

— Нисколько, вот ни капельки! Что там, в городе, даром калачами кормят, что ли? Тоже работать надо. А парни и тут найдутся. Вон какие приезжают, не твоему шаромыжнику чета. Поглядишь — душа радуется!.. По своей сторонке, говорит, соскучился. Хорошо, говорит, на море, а у нас лучше. Такой вежливый, представительный, настоящий мужчина!

— То-то ты сегодня наряди-илась, — усмехнулась Дуся.

— А что ж, только тебе перед твоим инспектором наряжаться?

— Да он еще не мой.

— Ну да, не твой! Небось, и спите вместе.

— Дура ты, Клавка!

— А что ж тут такого? Да если бы у меня в доме жил мой жених, так неужели я стала б думать!..

3

Рыбозавод стоял на берегу озера. Попросту это был большой деревянный дом, приспособленный для приема и переработки рыбы. Сюда одна за другой подбегали рыбацьи соймы. Рыбаки убирали паруса, брали приготовленные на берегу корзины, наполняли их рыбой и несли в рыбозавод. Внутри он был похож на большой склад. У стены рядами стояли бочки, ящики, мешки с солью, и сильно пахло сырой рыбой. Возле окна, у зеленых весов, Нюшка и Клава принимали от ловцов рыбу, сортировали ее и ставили корзины на весы. Дуся взвешивала, потом садилась тут же

за столик и выписывала квитанции. Одни входили, другие выходили. Кто ругался, кто шутил.

— И когда наше озеро от зацепов очистят?— сердито говорил приземистый бородатый ловец.— Нынче опять сажен десять сетей на дне оставил. Ей-богу!

— Ни у кого голова не болит.

— А им что? С тебя же и взыщут.

— Я тебе говорил, Захар: не бери с собой бабу рыбу ловить. Вот пока ты с ней канителелся, на зацеп и наплыл.

— Иди ты к черту!

Кругом засмеялись, а в рыбозавод с корзиной в руках вошли светленький вихрастый молодой ловец Федя Колосков и Никита Жуков, рыжий, среднего роста парень, веснушчатый и скуластый. Кепка на одном боку, огненный чуб на другом, грудь нараспашку. В деревне Никиту звали «Шумел камыш». Эту песню он заводил всякий раз, когда «шлея падала ему под хвост». А без выпивки Никита не встречал ни одного праздника. Он и трезвым был шумный, а выпьет — на голове ходит. За драку его не раз штрафовали, даже год принудиловки отбыл, но не переменялся. Он и рыбу ловил с пересмехом и никогда не унывал, хотя часто и на одну варку не привозил. Свое звено Никита называл шайкой-лейкой. Кроме него самого, в звене были Колосков Федя, шестидесятилетний дед Петухов и Богатырев Афонька, маленький, тощий и словно в насмешку над собственной фамилией хромой от роду. Никто его и не называл Богатырев, а только Хромой.

В армию Никиту не взяли. Отец его давно умер, а мать была старенькая, оставить не на кого. Девушки с ним только зубоскалили, а гулять побаивались, хотя никакого озорства с ними он себе не позволял.

— Привет, красавицы! — весело кинул Никита от порога.— Принимайте свежьи!

В корзине было килограммов пятнадцать судаков и лещей. Они еще шевелились и жадно хватали ртом воздух. Дуся посмотрела на улов и со своей обычной насмешливостью сказала:

— Это и все? Больно мало принес. Наверно, половину себе разделили.

— А как же! Само собой!— невозмутимо отвечал Никита.— И тебе и себе, чтобы никому не обидно было. Сальдо, бульдо, ажур!

— Ну и ажур!— засмеялась Клава.— Так будешь ловить — бобылем умрешь.

Она хотела сказать «холостяком», а сказала «бобылем».

— А разве плохо?— отвечал Никита.— Про бобылей даже песни поют: «Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток. Живи не тужи, умрешь — не убыток»,— продекламировал он и, обняв ее, чмокнул в щеку. Клава бросила рыбину да грязной ладонью как припечатывает ему по левой скуле, только гул пошел. Все, кто тут ни был, грохнули смехом, а Никита стоял, как оглушенный.

— Ну, что стоишь?— сказала Дуся.— Раз поймал, так ставь на весы.

Ловцы снова засмеялись.

— А что смешного?— растерянно буркнул Никита, озираясь по сторонам.

— Ничего. Сальдо, бульдо, ажур,— под общий смех ответил кто-то из ловцов.

Но растерянность вскоре прошла. Смирившись с оплеухой, Никита улыбнулся, тряхнул головой, вытер щеку, поправил кепку и объявил:

— Ладно, Клавдия Сергеевна, принимай рыбу. А что на руку ты проворная, так мне как раз такую жену и надо.

Клава так и покатила со смеху. А Никита получил квитанцию и, заломив кепку на затылок, вышел на улицу.

Свой дом Семен Жилин построил не в линию, как все строились, а чуть в стороне, чтобы, как он говорил, простору больше было. Четыре окна глядели из глубины на дорогу, два — во двор. За двором разросся сад. Если войдешь в него, то за дальними стволами деревьев увидишь серебристые полосы озера. Просторный дом, просторный двор, просторный сад. Даже пиджак и рубахи были на Семене Алексеевиче просторные. Не терпел человек тесноты ни в чем.

Перед обедом Жилин сидел во дворе на маленькой скамеечке. Был он в синей рубахе, в сапогах и, наклонив лохматую темноволосую голову, строгал новый зуб для старых лежавших тут же граблей. Тихо скрипнула калитка. Жилин выпрямился, увидел входившего во двор Илью, и крупное бородатое лицо его подобрело. Вид у Ильи был праздничный. Белоснежная форменка, черные выглаженные брюки. Бляха на ремне горела, как солнце. Лицо свежее, розовое, чисто выбритое. А светлые вьющиеся волосы зачесаны на пробор. Бросив ножик и недоструганный зуб, Жилин поднялся навстречу гостю.

— А-а, Илья Тимофеич! — басовито и добродушно заговорил он. — С приездом! С возвращением в родные края!

— Спасибо, Семен Алексеевич, — отвечал Илья, пожимая большую закрученную руку Жилина.

— Стало быть, нашего полку прибыло? Хвалю. Молодец, что родной дорожишь. Дай-ка поглядеть на тебя, каков ты стал?

Он положил руку на сильное плечо Ильи и с удовольствием оглядывал ладно скроенную и крепко сшитую фигуру моряка.

— Да все такой же, Семен Алексеич.

— Э, нет, далеко не такой! Я, брат, помню, каким ты уходил. Жидковат был против теперешнего-го. Служба тебе на пользу. Ну, пойдём в дом. Пойдем, пойдём...

Появлению Ильи Жилин искренне обрадовался. Да и какой председатель не обрадуется возвращению в колхоз здорового, честного и трудолюбивого парня? А своей честностью и трудолюбием Илья заслужил уважение стариков еще до службы. Теперь же он физически еще больше окреп, стал грамотнее, развитее. Четыре года службы на флоте — большая и серьезная школа. Будучи человеком не шибко грамотным, но смекалистым и умным, Семен Алексеевич Жилин стремился окружить себя уважаемыми в народе людьми: через них легче проводить свою линию во всех колхозных мероприятиях. И в этом была его сила как руководителя.

Но были у Жилина и свои слабости. Они ставили его иногда в смешное, а иногда и в довольно грустное положение. Он любил лезть, соблюдал личную выгоду и... допускал «баловство» с бабами. И хотя не видел в этом ничего зазорного (от удовольствия отказываются только дураки), все же вел себя сдержанно, «умно», так, чтобы все было «в аккурате». Зная за собой эти слабости, Жилин рассчитывал, что Илья, с одной стороны, станет его помощником в колхозных делах, а с другой — в нужную минуту всегда поддержит его авторитет.

В просторной комнате, обставленной на городской манер, их встретила рослая, дородная хозяйка в длинной широкой юбке и в глухой коричневой кофте.

— Отслужил? Ну, и слава богу! — высоким не по комплекции голосом сказала она, здороваясь с Ильей. — Молодец, что не забыл мать-то.

— Как же ее можно забыть?

— Милый, теперь это сколько хошь. И спасибо не скажут, что выростила. Вон мой и писем не пишет, будто у него и матери нет.

Стол был накрыт к обеду, но, по всему видно, хозяева кого-то ждали.

— Наливай, мать. Пока наливаешь, они и подойдут,— сказал Жилин и достал из буфета поллитровку.— Садись-ка к столу, матрос.

Простота и сердечность Жилина согрели Илью, вызвали в нем ощущение бодрости. Он заранее был готов отдать все свои силы на то, чтобы помочь хозяину в его большом деле.

— Спасибо, Семен Алексеич!— почтительно сказал Илья.— Мне даже неловко, что вы оказываете мне столько внимания. Ведь я еще ничем себя не зарекомендовал... зашел поговорить кой о чем... Да и отвык я от водки.

— Вот этому не поверю, нипочем не поверю! Какой же ты матрос, ежели вина не пьешь? На Руси сроду таких не бывало! И насчет рекомендации не согласен. Служил ты справно, уехал с похвалой. Спасибо. Хороший человек он везде человек. Садись, садись! Посидим, поговорим,— он глянул в окно.— Вон и наши идут. Мать, давай пошевеливайся!

Мимо бокового окна мелькнула голубая косынка. В сенях послышался топот ног. Вошла Дуся, а за нею Блохин в кителе и в белой фуражке.

— Здравствуйте!— сказала Дуся, увидев Илью, и неожиданно для себя смутилась.— С приездом!

— Спасибо,— ответил Илья, невольно задержав ее руку в своей. Он смотрел на девушку и не верил своим глазам: так она была красива и так непохожа на ту Дуську, которую он знал до службы.— Я бы вас и не узнал. Честное слово!

— Разве я так сильно состарилась?— шутливо сказала она, и, чувствуя, что на нее смотрят, тихонько высвободила руку.— По-моему, я все такая же. А вот вы изменились, поздорова-ели, похороше-ели. Видно, неплохо вам жилось.

Голос ее звучал мягко, а лучистые глаза говорили, что она рада встрече и хочет, чтобы он погостил у них побольше.

Илья не сводил с Дуси глаз. Он видел, что она и рада и почему-то смущается, и не догадывался, что девушка чувствовала на себе пристальный взгляд Блохина, и от этого ей было не по себе.

Не по себе было и Блохину. Глядя на Дусю, он причесывал свои редкие волосы и кривил губы. Конечно, он понимал, что Дуся должна быть внимательна к гостю в своем доме, должна улыбаться ему. Но все-му есть мера. Нельзя забывать, что здесь ее жених. Это просто невежливо, легкомысленно с ее стороны — не представить жениха Сомову. Да и гость хорош! Смотрит на его невесту, как кот на сало. Нет, уж это слишком... Блохин подошел и представился сам, поздравил Илью с возвращением, для приличия улыбнулся, блеснув металлическим зубом, и заговорил с ученым видом:

— Между прочим, а-а, Илья Тимофеевич, вы, вероятно, в курсе дела. Известно, что на «Черном принце», который разбился где-то под Севастополем...

— Не под Севастополем, а у Балаклавы,— поправил Илья.

— У Балаклавы? Ну, может быть, я ошибаюсь. Известно, что на нем, а-а, было много золота. Интересно, нашли это золото или нет?

Этим вопросом, заданным ни к селу ни к городу, Блохин хотел, вероятно, лишний раз блеснуть перед Дусей своими широкими интересами, а заодно поставить Илью в затруднительное положение. Илья это понял, улыбнулся и ответил с вызовом:

— Не знаю. Зубы у меня свои, золотых не требуется. Так что этот металл пока не интересует меня.

Дуся усмехнулась и вышла в другую комнату.

— Ну, а все-таки интересно,— продолжал Блохин, сделав вид, что не заметил Дусиной усмешки.

— Интересно, когда золото в кармане,— отозвался от стола Жилин.— А когда оно где-то на дне моря лежит, от него ни холодно, ни жарко. Садитесь. Дочка, ты чего ж ушла?

Дуся появилась без жакетки и без косынки, в белой кофточке, с темной косой на груди. Взглянув на Илью, она снова улыбнулась ему. Блохин задумчиво почесал переносицу.

Все разместились за столом, и Жилин, поднимая стопку, произнес:

— Ну, за твое возвращение, Илья Тимофеич! И дай бог не последнюю!

На секунду стало тихо. Первым осушил стопку Жилин, обтер усы, крикнул, взял огурец и с хрустом откусил почти половину. Потянулись к закуске и остальные. С минуту ели молча, потом Жилин повернулся к Илье и шумно, с подкупающим простодушием спросил:

— Так в чем нужда? Говори, не стесняйся. Что в кладовой есть, ни в чем не откажу.

Это предложение Жилина растрогало Илью, и он, взглянув на раздумывающуюся Дусю, признательно ответил:

— Спасибо, Семен Алексеевич. Только пока мне ничего не надо, сыт, обут и одет. Я пришел поговорить насчет работы.

— Хо-о! Нашел, об чем голову ломать! — с неподдельной веселостью ответил Жилин. — Да любую руководящую должность доверю. Становись моим заместителем, и вся недолга!

От выпитой водки по телу Ильи разлилось тепло, скулы запунцовели. Взмахнув ресницами, он с благодарностью посмотрел на Жилина и, как бы извиняясь за свой отказ, тихо и чуточку виновато ответил:

— Половить хочется, Семен Алексеич. Очень соскучился по ловле. Ладони так и чешутся.

— Простым ловцом? — удивился Блохин и поднял брови.

— Да хотя бы и простым ловцом. Что ж тут удивительного?

— Ничего, конечно, — пожал плечами инспектор, — но ведь и пословица говорит: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

— А разве ловцом плохо? — вставила Дуся.

— Я не говорю, Дусенька, что плохо, но Илья Тимофеич имеет все данные, чтобы... а-а...

— Да об чем говорить! — гроыхнул Жилин, оборвав нудную речь инспектора. — Такому ловцу мы всегда рады. Подбирай звено, и вся недолга. Ловец — это главная наша сила. Давайте-ка за ловца и выпьем!..

5

У Сомовых над сенями протекала крыша, и вот перед вечером Илья взялся починить ее. Он отдираал прогнившую щепу и на ее место, рядок за рядком, ставил новую. Кровельному ремеслу он научился в Латвии. Жизнь рано взяла Илью в оборот, и он не обижался на нее за это. Говорят, не изведая горького, не оценишь и сладкого. Вот только учиться ему выпало мало. Своей школы в деревне Бугры нет, и ребята ежедневно — в осеннюю грязь и в зимнюю стужу — ходят за пять километров в село Раздольное. В эту семилетнюю школу ходили и Илья и его сестра Наташа. Первую зиму Илья без сестры не уходил ни в школу, ни из школы. После занятий ему приходилось ждать Наташу. Она училась в четвертом классе, и уроков у нее было больше. На вторую зиму он ждал сестру только в плохую погоду. А на третью и на четвертую стал совершенно самостоятельным мужчиной.

В один февральский день разбушевалась вьюга. Наташа, беспокоясь за брата, сказала ему на переменке, чтобы он без нее не уходил.

— Что я, маленький? — ответил Илья.

— А то большой? Занесет где-нибудь. Чтоб подождал. Слышишь?

— Ладно уж, — нехотя согласился Илья.

Прошел после уроков час. На дворе посветлело. В небе показались синие разводы, и ветер вроде стал потише. Илья решил, что вьюга кон-

чилась, и, не дождавшись Наташи, пошел домой. Сначала шел бодро, хотя снегу навалило по колено и хлестал боковой ветер. Потом начал уставать. А тут снова надвинулась туча, стало темно, и снег так завихрился, что глаз нельзя открыть. Примерно на полпути, шагах в двадцати от дороги, стояла толстая, древняя сосна. Илья решил переждать вьюгу возле этой сосны. Он разрыл снег с подветренной стороны, присел в ямку, прислонился спиной к стволу, нахлобучил поглубже шапку, насунул рукава на руки и, положив их на подогнутые колени, ткнулся в них лицом. За широким стволом вьюга его почти не трогала, только засыпала снегом. Снег ложился на поднятый воротник, на плечи, на спину, на шапку. Постепенно Илья весь стал белым. А вьюга пела и пела свою песню. Илья закрыл глаза. Его клонило ко сну, в ушах зазвенели какие-то колокольчики или бубенцы. По телу стало разливаться сладкое, приятное тепло, и он заснул... Когда его нашли, он почти закоченел. Дома его долго оттирали спиртом и отогревали. Илья выжил, но заболел и провалялся до самой весны. А тут началась война и все перевернула. Почти все ловцы ушли на фронт, а кто остался дома, оказался под немцем. Правда, в Буграх немцы не стояли, а наезжали из Раздольного. Старостой они назначили Скрипуна, не спросив его согласия. Сперва в Буграх было спокойно. Даже полицейский редко навевывался. Потом немцы стали требовать от Скрипуна продуктов, а он отвечал одно: «Ничего нету. Сами голодом сидят». Немцы ходили по домам, но мало что удавалось найти: Скрипун каждый раз успевал предупредить людей, и бабы прятали продукты и кур, а также своих дочерей.

Один раз, выйдя за калитку, Илья увидел немецкого коменданта и двух солдат. А навстречу им шел Скрипун. Илья прижался к калитке и молча смотрел на чужаков в грязно-зеленых шинелях. Остановив Скрипуна на дороге, комендант резко стал требовать продуктов и хлеба.

— Нету, господин комендант. Откудова у нас хлеб? Мы рыбой жили,— отвечал Скрипун.

— Давай рыба! Ты есть старост!

— И рыбы сейчас нету. Ловить некому. Ловцы все на фронте. Дома одни бабы да ребятишки.

Гитлеровец рассвирепел.

— Ты есть русский свинья, а не старост! — крикнул он и с размаху ударил Скрипуна по щеке плетью. Скрипун покачнулся, но устоял. Немцы пошли обратно, а Скрипун остался стоять на месте, вытирая изнанкой шапки разбитую щеку. У Ильи слезы навернулись на глазах. Он подбежал к Скрипуну и, глядя на него с болью и жалостью, спросил:

— За что он вас, Кузьма Ефимыч?

— Собака, больше ничего,— глухо ответил Скрипун.— А ты, Илюха, передай матери, чтоб Наташку хорошенько прятала, могут угнать.

И, действительно, угнали. И не только Наташу, но и мать ее, и Илью, и всех, кто не успел скрыться. Почувствовав неустойку, фашисты собрали жителей деревни и угнали их в Латвию. Там Дарью Сомову вместе с ее ребятами взял к себе богатый сельский латыш. Натерпевшись страху, Дарья была рада и этому. Наташа с матерью ходили за скотиной, стирали, мыли полы, а Илья помогал жившему у этого латыша пожилому работнику Яну: и за сеном с ним ездил, и воду в баню возил, и дрова коллол. Научил Ян Илью и стекла алмазом резать, и крышу щепой крыть, и рубанком стругать. Хозяин, видя проворство и смешленость паренька, сказал Дарье, что после войны ее с дочкой он отпустит, а Илью оставит у себя и поможет ему выйти в люди. Дарья побледнела. А Илья подошел к ней, обнял и сказал:

— Не бойся, мама. Я все равно убегу отсюда.

Но убегать пришлось не Илье, а хозяину. Советские войска освободили Латвию, и Сомовы вернулись домой. Дом их уцелел. Но радость была короткой. Через неделю пришло извещение, что Тимофей Сомов

погиб на фронте. Горе сразу сделало Илью взрослым. И на вопрос матери: «Что же будем теперь делать?» — он подумал, глядя в пол, как это делал раньше отец, и ответил:

— Наташка пускай учится дальше, а я буду работать

Так Илья начал свою трудовую жизнь... Но все же до службы он закончил семь классов.

— Теперь у нас крыша заметная будет,— сказала Наташа, выйдя полюбоваться на мастерство брата.— Как пестрая корова: где белая, где черная. Скоро закончишь-то? А то ужинать пора.

— Ужинайте, я не хочу,— отвечал Илья.— Я в гостях был.

— Дусю-то видел? — поинтересовалась Наташа.

— Интересная стала. А вот жених ее не понравился мне.

— Зато в городе жить будет.

Илья внимательно посмотрел на сестру с крыши. Они еще не говорили по душам, и намерений ее он не знал. Вырвавшаяся у нее фраза чем-то перекликалась со словами Скрипуна: «Да и сестра твоя тоже, гляди, не нынче-завтра выскочит».

— Ты так говоришь, будто завидуешь ей,— с ноткой разочарования сказал Илья.

Наташа опустила глаза, помедлила, о чем-то думая, потом уклончиво ответила:

— Ей многие завидуют. А мне просто жаль с ней расставаться. Самая верная моя подружка. Ей все можно доверить.

Громыхнула калитка, и во двор вошел Никита Жуков с веточкой сирени в руке.

— Привет Балтийскому флоту! — крикнул он, передвинув кепку с уха на ухо.

— Здорово, браток! — по-флотски отвечал Илья.

— Не успел приехать и сразу за работу?

— Ничего не поделаешь. Надо.

Никита поздоровался с Наташей, отдал ей сиреневую веточку и снова обратился к Илье:

— К тебе можно залезть, не провалимся?

— Ничего, залезай.

Он поднялся по лесенке на крышу, пожал руку Илье, вынул коробку «Казбека».

— Закуривай.

— О-о, да ты, вижу, богато живешь!

— А что нам, рыбакам, мало чести, или деньги не водятся? Ловец всегда сыт, и пьян, и нос в табаке... Я слышал, ты от высоких должностей отказался?

— Точно. Половить хочу.

— Правильно. В начальство у нас больше шкурники лезут. И знаешь что, давай ко мне, в мою шайку-лейку. У меня в аккурат хорошего ловца не хватает. Чуть ветер или молния блеснет, дед Петухов уже не ловец. Я с Афонькой Хромым на одной сойме, а он с Федей Колосковым на другой. Получается: старый да малый. Правда, Федя — парнишка ничего, и силенка есть. С другим ловцом и он бы держался смелее. А тут дед как начнет креститься да вздыхать, Федя и дрейфит. Списать деда надо. Да он и сам на берег просится, к плотникам — соймы мастерить. Давай, а? Будет у нас почти молодежное звено. Командовать будешь ты.

— Почему я? А ты?

— Ты поавторитетнее. И бригадир и председатель тебя скорее уважат, чем меня. Я им уже надоел. Особенно Жилину.

— А что такое?

Никита сплюнул.

— Да видишь... дернул меня черт за язык! Недаром говорят: язык мой — враг мой. Ты вдову Фроську Лыкову знаешь? Ну вот. Баба она видная, мягкая. В колхозе не работает, живет коровой да огородом. Молоко, огурцы, помидоры в город возит. Оттуда хлеб мешками. А в колхозе для близиру рубахи мужикам шьет. Иду я как-то мимо дома председателя, а Варвара и спрашивает меня: «Никита, ты мужика моего не видел?» «Наверно, — говорю, — в правлении». «Да нет, — говорит, — я ходила, в правлении его нет». «Тогда, — говорю, — тетка Варвара, ищи его у Фроськи Лыковой. Говорят, он к ней примерять рубахи ходит». Посмеялся я и забыл. А она пошла. Подходит к Фроськиной избе, заглянула в окно: и правда, Жилин там. Выдернула она из тына кол да как грохнет по раме — все стекла высыпала. На другой день Жилин специально человека посылал: Фроське стекла вставлять. А потом, видно, дознался, что это я надоумил Варвару. За чем ни приду, отказ и отказ. Спасибо, Кузьма Ефимыч выручает, а то мне совсем труба.

Илья слушал и смеялся от души.

— Вот, наверно, звону было! — сказал он.

— Да уж я этому звону и сам не рад. Ей-ей! Снасть, правда, у меня новая, а вот паруса еле тянут, выветрились до основания. Менять надо, а Жилин и слушать не хочет. Ну, а тебе он не откажет. Поставим новые да так рванем рыбку, что ахнут!

— А если высмолить паруса? — сказал Илья.

— Высмолить? — Никита вскинул голову и несколько секунд смотрел на Илью немигающими глазами. Потом обрадованно воскликнул: — А что, идея! Плотнее станут, крепче. Новых не надо. Министерская голова у тебя, Илья. Ей-ей!

6

Наташа была рада возвращению Ильи. Рада не только потому, что любила брата, но и потому, что теперь в дом пришел хозяин, и она сможет вздохнуть посвободнее. Когда Наташа закончила педагогический техникум, ее назначили в Раздольное, в ту самую школу, в которой она училась сама.

Работа в младших классах ее не удовлетворяла, и она готовилась в заочный педагогический институт. Об этих своих планах она и рассказала брату, когда они в потемках сидели в палисаднике под окном и тихо разговаривали. От высоких кустов сирени шел густой запах, в просветах между листьями горели зеленые и золотые огоньки далеких звезд.

Выслушав Наташу, Илья одобрил ее:

— Правильно, сестра. Как говорил наш боцман: стоять на месте — значит отставать. А я-то подозревал: не бежишь ли ты от деревенской жизни?

Наташа помолчала, потом задумчиво ответила:

— Я не барыня. Но, откровенно говоря, и мне хочется посветлее пожить. Летом у нас хорошо. Но вот настанет осень... Темень, грязь. Идешь из школы домой, ног не вытянуть. Ни клуба у нас, ни электричества. Картину, спасибо, раз в две недели привезут, а то и ни разу. Будто в другом государстве живем. Только и развлечения у людей, что водка...

Она замолчала, и Илья долго вертел в руках тоненький пруттик. В горьких словах Наташи была истинная правда, и он просто не знал, что ей ответить. Вспомнился ему инспектор, его тягучее «а-а», его показная ученость и старая, трухлявая философия: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. «Этот, конечно, заботится только о

себе,— думал Илья.— Жизнью интересуется только с одной стороны: как бы найти местечко потеплее». Потом Илье припомнились рассуждения Жилина о золоте: «Интересно, когда оно в кармане. А когда оно где-то на дне моря лежит, от него ни холодно, ни жарко». Эти рассуждения роднили Жилина с Блохиным. Философия получалась одна и та же. И все же Илья не хотел думать о Жилине плохо. Просто не успел еще человек развернуться. Жилин всегда был прижимист, но работяга и хозяин. Еще покажет себя как председатель. Посветлеет и у них в колхозе.

— Ты замуж не собираешься?

— За кого? — удивилась Наташа.

— Не знаю. Скрипун мне на пароходе сказал, что ты собираешься в этом году выскочить.

Наташа улыбнулась.

— Да не-ет. Приезжал тут из города один знакомый учитель, вот и пошли разговоры.

— А может, у тебя поэтому и настроение такое?

— Какое? — Наташа круто повернулась к брату.— Перебраться в город? Это я могла бы сделать сразу после техникума. Нет, Илья, от наших родных мест я никуда не уеду. А если жалею тебе, так это оттого, что очень уж хочется, чтобы и у нас жизнь стала посветлее.

Илья обнял сестру за плечи и заговорил горячо:

— Мы сделаем это, Наташа, обязательно сделаем! Я об этом еще там, на флоте, думал. Ловцы у нас — народ хороший. Их только воодушевить надо, тогда с озера не сгонишь. А разбогатеем, моторный флот заведем. Поднимем улов, миллионерами станем, и жизнь пойдет по-другому. Можно свою школу построить, чтобы ребятишки не ходили за пять километров, и клуб, и электрическую станцию.

— Председатель у нас не такой, Илюша.

— Жилин? Ну, нет. Он хозяин.

— Хозяин для себя.

— Это ты, сестра, напрасно. Я в него верю. Главное, Наташа, чтобы у людей была твердая вера в себя самих, в свое дело. А учиться мы с тобой вместе будем, я тоже поступлю на заочный в рыбный институт. И примут. Я же тебе писал, что грызу науку. Я, брат, теперь знаю не только, почему Пифагоровы штаны на все стороны равны, а и что за штука эти синусы и косинусы.

7

В устье небольшой речки зашевелились соймы, стоявшие там весь день. Из деревни по песчаному берегу шли ловцы, снимали с вешал сухие сети, укладывали в соймы и поднимали паруса. Легкий ветерок надувал их, и соймы одна за другой, медленно выплывали на озеро. На взгорье, в окнах домов, плавилось закатное солнце. А над серебристой рябью воды, вдоль берега, неслышно пролетали чайки — серенькие, с белыми воротничками. Выходили в озеро и соймы Ильи и Никиты под смолеными парусами. А с берега, где вертелись босоногие ребятишки и молча стоял Скрипун, Дуся и Клава махали руками и кричали:

— Счастли-иво!..

— Ни пуха ни пера-а!..

На одной из сойм заиграла гармонь, и рыбаки запели протяжную песню:

Славное море, священный Байкал...

Дуся и Клава подхватили песню, и голоса их слились с дальними голосами рыбаков. Долго вслед за парусами неслась эта песня, близкая каждому русскому человеку. А когда голоса певцов растаяли на воде, Скрипун махнул рукой и, уходя с берега, прогудел:

— Не к добру распелись...

Уехали ловцы на озеро, и в деревне стало тихо. Синие сумерки затопили улицу и переулки. Ветер сонно перебирал листву на березах и на тополях, и было слышно, как, хлопая крыльями, умащивались на ночь у своих гнезд грачи. Иногда доносился пугливый скрип калитки или где-нибудь во дворе глухо звякало ведро. Огней в эту пору в домах не зажигали, и в окнах стояла холодная смолистая темень.

У переулки подружки прощались.

— Тихо-то как,— проговорила Клава, посмотрев в обе стороны улицы.— Хорошо бы сейчас на катер да к ловцам.

— Фантазерка ты, Клавка,— усмехнулась Дуся.

— А что, давай покатаемся. Скажи инспектору, для тебя он на все готов.

— Не выдумывай. Пойдем спать.

Подойдя к дому, Дуся увидела сидевшего на скамейке Блохина. Она хотела пройти мимо, но он окликнул ее. Дуся подошла.

— Еще не спите? — спросила она, чтобы что-нибудь сказать.

— Жду вас, Дусенька. Посидите со мной.— Блохин отодвинулся на край скамейки. По его натянутому голосу и постному выражению лица Дуся поняла, что он чем-то недоволен. И она догадывалась, чем именно. Стараясь уклониться от разговора, она ответила:

— Да поздно уже, Виктор Васильевич. Отец заругается.

— Отец еще в правлении. Садитесь, Дусенька, нам поговорить надо. Не хотите, тогда пройдемтесь немножко.

Блохин встал, и Дуся пошла рядом с ним, время от времени поглядывая на него смеющимися глазами. Лучше всего отшутиться. Да и надутость Блохина сместила ее.

— Вы стали какая-то странная, Дусенька,— заговорил он.— Меня это начинает беспокоить.

— Почему странная? Все такая же.

— Вы не смейтесь, Дусенька. Я говорю серьезно.

— Что ж мне, плакать?

Блохин помолчал. Насмешливые ответы Дуси сбивали его с толку, он терялся.

— Я видел, вы на берегу были, кому-то рукой махали,— проговорил он с трудом.

— Поэтому вы и сурьезный такой? Махала. А разве мне и рукой помахать нельзя? Уж больно вы строгий, Виктор Васильевич, за мной, как за женой, следите.

— Мне, Дусенька, не нравится этот Сомов, и я не желаю, чтобы вы ему улыбались, — решительно заявил он.

Слова Блохина возмутили Дусю. Она вся напряглась. Нужно повернуться и уйти. Но Дуся сдержалась, повернула к дому и сказала резко:

— Пойдемте.

И Блохин послушно пошел за нею...

8

Закончив дела в правлении колхоза, Жилин и завхоз Маслов уже в сумерки вышли на берег посмотреть на ловцов. Полнотелый и круглоголовый Яков Наумыч доводился Жилину шурином и в доме председателя был своим человеком. Выпив за его столом рюмку — другую, он любил повторять: «Люди должны жить по-родственному». И Семен Алексеевич не обижал родственничка и много сделал для того, чтобы небольшая партийная организация колхоза избрала Маслова секретарем.

На высоком травянистом бугре они остановились. Внизу, у кромки

берега, тихо хлупала вода. Какая-то женщина, зайдя в воду по колено, подобрав подол, не снимая с плеча коромысла, черпала ведрами воду. Возле рыбозавода, собравшись кучкой, что-то жгли мальчишки. Маслов крикнул им и погрозил кулаком, но они продолжали заниматься своим делом — не слышали его слабого, почти бабьего голоса. Даль озера подернулась темно-серой рябью. Паруса, разбившись парами, тускло белели на воде, и только одна пара была угольно-черной.

— Как думаешь, выправит Илья звено? — спросил Маслов, глядя на черные паруса.

— Выправит. Илья не Никита. Парень с головой. Вот и паруса высмолил. Другому б не додуматься.

— Паруса-то он, пожалуй, зря высмолил.

— Почему зря?

— Парус, он дышать должен. А смоленный — все равно что жесть. При легком ветре, конечно, ничего, а захватит шторм, никакая снасть не устоит.

Жилин вяло махнул рукой.

— Пустое говоришь, шурин! Снасть у них новая, выдержит еще два таких паруса.

У рыбозавода костер разгорелся еще пуше, пламя поднялось в рост человека.

— Спалят, проклятые! — выругался Маслов и рысью побежал к рыбозаводу.

— Оттрепли их хорошенько за уши! — крикнул ему вслед Жилин.

А женщина с тяжелыми ведрами на коромысле уже поднималась по тропинке. Это была Фрося Лыкова, большегрудая, сероглазая. Белый платок держался у нее на макушке, открыв густые темно-русые волосы, разделенные пробором на два гребнистых вала. После смерти мужа к ней сватался овдовевший рыбак из соседней деревни. У того рыбака было двое детей, и Фрося отказала ему. «Я пожить хочу, — говорила она соседке. — Этот хомут мне давно надоел. Одна-то я вольный казак». И жила в свое удовольствие. Знала, с кем дружить, кого угостить. Захаживал к ней и Жилин. Поэтому ей не было отказа, если лошадь нужна, чтобы огород вспахать или дров привезти. Да и работой в колхозе не докучали. Сошьет рубаху, и ладно. А что хлебом корову кормит, так кому какое дело? Не ворованный, за свои кровные купленный. Конечно, если разобраться, так... Да ведь кто разбираться будет!

Поравнявшись с Жилиным, Фрося остановилась и, придерживая рукою коромысло, улыбчиво поздоровалась:

— Здравствуйте, Семен Алексеевич! Что это вы тут стоите?

— На тебя поглядеть пришли, — пошутил Жилин.

— Нашли место, — так же шутливо ответила она и, оглянувшись, добавила: — Что же ко мне-то зайти боитесь? Я и чайком вас попоила бы, и...

А Жилин будто и не слышал намека.

— Эка невидаль, чай! — сказал он. — Кабы у тебя белая головка была.

— Найдется и белая головка. Милости прошу, — пропела Фрося.

— Ладно. Иди ставь самовар. Смеркнется, придем.

— А теперь чего ж? Боишься, опять Варвара нагрянет? — засмеялась Фрося, переложив коромысло на другое плечо и уже серьезнее спросила: — Дочку-то раздумал за инспектора выдавать? Сомова в зятя берешь?

— Как раздумал? Почему?

— Да вижу, она с Ильей гуляет.

Фрося собралась идти, но Жилин остановил ее.

— Постой. Куда торопишься?

— Да стоять-то тут на виду неловко, — тихо ответила она. — Может, зайдешь на минутку? Или ждешь кого?

Жилин крикнул и посмотрел в сторону Маслова. Но Маслов все еще шел к рыбозаводу и не оглядывался.

Жилин махнул рукой и коротко буркнул:

— Ну, ладно. Пойдем...

9

На рассвете поднялся ветер такой силы, что зашатались ограды. В ватном пиджаке, в кепке и в сапогах, Жилин вышел на берег и остановился у старенькой закопченной бани. Ветер рвал на ней плохонькую крышу, кидал в лицо песок и брызги воды. Озеро с ревом бросалось на берег, а вдаль оно дымилось и кипело. Прикрываясь рукой от летевшего песка, Жилин смотрел на приплюснутые паруса, толпой бежавшие к берегу, и в душе сердился, что ловцы, испугавшись бури, бросили ловлю.

Подошел Скрипун. Он был в плаще, картуз нахлобучил на самые глаза.

— Не спишь, Алексеич?

Жилин помедлил с ответом. Не нравилось ему, что Скрипун держал себя слишком самостоятельно и ни в какие корыстные дела с Жилиным не вступал. Но больше всего ему не нравилось, что этот хмурый и неразговорчивый человек пользовался у ловцов авторитетом и уважением. Это беспокоило Семена Алексеевича. Кто знает, если так дальше пойдет, то при перевыборах ему, может, не удержаться на своем посту. Скрипун был самым опытным и знающим бригадиром. Жилин не раз подумывал заменить его более покладистым человеком, да все опасался, как бы не повредить делу и, стало быть, самому себе.

— Какой тут сон,— глухо и недовольно ответил он и, не поворачивая головы, спросил: — Флотчихе ты разрешил доски взять?

— Я.

— Это в честь чего же раздобрился-то?

— Нельзя. Надо помочь. Пол у нее худой, а починить нечем.

— Язык длинный. Вот и пускай...

— Да ведь она старый человек.

— Старый, так умнее должна быть.

Они помолчали, думая каждый о своем.

— Прямо в устье бегут,— сказал Скрипун, глядя на паруса.— Придется коня запрягать да на коне возить, что поймали...

Когда вошло солнце, бушующее озеро заиграло огненными отблесками и белыми гребешками волн. А черные паруса среди них, как грачные крылья. Илья и Никита все еще не сдавались. В устье речки табуном стояли вернувшиеся соймы. Одни ловцы грузили на подводу корзины с рыбой, другие развешивали сети. А некоторые стояли кучкой, курили, отворачиваясь от ветра, и, поглядывая на маячившие вдаль паруса, говорили:

— Ну, возьмет Илья рыбы!

— Это еще как сказать. Паруса-то смоленые.

— У него снасть новая, ему бояться нечего...

А в это время на дом к Жилину пришла Дарья Сомова. Жилин пил чай и гостеприимно пригласил:

— Садись за компанию.

— Спасибо, Семен Алексеич,— робко отвечала она, мигая глазами.— Какой тут чай! Илья-то все еще на озере. Хоть бы ты приказал ему, чтобы бросал ловить. Этаким ветер. Долго ль до греха?

— Как же я ему прикажу? Вот придет, тогда поговорим.

— Поругай ты его. Ведь молодой еще. К чему эта лихость? Разве мало опрокидывало? Бог с ней и с рыбой!..

Вбежал соседский мальчик и крикнул:
— Дяденька Семен, Илью опрокинуло!

Жилин вскочил из-за стола. А Дарья побледнела и схватилась руками за грудь...

Через некоторое время инспекторский катер, зарываясь в волнах, уже мчался к месту аварии. В плащах с поднятыми воротниками стояли на нем, придерживаясь за рубку, Скрипун и Блохин и тревожно смотрели вперед, на воду, где барахтались Илья и Федя. Сойма плавала на боку, то поднимаясь, то опускаясь. Парус полоскался в воде. А по волнам плыла пойманная за ночь рыба, и над нею кружились чайки. Федя держался за мачту, Илья — за перекладину возле кормы. На второй сойме Никита кричал на Хромого и изо всех сил выбирал сети, чтобы поскорей идти на помощь товарищам. Но сети цеплялись за что-то на дне, выходили с трудом и разодранными кусками.

— Давай попробуем отцепить. Может, отцепим, а то ловить будет нечем, — сокрушался Хромой, едва удерживаясь на ногах: сойму подбрасывало кверху, и волна так ударила в борт, что трещали шпангоуты.

— Черт с ним! — ответил Никита и наклонил голову, принимая на себя летевшие, как шрапнель, брызги. — Выбирай быстрее: люди в воде!..

Крутые кипящие волны непрерывно обрушивались на головы Ильи и Феде, и временами казалось, что не видать им больше света белого. Но их головы упрямо выныривали снова и снова.

— Держись, Федя! — кричал Илья.

— Держусь, Илья! — отвечал Федя.

Когда катер подошел, соймы уже плыли домой. Передняя тащила на буксире заднюю. Вторая сойма была полна воды, через нее свободно перекачивались волны. Тащить ее было трудно, и, несмотря на сильный ветер, соймы плыли медленно. Хромой сидел на носу, возле мачты, и ел хлеб. Федя кутался в ватную куртку, стараясь согреться. Синие губы его сводила судорога, зубы выстукивали дробь. Илья стоял у руля. А Никита приводил в порядок снасти.

Взяв в руки конец лопнувшей веревки, он посмотрел на разрыв и, круто повернувшись к Илье, крикнул:

— Вот оно, дело-то в чем! Смотри!..

В том месте, где веревка лопнула, был хорошо виден надрез. Илья посмотрел и сказал, раздумывая:

— Да-а. Выходит, проморгали мы с тобой, браток. Ты получал — не проверил, а я на тебя понадеялся.

Никита рывком вскинул голову.

— Думаешь, я надрезанную со склада получил? Ерунда! Не могло этого быть. Почему же она раньше не лопнула? Вот провалиться мне на этом месте, Илья, а тут кто-то решил нам ножку подставить. Только так!

— Для чего?

— А черт его знает, для чего! Может, мы кому поперек дороги стали. Не знаю, Илья, но со склада такую получить я не мог. Ведь там, на фабрике, где ее выпускают, контроль есть. Ну, вот!

Подошел катер, пристроился к сойме, и Скрипун окликнул:

— Все живы?

— Живы, Кузьма Ефимыч, — ответил Илья

— А сети как?

— Сети попортили.

— Ну, во-от, — недовольно прогудел Скрипун. — От такой ловли одни убытки, больше ничего.

— А рыба, товарищ Сомов, у вас была? — спросил Блохин.

— Была, да вся уплыла.

— Куда уплыла?

— В Америку.

— Вы не острите, а отвечайте толком!

— А вы не знаете, куда уплыла?

— Почему же вы не подобрали? Что это за фокусы?

Илья метнул на Блохина яростный взгляд, собираясь выругаться в сердцах, но присутствие Кузьмы Ефимовича остановило его. Он только плотнее сжал зубы да крепче вцепился руками в румпель. Рыбу, которую унесло, давно расклевали чайки, это Блохин знал, но ему хотелось показать свою власть.

Илья сказал сквозь зубы:

— Знаешь что, инспектор? Не суй ты нос не в свое дело.

— Как это не в свое дело? — визгливо крикнул Блохин. — Я вас привлеку к ответственности! Я вас...

— Да как же они подберут рыбу? — перебил Скрипун. — Вы же видели, что они в воде купались. Тут не до рыбы.

И Блохин замолчал.

10

К вечеру ветер стих, и ловцы снова ушли на промысел. В устье речки остались только две соймы. Инспекторского катера тоже не было: ушел в город. Илья, Никита и Хромой сидели на берегу, на траве, и сшивали обрывки сетей. Федя заболел. Работали молча. Дела были неважные, и говорить не хотелось. Особенно хмурился Хромой. Худой и болезненный, он и в удачные-то дни не дарил улыбкой. Жил он с такой же, как сам, заскорузлой теткой (родители умерли), не женился, хотя ему было уже около тридцати лет. Никто не помнил его веселым. Казалось, что он таким и родился.

— Вот люди ловят, а мы опять сидим на берегу, дырки латаем, — тягуче заговорил он, не поднимая опущенной головы. — На той неделе два дня загорали, и теперь не меньше сидеть. Да еще неизвестно, даст нам председатель два новых конца или нет. Может, за свои покупать придется...

— Ты что все ноешь? — отозвался Илья. — Нудный ты парень. Ну, чего скулишь? Чего ходишь вокруг да около? Не хочешь, так и скажи: не хочу, мол, ребята, с вами ловить. Мы силой никого держать не станем. Верно, братва?

— Да пускай хоть сейчас катится колбасой, — отрезал Никита.

— И уйду.

— Вот и давно бы так, — проговорил Илья, стараясь сохранить хладнокровие. — Можешь идти. Без тебя воздух будет чище.

Хромой поднялся.

— Жаль, что вас соймой не прикрыло, — злобно сказал он.

Никита, как подброшенный, вскочил на ноги, схватил Хромого за сморщенный на груди пиджачишко.

— Ах ты, гад!

У Хромого и губы побелели. Но Илья остановил Никиту:

— Брось, друг, руки марать! Потом долго отмывать придется.

Никита послушно сел на траву. Хромой, удаляясь, крикнул:

— Тебе, рыжий, Клавка Стогова один раз уже засветила, так и я могу!

— Я тебе засвечу! — заорал Никита, готовый вскочить, потом сплюнул и сказал возбужденно, оборачиваясь к Илье: — Ты знаешь, что я подумал? А не он ли, паскуда, сделал этот надрез на веревке?

— Ну, брат! Что же, у него не все дома?

— А черт его знает. Они с инспектором — два сапога пара!

Друзья некоторое время работали молча. Дело оборачивалось худо. Теперь надо было не только два новых конца сети просить у председателя, но и двух ловцов. Вдвоем на озеро не выйдешь. А тут еще Федя серьезно заболел. Верно, что беда в одиночку не ходит.

— Ничего,— сказал Никита.— Кузьма Ефимыч на место Хромого кого-нибудь из плотников даст. А Федя поправится.

— Температура у него высокая, браток, вот что меня пугает,— проговорил Илья.— Сегодня зашел к ним, а его мать на меня и не смотрит.

— А ты при чем? — рассудительно отозвался Никита.— Зацепы проклятые виноваты. Не зацепись мы, может, и веревка не лопнула бы.

Илья вздохнул.

— Зацепы зацепами, а вина все-таки моя, браток. И на душе у меня, веришь ли, кошки скребут. Вот что, браток. У меня малость деньжонок есть. Ты завтра отнеси Фединой матери, только не говори, что мои, скажи, Федин остаток, а то не возьмет. Понял?

— И у меня немного есть,— с готовностью отозвался Никита.— На праздник отложил. И надо бы ему кисленького достать. Ягод каких, что ли...

На закате пришел Жилин, мрачный. И не удивительно. Ждал, что Илья будет его надежной опорой, собирался через некоторое время поставить его бригадиром вместо Скрипуна. А что получается? Илья был не тот, каким его знал Жилин до службы. Не молчал, если видел в колхозе непорядок. А критику Жилин переносил болезненно, умников не терпел. Сомов раздражал его все больше и больше. К тому же из-за Ильи стала расстраиваться уже решенная свадьба Дуси и инспектора. А тут Хромой подлил дегтю. Явился в правление и начал кричать, что его не только выгнали из звена, а и чуть не убили. «С этими бандитами я больше ловить не буду!» Жилин с Хромым разговаривать не стал, а взял кепку и пошел к «бандитам».

Остановившись перед Ильей и Никитой, он сказал хмуро:

— Шьете?

Илья расправил рваный конец сети, продел в ячейю иглу, завязал узел и, не поднимая головы, ответил:

— Приходится. Пора насчет зацепов подумать, Семен Алексеевич. Непорядок это.

— Непорядок?— сразу взорвался Жилин.— Так он у тебя, непорядок-то! Тебе думать-то надо, а не мне. Ты в звене старший, с тебя и спрашивать будем. Критику-то на себя сперва наведи, а потом на других.

— А что на себя?

— А то, что лихости больно много, вот что! Ты ловец и должен это понимать. Сети на дороге не валяются, и списывать я больше ничего не буду. Умеете рвать, умеете и отвечать. Вот и вся недолга! А что у вас за драка была?

— Какая драка?

— Хромого почему прогнали?

— Никто его не гнал, сам ушел. И хорошо сделал. Нам он ни к чему.

— Это как понимать? Ты что это ловцами швыряешься? Чего не поделил?

— Ему надо бы морду набить,— вставил Никита.

И Жилин загремел во весь голос:

— Во, во! Только мордобития вам и не хватало! А план свой вы делаете выполнять или нет? Кóлосков из-за вас заболел, Хромого прогнали. С кем ловить поедете?..

Он распался все больше. Глаза его округлились, шея набухла и побагровела. Но Илья встречным вопросом остановил его, как умелый ездок движением руки останавливает разгоряченного коня:

— А разве мало у нас людей, которые только числятся в колхозе?

— Кто же это? — насторожился Жилин.

— Да хотя бы свояк ваш. Здоровый мужик, а чем он занят? К пароху утром выедет, и все. А то и жена за него выезжает, а он на своем огороде работает либо мережки ставит. Или Кустовых взять. Один в го-

род подался, другой к лавке пристроился, а числятся в колхозе и всем пользуются.

— В лавке тоже торговать кому-то надо,— уже мягче сказал Жилин, чувствуя, что в этом деле почва под ним не очень тверда.

— Я не об этом говорю, Семен Алексееч. Торговать может и тот, кому ловля не под силу. К примеру, Фрося Лыкова не могла бы ловить? Молодая, семьей не связана. А силенки у нее побольше, чем у Хромого.

— Какой с нее ловец! Она воды боится.

— На городской рынок молоко возить не боится, а ловить боится? Непорядок это, Семен Алексееч!

Поняв, что дальше отступать опасно, Жилин снова ошетинился.

— А это не твое дело, Илья! Понял? — возвысил он голос, и шея его снова побагровела. — Я здесь хозяин и лучше знаю, где непорядок! И указывать мне нечего! Ты позаботься лучше о том, чтобы поменьше на берегу сидеть да побольше рыбы ловить. Вот в чем твоя задача! А не в свое дело носа не суй! И полно самовольничать! Ловцы на дороге не валяются. Хромой будет ловить, как ловил. Вот и вся недолга! И чтобы никаких фокусов больше не было! Понял?

Илью так и подмывало оборвать Жилина, сказать, что он здесь не хозяйчик, не владетельный князь, а председатель колхоза, и не народ для него существует, а он для народа. Что каждый член колхоза не только имеет право, но и обязан указать председателю, если видит в колхозе непорядок. Но какой-то внутренний голос остерегал Илью, и он, подавив себя и набычив голову, сквозь зубы процедил:

— Понятно.

— Ну, вот и все. И весь разговор! — отрубил Жилин, повернулся и пошел, как осенняя туча.

11

Шелестели набегавшие на берег волны. За взгорьем тлела потухающая заря. Землю и воду окутывал сумрак.

По берегу, шурша песком, медленно шли Илья и Дуся. Он в бушлате, в кепке, она в светлом платье, в жакете и с косынкой на голове. Они держались за руки и, чувствуя приятное волнение, говорили о своем стремлении учиться, о будущей своей жизни, о книгах и кинокартинах или вспоминали прошлое.

— Помнишь, как здесь, на берегу, мы жгли костры на Купалу и прыгали через огонь? — сказал Илья.

— Помню,— улынулась Дуся.— Я тогда озорной девчонкой была, сожгла платье, и дома мне попало. А помнишь, как ты в заморозки здесь рыбу глушил?..

И в памяти у Ильи сразу встал тот далекий день. Края озера замерзли. На песчаных отмелях лед — как стекло. Сквозь него видно волнистое желтое дно, ракушки и черная спина какой-то рыбины. Она неторопливо двигалась по дну, разыскивая пищу. А Илья в шапке, в полушубке и в сапогах шел по льду, вдоль берега. На плече у него большой деревянный молот. Вот он увидел рыбину, подбежал и со всего размаху ударил молотом по льду. Белые трещины так и брызнули со звоном во все стороны. А оглушенная рыбина всплыла и серебристым боком прижалась к стеклу льда. Илья снял варежку, засучил рукав и через пробитое окошко достал рыбину из-под льда. В это время и подбежала к нему шустрая черноглазая девчонка в стареньком пальтишке, в валенках и в темном платке. Это была Дуся, или, как ее звали тогда, Дуська.

Лед треснул, и она испуганно остановилась шагах в трех от Ильи.

— Поймал? Покажи-ка, большую?

— С тебя ростом,— ответил Илья и положил язя в самодельную полетняную сумку, висевшую у него на боку.— Чего прибежала?

— Хочу поглядеть, как ты рыбу глушишь.

— Ступай домой, а то отец покажет тебе рыбу.

— Отца дома нет.

— Ну, мать.

— А матери я не боюсь. И тебя не боюсь. Буду глядеть, и все. Что ты мне сделаешь?

Илья усмехнулся.

— А вот возьму да под лед запихну.

— Так я тебе и дала-ась! — засмеялась Дуся и на всякий случай отодвинулась подальше.— Буду глядеть, и все!

— Да гляди. Мне что, жалко? Только близко не подходи, а то обломимся.

И они пошли в одном направлении, шагах в пяти друг от друга. Шли молча и внимательно оглядывали разрисованное, как пряник, песчаное дно, на котором виднелись то камни, то черные или перламутровые ракушки, а рыбы не было и не было. Потом дно затемнилось. Под ногами Дуси снова появились трещины. Она испугалась, отбежала к берегу и тут увидела кинувшуюся в сторону плотвицу.

— Ой, Илья, скорее, скорее, рыба! — закричала она и замахала руками.

Илья подбежал к Дусе, увидел плотвицу и ахнул молотом по льду. Лед затрещал, и они провалились. Очутившись в ледяной воде чуть не по грудь, Дуся приглушенно вскрикнула и ухватила руками за Илью.

— Да не бойся, не утонешь,— сердито сказал он.— Говорил, иди домой!

Бросив молот на лед, Илья стал помогать Дусе выбираться из воды. Он приподнимал ее, клал на кромку льда, но лед обламывался, и Дуся снова оказывалась в воде. Так доломались они почти до берега и наконец выбрались. Лица у них посинели, поджилки тряслись.

— Беги живо домой, а то замерзнешь! — приказал Илья.

— Отца бою-юсь... Попадет мне,— дрожа, ответила Дуся.

— Ты же говорила, отца дома нет?

— До-ома... Это я так...

— Ну, погоди.

Илья сбегал за молотом и, вернувшись, сказал:

— Пойдем.

— Куда?

— Флотчиха утром баню топила. Там, наверно, еще тепло. Только быстрее.

Баня находилась неподалеку, и возле нее никого, кроме козла, не было видно. Илья и Дуся нырнули в предбанник и закрыли за собою дверь.

— Ну, теперь будем живы,— сказал Илья и открыл вторую дверь. Баня дохнула на них теплом и паром, в ней еще держался густой запах березовых веников. В маленькое, у самой земли, окошко скупно струился свет, освещая только ближние половицы да скамейку. Стены и потолок тонули в полумраке, а в углах гнездилась темнота. Малость приглядевшись, Илья шагнул к печке, потрогал каменку рукой и, ощутив горячие камни, воскликнул:

— У-у, да здесь еще париться можно! Раздевайся, раздевайся, сейчас развесим нашу одежду, и в два счета сухая будет.

Дуся сняла пальтишко, платок, валенки и в нерешительности осталась, глядя на раздевавшегося Илью.

— И платье снимать?

— Конечно. Снимай и лезь на полоч.

Оставшись в одной сорочке, Дуся забралась на полку, забила в угол и, как пойманный зверек, поглядывала оттуда на полуголого Илью.

— Лезь и ты сюда, тут хорошо,— сказала она, чувствуя, как у нее начинает разогреваться тело и отходит душа.

— Ладно. Сиди так.

Илья деловито перетряхивал развешанную на шестке одежду, и Дуся видела, как шевелятся у него на широкой, еще с летним загаром спине большие лопатки. Ей было тепло и приятно, и она смотрела на Илью с благодарностью. «Хорошо, он догадался про баню. Сейчас обсушимся, оденемся, и никто ничего не узнает». И действительно, все шло хорошо. Уже и рубашка на ней начала просыхать. Но тут кто-то стукнул в дверь. Дуся забила в угол, как мышь, и сжалась в комок. А Илья прирос к стене и, глядя на Дусю, приложил палец к губам: «молчи». Дверь затряслась сильнее, и Дуся не выдержала, соскочила с полка.

— Давай скорее одеваться!

Хватая теплую, но еще не просохшую одежду, они оделись, обулись и осторожно вышли в предбанник. Илья заглянул в щель и шумно выругался:

— От скотина!

— Кто?

Открылась дверь, и Дуся увидела козла. Он стоял и жевал выдернутую из двери веревочную ручку.

— Ой! — облегченно вздохнула она. — Я думала, человек какой! Ну, пойдем отсюда, а то еще и правда кто придет.

Они вышли из бани. Илья достал из сумки язя и протянул его Дусе:

— На, неси домой. Это тебе за твою храбрость...

Все это вспомнилось с такой живостью, будто произошло только вчера.

— По-омню,— усмехнулся он, поглядывая на Дусю. — Теперь ты, пожалуй, в баню бы не пошла.

— Мне и самой не верится, что это было,— ответила она и, повернувшись к нему, спросила: — Илья, вы что, с моим отцом поругались?

Илья вздохнул.

— С твоим отцом, Дуся, мне, видно, не ужиться.

— А ты будь помягче, вот и уживетесь.

— На инспектора равняться, что ли?

Дуся отняла свою руку от руки Ильи.

— А что инспектор? — сухо сказано сказала она. — Он человек культурный, образованный, вежливый.

Илья нахмурился.

— Да, конечно... Куда нам... Он когда приедет?

— А я почему знаю!

Илья недоверчиво покосился на девушку.

— Не юли, Дуся,— сказал он грубовато,— я все знаю.

— Что ты знаешь? Что я собиралась за него замуж? Собиралась.

А теперь раздумала.

— Собиралась или была? — ревниво спросил Илья.

— Как тебе не стыдно! — с горькой обидой в голосе воскликнула она, и на ее глаза навернулись слезы. — Ты что, по себе судишь? Уходи и больше ко мне никогда не подходи!.. Матрос несчастный!..

Она повернулась, но Илья схватил ее за руку.

— Подожди.

— Пусти! — рванулась Дуся, но выдернуть руку не сумела. Некоторое время они стояли, ненавистно глядя друг на друга.

— Да, я матрос... А ты... Иди к своему образованному инспектору!..
Задохнувшись от волнения, он выпустил ее руку.

— И пойду! — зло ответила Дуся. Ее, как ветром, понесло от него.
А Илья остался стоять на месте, глядя ей вслед.

12

После совещания в «Рыбаксоюзе», куда Блохин специально приехал на своем катере, он решил зайти в редакцию областной газеты повидаться со своим приятелем, Михаилом Шишовым, работавшим там в одном из отделов.

Блохин и Шишов были ровесники. До войны они учились в одной школе. В сороковом году, в начале зимы, когда Волхов едва покрылся льдом, Шишов и Блохин отправились покататься на коньках. Сильный ветер гнал по синим прогалинам белый снежок. Блохин и Шишов спустились на лед, расстегнули полы своих пальтишек, ветер надул их, как паруса, и приятели полетели, словно птицы. Ветер вынес мальчиков на середину реки, и тут случилась беда. Шишов угодил в присыпанную снежком полынью. Катившийся сзади и чуть в стороне Блохин увидел, как его товарищ, взмахнув руками, исчез подо льдом. «Утонул», — в ужасе подумал Блохин, но тут Шишов вынырнул и отчаянно закричал: «Спаси-ите!» Этот крик вывел Блохина из столбняка. Кинувшись к Шишову на помощь, он крикнул:

— Сейчас, Мишка, держись, сейчас!

Размотав свой шарф, Блохин подполз к полынье и кинул один конец Шишову. Тот ухватился, но вылезти не смог, а стащил Блохина в полынью. Только подоспевшие с берега люди с жердями и веревками вытащили их из воды.

После этого купания все тело Блохина покрылось нарывами, он не мог ни сесть, ни лечь. Ползимы он мучился, и, казалось, нарывы совсем доконают парня. Но отец привез профессора, сделали переливание крови, и дело пошло на поправку.

Весной, когда открылась навигация, отец Виктора, капитан пассажирского парохода, стал брать сына с собой в рейс. «Пускай привыкает, — говорил он жене. — Все равно не учится». Виктору понравилось на пароходе. Он делал, что хотел. Ходил с матросами на берег, пил пиво, матросы во всем потакали ему. Баловали его и женщины, служившие на пароходе. Была там Лариса Петровна, разводка, молодая игривая бабенка с полным лицом и маленьким носом. Она и билеты продавала, и буфетом заведовала, и капитана обслуживала. Вот эта женщина и взяла под свое крылышко молодого Блохина.

Как-то вечером Лариса зазвала его к себе в каюту и, потчuya чаем, конфетами и пряниками, заговорила:

— Будешь мне помогать. Ладно? И будешь ко мне приходить во всякое время. Денег-то тебе отец, наверно, еще не дает? Ну и бог с ним. Со мной ты кучу их заработаешь. Я научу тебя, как пиво наливать, как товар вешать, чтобы прибыль была. В жизни это пригодится. Только ты смотри, никому ничего не говори.

— Не-ет. Я никому не скажу, — с готовностью отвечал он, польщенный ее доверием.

— Ну, вот и хорошо. Да ты и сам понимаешь, не маленький. Пятнадцать лет. Скоро жениться можно.

Виктор смущался, а Лариса трепала его по плечу и, улыбаясь бесстыжей улыбкой, спрашивала:

— Хочешь жениться-то? Какой ты еще несмелый! Ты будь посмелее, смелых девушки любят. Иди-ка, я тебе что-то интересное покажу...

А когда уходил от нее, она набивала ему карманы конфетами и повторяла:

— Смотри, никому ничего не говори..

С этого он и начал знакомство с жизнью и был вполне доволен. Потом пришла война. Блохин вместе с родителями эвакуировался в Новосибирск. Отец поступил на пароход, стал плавать по Оби. А Виктор пошел в школу, опять в седьмой класс. Учился плохо. «Уроки» Ларисы не пропали даром. После занятий он отправлялся на рынок и торговал тетрадами или хлебными карточками. А место Ларисы заступила Соня. Потом умерла мать. Отец женился на другой и остался в Сибири. А Виктор Блохин, не поладив с мачехой, вернулся в родной город и начал самостоятельную жизнь. Был и продавцом пива, и агентом по снабжению, и заведующим столовой. Но долго нигде не удерживался. Некоторое время ходил без работы, наконец встретил своего старого друга Шишова, и тот помог ему устроиться в «Рыбаксоюз». Блохин не забывал отдаривать друга, частенько снабжал его свежей рыбой.

Широконосый и щеголеватый Шишов, в светло-синем пиджаке и серых в трубочку брюках, и на этот раз встретил Блохина с радостью:

— Вот кстати! Здорово, Виктор! А я тебя давно жду.

— Случилось что-нибудь?

— Да, понимаешь, в обкоме ругают: плохо мы освещаем жизнь и труд рыбаков. Я уже собирался писать тебе, чтобы ты организовал статью или прислал материал. А то опять будут драить.

— Меня тоже только что с песочком продраили,— сообщил Блохин.

— Где?

— В «Рыбаксоюзе».

— За что?

— За то, что не ругаюсь с председателем колхоза и мало штрафую ловцов за нарушение инструкций лова. У нас, брат, так: если инспектор ругается и штрафует, значит, хорошо работает, а если нет,— значит, плохо.

— Оно, брат, и у нас так. Надо побольше шуметь...

Вошел сотрудник, поздоровался с Блохиным, взял бумаги со своего стола, сказал Шишову, чтобы позвал, если будут звонить, и снова ушел.

— Что же ты не приедешь? — продолжал Блохин.— Отдохнул бы, да и написал бы что-нибудь. Дом у председателя большой, сад хороший и озеро рядом.

— Приеду, обязательно приеду.

— Ты обедал? Пойдем в ресторан, там и поговорим...

13

Блохин сидел с Жилиным в саду за небольшим самодельным столиком. Они уже пропустили «по маленькой». Блохин рассказывал о своей поездке и совещании в «Рыбаксоюзе». На столе зеленый лук, хлеб, бутылка с водкой, в ней плавала провалившаяся пробка. Жилин, облокотившись о стол, макал луковицей в соль и медленно, с глухим хрустом жевал. Слушал он задумчиво и, если соглашался, молча кивал головой, а если нет, то грубо обрывал. С Блохиным он привык разговаривать так же, как с дочкой, не стесняясь в выражениях.

Взгляды на жизнь у них были сходные, а положение Блохина, как будущего зятя, обязывало его к послушанию.

На совещании критиковали не только работу инспекторов, но и деятельность некоторых председателей колхозов. Рассказывая об этом, Блохин сообщил осторожно:

— Падали камушки и в ваш огород, Семен Алексеич.

— Кто ж их кидал?

— Глазов.

Жилин набылчился, ноздри его раздулись. Старший инспектор Глазов появился в «Рыбаксоюзе» недавно и большой активности не проявил. Бывая в колхозах, он все больше приглядывался да прислушивался, и на побережье сложилось мнение, что этот человек воды не замутит. И вот на тебе!

— Пускай. Собака лает, ветер носит, — отмахнулся Жилин и, налив еще по стопке, спросил: — Тебя-то не песочили?

— Песочили, Семен Алексеич. Говорят, плохо слежу, либеральничаю с теми ловцами, которые пользуются незаконными сетями.

— Ну, это дело маленькое, — пренебрежительно ответил Жилин и поднял стопку. — Бери. Нам, главное, план выполнить. Вот если план не выполним, так тут и мне и тебе не устоять. Понял? Ну вот. Будь здоров!

Он опрокинул стопку и проглотил водку одним глотком. Выпил и Блохин. Они долго сидели молча, жевали хлеб с луком и думали каждый свое. Выступление Глазова заставило Жилина задуматься. А мысли Блохина были заняты Сомовым. Этот парень встал ему поперек дороги. И Блохин придумал ход, который обещал ему полное торжество над Сомовым.

Вначале Илья, как и другие ловцы, ловил положенными шестидесятками и каждый раз убеждался, что средние, двухгодовалые судаки и щуки почти не попадают. Этот способ лова здесь был в новинку, и у Ильи зародилось сомнение в правильности инструкций.

— А что, если попробовать полусотками? — сказал он однажды Никите.

— Давай, — согласился тот. — Только чтобы на инструктора не нарваться, а то он штраф нам припаяет. Это будь здоров!

Они раздобыли две полусотки и пустили их в дело. И первая же ночь показала, что сортовой рыбы в эти полусотки попадает много больше, чем в шестидесятки. Больше попадало и недомерка — подлещика, но процент его по отношению к сортовой рыбе почти не изменился. Надо сразу сказать, что этот подлещик и в шестидесятки попадал неровно: то два процента, а то и все пятнадцать. Опыт еще крепче убедил Илью, что инструкция, запрещавшая ловить полусотками, нуждается в пересмотре. Он решил поговорить об этом с инспектором, как председателем «Рыбаксоюза», и надеялся, что инспектор заинтересуется этим вопросом. Блохин действительно заинтересовался, но по-своему. Обнаружив в сойме Ильи полусотки, он тут же составил акт на штраф и предупредил: если еще раз обнаружит, то передаст дело в суд.

— А я вам говорю, что инструкция неправильная, — упрямо доказывал Илья, — поезжайте с нами на озеро, и вы сами в этом убедитесь.

— Я знаю не хуже вас, что правильно и что неправильно, — отвечал Блохин. — Инструкция — это закон. Ее составляли люди немного поумнее вас. И повторяю: еще раз увижу полусотку, отдам под суд.

Илья написал в «Рыбаксоюз». Но и оттуда ответили, что учёные лучше знают условия промысла и нарушать инструкцию никто не имеет права. А тем временем с легкой руки Ильи ловцы стали обзаводиться полусотками, и так, день за днем, создалось положение, за которое и ругали Блохина в «Рыбаксоюзе». Блохин решил теперь использовать это положение, чтобы нанести удар Сомову.

— А насчет очистки озера не говорил? — спросил Жилин у Блохина.

— Говорил. Обещают в будущем году прислать специальный отряд.

— И то ладно. Потерпим. Еще что скажешь?

Блохин помялся, обдумывая, говорить или не говорить. Украдкой взглянув на Жилина, он с видимой неохотой сообщил:

— Был я в редакции газеты. У меня там приятель работает. Да лучше б и не заходил.

— Что такое?

— Понимаете, Семен Алексеич, есть же такие неблагодарные люди! Сколько у вас забот и хлопот, сколько труда вы кладете, чтобы у рыбака и сети были, и сойма, и радио в доме говорило. И этот же рыбак вместо благодарности копает вам яму.

— Ты про кого это? — настороженно спросил Жилин, хмурясь.— Говори яснее, не колеси.

— Сейчас скажу. Понимаете, кто-то написал на вас письмо.

— На меня? — Жилин резко выпрямился.

— Да. Письмо анонимное, без подписи. Но писал кто-то из ваших ловцов.

Говоря это, Блохин старался показать свою озабоченность, чтобы Жилин понял, что и его тревожит это письмо, а в душе порадовался, видя, как взметнулся Жилин.

— Ты сам читал? — спросил Жилин.

— Да нет. Разве дадут! Приятель мой читал.

— Что ж там написано?

Жилин и про недопитую водку забыл.

— Написано, что вы всех своих родственников к теплым местечкам пристроили. Что в завхозах у вас шурин, кладовой заведует двоюродный брат, а рыбозаводом — дочка.

— Ну и что ж? — сердито отозвался Жилин.— Делать, видно, ему нечего, писаке этому. Еще что?

— Еще написано, что мы ловцам полную волю дали: ловят незаконными сетями, а мы от них берем за это взятки и сбываем рыбу на черном рынке.

— Скажи, пожалуйста! — весело воскликнул Жилин и как-то подозрительно посмотрел на Блохина.— Кто ж это набрехал, а?

Блохин на секунду растерялся. Похоже, Жилин угадал его затею, и сейчас дело повернется против него самого. Но опасения Блохина были напрасны. Не получив ответа, Жилин облокотился о стол и приказал:

— Однако вот что. Надо тебе, пока не поздно, приструнить ловцов. Понял? Чтобы ни один человек не пользовался запрещенной сетью. Забирай — и вся недолга. Раз есть такое письмо — стало быть, не сегодня-завтра жди ревизора. Понял?

— Безусловно, — согласился Блохин и, не упуская удобного случая, добавил: — Я просил приятеля, чтобы он сам приехал на проверку. Сказал, что постарается это устроить.

— Вот бы хорошо! — Жилин был тронут предусмотрительной заботой инспектора и снова наполнил стопки.— Сам знаешь, придраться можно и к пустому месту. А когда свой человек придет, на душе спокойнее. Какой же это умник написал, а? Вот узнать бы! Тут насчет родственников Сомов замахивался. Не он ли?

— Вполне возможно, — подхватил Блохин.— Парень вредный, с дальним прицелом. Не зря в ловцы пошел. Я его сразу раскусил, только промолчал тогда. Настроение вам портить не хотелось. Я видел, как он ухмыльнулся, когда вы ему заместителем предлагали. У него свой план: подобрать под вас ключи да и сесть на ваше место. Вот он и действует. Я уверен, что и ловцов против вас он же настраивает. А самое главное — Дусю успел перетянуть на свою сторону...

Жилин потерял терпение.

— Ну, с ней-то разговор короткий! — решительно пробасил он и поднял стопку.— Бери!

Пароход, как всегда, подошел к раскинувшимся по песчаному взгорью Буграм ранним утром. Белый и высокий, с красными колесами и голубой опояской на трубе, он бросил якорь метров за двести от берега, потому что мель не позволяла подойти ближе. Озеро спокойно играло молодень-

кой волной, тихо плескалось у борта, на котором стояли пассажиры с измятыми сном лицами. Поеживаясь от утренней прохлады, они протирали глаза и смотрели на бугристый берег, на зеленые острова тополей и берез, на горбатые крыши домов, над которыми курчавились белые дымки. А из устья реки, направляясь к пароходу, уже выплывала маленькая черная лодочка. Она двигалась медленно, переваливаясь с волны на волну, и мокрые лопасти весел, сверкая на солнце, как стекло, то и дело мелькали над водою. В лодке, кроме гребца, сидело человек пять уезжающих, и стоявшие на берегу женщины махали им кто платком, кто рукой.

Неподалеку от женщин стоял и Скрипун в своем сером плаще и в нахлобученном картузе. Почти каждое утро он выходил посмотреть, кто уезжает и кто приехал. Смотрел и молчал. О чем думал он в эти минуты? Кто знает! Может быть, о том, что вот опять люди в город поехали, а работать в колхозе некому. А может быть, ждал, что придет кто-нибудь из начальства и поглубже вникнет в колхозные дела. Мало ли о чем может думать бригадир, душа которого неспокойна оттого, что не все делается так, как надо!

Но в это утро Кузьму Ефимовича не покидала мысль о Феде Колоскове. Накануне вечером он зашел проведать больного. Федя лежал в кровати, до подбородка укрывшись одеялом, а мать готовила ужин. Глаза у Анисьи были печальные и заплаканные. Какой матери не дорог сын, да к тому же единственный? Много пришлось перенести Анисье горя, пока Федя вырос и заменил в доме погибшего на войне отца. Тревога ее за судьбу сына усиливалась еще и потому, что Федя в детстве болел и корью, и скарлатиной, и дифтеритом. Потом, после гриппа, болели уши и горло, было тяжелое осложнение на легкие. Болезни не давали ему окрепнуть, и мать всегда глядела на сына с болью в сердце. «Господи,— роптала она,— только на ноги встал, только в люди вышел, только глаза мои высохли от слез — и солнышко опять скрылось за тучи! Люди добрые, за что мне такой крест!..» Погруженная в свои думы, она не слышала, как вошел Скрипун, и продолжала чистить картошку.

— Здравствуй, Анисья!

Мать очнулась, торопливо вытерла глаза, повернулась к порогу.

— Здравствуй, Кузьма Ефимыч!

— Как больной-то?

— Да вот лежит. Жар не спадает. Доктор определил воспаление легких. В больницу хотели взять, да я не отпустила. Один ведь у меня,— всхлипнула она и поднесла завеску к глазам.

— Ну, не пужайся,— как можно мягче заговорил Скрипун.— Поправится. За рыбой приходи каждое утро. Я скажу, чтоб тебе давали, какая получше.

— Спасибо, Кузьма Ефимыч,— отвечала Анисья, глядя на Скрипуна благодарными и мокрыми от слез глазами.— Боюсь я за него. Слабый он и не ест ничего. Илья с Никитой и рыбки свежей ему принесут и ягод где-то достали, ничего не ест.

— Жар, вот и не ест,— утешал Скрипун.— Ничего, перегорит, сам попросит. Не бойся, поправится,— снова повторил он и вынул из кармана банку и небольшой узелок.— Меду я принес и сушеной малины. Давай-ка ему. Пользительно. Корова-то у тебя доится?

— Перестала.

— Так что ж ты молчишь? Ладно, сейчас накажу Марфе, чтоб молока и масла принесла. Врач-то когда обещал быть?

— Завтра к обеду.

— Ладно,— сказал Скрипун и, повернувшись к Феде, добавил: — А ты, Федор, держись, брат, не поддавайся болезни.

— Я и так держусь,— ослабевшим голосом ответил Федя и закашлялся...

Этот нехороший, тяжелый кашель и сейчас стоял в ушах Кузмы Ефимовича.

Посадка закончилась. Пароход захлопал колесами, повернулся кормой к берегу и пошел, дымя белой трубой. Лодочник высадил на берегу трех женщин с узлами и туго набитыми сумками и молодого человека с портфелем в руках. Он был в синем плаще и в соломенной шляпе. Выйдя из лодки на песок, молодой человек осмотрелся, подошел к Скрипуну, поздоровался, спросил:

— Не скажете, как мне найти председателя колхоза?

— Можно,— прогудел Скрипун.— Пойдемте, укажу.

Они пошли по берегу. Оглядывая приезжего, Скрипун силился догадаться, что это за человек и зачем приехал. Но сколько ни ломал голову, определить не мог. Спросил:

— Не из Ленинграда?

— Нет. Из Новгорода.

— Не за рыбой?

Приезжий окинул Скрипуна веселым взглядом, усмехнулся.

— Опять не угадали, папаша. Я из газеты. Приехал познакомиться с вашим председателем и с ловцами.

— А-а! Жалоба, наверно, какая-нибудь?

— Почему жалоба?

— А к нам только по жалобам и ездят, больше ничего.

Они помолчали, слушая, как шуршит песок под ногами. Шишов с интересом поглядывал на хмурого, неразговорчивого спутника и не знал, как его расшевелить.

— Говорят, у вас тут кого-то опрокинуло? — спросил он, хотя хорошо знал, что опрокинуло Сомова.

— Было,— прогудел Скрипун.— Теперь вот болеет один, и сурьезно. Вы там поближе к властям. Врача бы сюда настоящего прислать.

— Да? Ладно. Что могу, сделаю. А кто виноват, что их опрокинуло?

— Снасть не выдержала. Конечно, тут и Илья недоглядел. На веревке надрез был, а он не проверил.

— Это Сомов, что ли?

— Ну, он.

— Вы его хорошо знаете?

— Кого? Илью-то? Сосед. Недавно со службы воротился. Ловец смелый. Рыбы ловит больше всех. С озера не согнать. И смекалкой бог не обидел. С инспектором только не надо б ему связываться.

— А что такое?

Скрипун достал из кармана кисет, но Шишов любезно раскрыл свой портсигар.

— Берите папиросу.

Закурили и пошли дальше.

— Да тут, видите, какое дело,— со своей обычной неторопливостью начал Скрипун.— Инспектор с председателевой дочкой снюхался. И вроде как уговор у них был летом свадьбу играть. Уж он, как приедет, так у председателя и живет. И Жилин, понятно, рад в городе зятя иметь, да еще инспектора. Это ему на руку. Да вот тут пошло все наперекосок. Начала эта Дуся с Ильей гулять. И вроде за инспектора выходить теперь не хочет. Оно-то, конечно, понятно. Инспектор против Ильи полчеловека, а может, и того меньше, хоть и образованный. Да ведь самому-то ему этого не понять. А девка видная, и дом, и сад, и тесть — председатель. Чего ж лучше? И он, понятно, своего добивается. Либо, говорит, моя, либо ничья. Да-а. Отец-то обещает смирить дочку, да трудно сказать. Девка она с характером. Чего тут будет, не знаю, а только завязала эта Дуся такой узелок, что по добру, видать, не развяжется...

Они повернули к большому старому тополю, поднялись на взгорье и переулком вышли на широкую зеленую площадь. Посреди ее лежал чих-

лый, заброшенный пруд, и в нем мокли доски. За прудом, на присыпанной опилками траве, стояли высокие козлы, на них лежало приготовленное к распиловке бревно. А немного левее, на стапелях, красовалась новая рыбацкая сойма, горбоносая и пузатая. Возле нее дымился костер. Петухов-дед с двумя помощниками смолил ладью. Они по очереди подходили к котлу со смолой, макали своими мазилками, подбегали к сойме и покрывали ее светлые бока черной, с золотистым отливом варью. Над площадью стоял густой запах смолы.

— Вы и лодки сами делаете? — спросил корреспондент.

— Мастерим. Худо ль, хорошо, а ловить можно. «Рыбаксоюз», он только план спрашивает, больше ничего...

Шишов пошел к дому Жилина. Теперь, после разговора с бригадиром, ему захотелось повидать не только председателя, но и его дочь. «История, кажется, осложнилась,— раздумывал он, шагая по травянистой улице.— Неужели Блохин впутал сюда личные отношения? Да нет, я его давно знаю, не такой человек».

Жилин встретил корреспондента с распростертыми объятиями.

— В самый раз приехали!— говорил он, угощая гостя свежей жареной рыбой с зеленым луком.— Погодка стоит благодатная, можно и на озеро съездить. Катер у инспектора хороший. Поглядите, как рыбу ловят, может, еще и напишите чего. Полезное с приятным соедините.

— Хорошо бы,— с искренним увлечением отвечал Шишов, поглядывая на Дусю. «Странная девушка. Даже головы не повернет в его сторону. А красивая. Только, видно, диковата».— И, знаете, не на катере, а лучше с кем-нибудь из ловцов. Например, с Ильей Сомовым. Говорят, он у вас ловец смелый.

Жилин свел брови.

— Смелый-то смелый, да от его смелости одни убытки.

— Кому?

— Колхозу. Кому ж? Сетей не наготовиться. Рвет на зацепах по чем зря.

— Он не виноват,— вмешалась Дуся, кинув на отца недовольный взгляд.

— Как это не виноват? — Жилин угрюмо взглянул на дочь.— Он ловец и должен знать, где можно ловить, где нельзя, где есть зацепы, где нет.

— А где их нет? Они по всему озеру,— не унималась Дуся.— Еще с войны тут лежат, и никто не подумает, чтобы убрать их.

«Нет, кажется, она не так уж и дика,— подумал Шишов, вслушиваясь в разговор отца с дочерью.— Режет отцу правду-матку».

— Убрать не так просто,— оправдывался Жилин.— Водолазов надо и кран. Руками эти баржи да самолеты не поднимешь.

— Водолазы в городе есть. Можно бы и сюда прислать,— наступала Дуся.— Просто ни у кого голова не болит. А рыбаки сотни сетей на этих зацепах оставили.

Оправдываться Жилину было нечем.

— Ну, ладно, помолчи, заступница!— раздраженно заговорил он, глядя на Дусю гневными глазами. Корреспондент должен видеть в нем человека хозяйственного, знающего и бережливого, душой болеющего за колхозное дело. И она должна понимать это. Да, видно, не хочет понимать.

— А ведь она права, Семен Алексеич,— осторожно проговорил Шишов, стараясь смягчить размолвку.— Вероятно, ловцы недобрым словом поминают и председателя и руководителей «Рыбаксоюза».

— Ругань у них, что божье слово,— хмуро, но уже без раздражения ответил Жилин.— Кого ж им ругать, как не руководителей? А сколько нам от них неприятностей!

— Каких неприятностей?

— Каких! То одного, то другого надзор накрывает. Недозволенными сетями ловят.

— Почему?

— Рыбы больше попадает. С одной стороны, это вроде и хорошо, а с другой — вред. Молодника много губится.

— Почему же вы не запретите?

— С меня план требуют, — выставил в оправдание Жилин. — Да разве за каждым углядишь? А ловцы есть такие: ему что ни говори, он все свое. Вот хоть бы тот же Сомов. Этот не нынче-завтра под суд пойдет. Штраф уже схватил.

— За что?

— За это самое, за молодник.

— Неправда, — снова вступилась Дуся. — За сети. А прилов у него был меньше нормы.

— Ну, ты помолчи, — оборвал ее отец. — Знаем мы, почему меньше. К тебе на завод он привезет пять килограммов незаконника, а на сторону сплавиг двадцать пять. Эта механика нам известна.

— Неправда.

Жилин гневно сверкнул глазами.

— А тебе я еще раз говорю: помолчи! И вообще выкинь из головы этого умника.

Дуся вспыхнула, встала из-за стола, накинула косынку и скрылась за дверью...

15

Чем дальше в лес, тем больше дров. Так получалось и у Шишова. Встреча со Скрипуном разбудила в нем интерес к Дусе. А встреча с Дусей и ее отцом заставила глубоко задуматься над всем обиходом колхоза и над запутанными отношениями между людьми. Больше всех его заинтересовал Сомов. И теперь ему не терпелось увидеть этого возмутителя спокойствия. Оставив портфель в доме Жилина, как залог того, что еще вернется, он пошел посмотреть, как люди живут.

А в это время во дворе у Сомовых, среди зеленевших грядок лука, стояли Наташа и Дуся и весело разговаривали о своих девичьих делах. Наташа была в халате. В руке она держала сорванные сочные перья. Иногда в открытое окно на них поглядывала мать Наташи: ей нужен был лук, а Наташа все не несла. Поговорив о всяких пустяках, Дуся сказала:

— Знаешь, зачем я к тебе пришла?

— Догадываюсь, — улыбнулась Наташа. — Илье передать что-нибудь?

— Нет. Чего ему передавать! Другое. У тебя занятия в школе кончились. Нюшка уехала в город, к своему торгашу, вызов получила. А рыбу и принимать надо, и сортировать, и в ящики со льдом укладывать. Ты не поможешь нам с Клавой?

— Ладно, помогу, — согласилась Наташа, и Дуся ушла.

И когда Наташа уже собиралась на рыбозавод, явился корреспондент. Назвав себя, он сказал, что хотел бы встретиться и поговорить с Ильей. Старушка сначала растерялась и очищенную картошку положила не в миску с водой, а в кастрюльку с молоком. Но скоро успокоилась.

— На озере он еще, — ответила она, вытирая руки передником. — А вы отдохните у нас пока, попейте чайку. Наташа на завод идет. Когда Илья вернется, она скажет ему.

— Ах, он на заводе будет?

— А как же. Рыбу-то надо сдавать.

— Тогда вместе пойдемте, Наташа, — сказал Шишов, повернувшись к ней. — Не возражаете?

Наташа смерила гостя строгим взглядом:

— Пожалуйста. Только для вас я не Наташа, а Наталья Тимофеевна.
— Простите,— смутился Шишов, получив неожиданный отпор.— Просто я не знал вашего отчества.

На улице им повстречался мальчик с рогаткой в руке. Завидя учительницу, он спрятал рогатку в карман и робко сказал:

— Здравствуйте, Наталья Тимофеевна!

— Здравствуй, Володя. Ты что, воробьев стреляешь?

— Не-ет,— вконец застыдилась мальчик.— Я на рыбозаводе был, папку смотрел, да он еще не приехал. А вашего Илью и Никиту инспектор забрал.

— Правда?

— Ага. Забрал и повел акты составлять.

Все внутри у Наташи закипело. Она хорошо понимала, чего добивается Блохин, и не могла скрыть своего возмущения.

— Уж этот мне инспектор!— с ненавистью сказала она и, рванувшись, пошла так стремительно, что Шишов еле поспевал за нею.

— Не волнуйтесь, ваш Илья не маленький, в обиду себя не даст,— проговорил он на ходу.

— Чего он добивается?! — все так же возмущенно сказала Наташа.— Вы понимаете, третий раз арестовывает у брата сети и рыбу!

Шишов пожал плечами.

— Вероятно, потому, что ваш брат пользуется незаконными сетями.

— Ну и что же? Молодника он ловит меньше, чем положено по инструкции. А полусотками все пользуются, не один Илья. И раньше пользовались, и другие инспектора не придирались.

— Значит, плохие были инспектора.

— А этот, по-вашему, хороший?

— Я не знаю, хороший он или нет, но если ловцы нарушают закон, инспектор обязан принимать меры. А как же? На то он и инспектор.

— Ничего вы не знаете! — сердито ответила Наташа и больше до самого завода не проронила ни слова.

16

В небольшой конторке рыбозавода у окна сидели за столом Скрипун и Блохин. Инспектор писал акт. Он был в галстук, в белой фуражке и в синем плаще с блестящими пуговицами. На маленьком остроносом лице его было написано торжество. А у стены на скамье расположились Илья и Никита. Оба в рыбацких сапогах, в расстегнутых пиджаках. У Ильи под пиджаком была тельняшка, у Никиты — красная в полоску рубаха. Увидев в открытую дверь сестру, Илья вскочил со скамьи, подбежал к порогу, крикнул:

— Наташа, сходи возьми из соймы варку и неси домой. Я скоро приду.

— Подождите, Сомов, сядьте на место,— сухо сказал инспектор, кивком головы здороваясь с вошедшим корреспондентом.

— Да ты пиши. А это не твое дело, законник!— ядовито, но сдержанно ответил Илья.

Корреспондент присел к столу. Инспектор закончил писать, встал.

— Ну, слушайте: «Мною, инспектором рыбнадзора второго участка Блохиным В. В., в присутствии бригадира колхоза товарища Скрипуна К. Е. и ловцов Сомова Ильи и Жукова Никиты составлен настоящий акт в том, что звено товарища Сомова в ночь на двадцать восьмое июня сего года ловило рыбу незаконными сетями и утром было задержано инспекторским надзором на месте преступления». Так? — спросил он, взглянув на Илью.

— Ну, так,— ответил Илья.— Только преступления тут никакого нет.

— Там разберутся. А сейчас проставим улов, подпишите, и все.— Он сел и обратился к Скрипуну: — Позовите Евдокию Семеновну.

Дуся вошла с квитанцией в руке, обеспокоенная и настороженная. Блеснув сухими глазами, она оглядела сидевших за столом, потом с нескрываемой симпатией посмотрела на ловцов. Вслед за нею появились Клава и Наташа.

— А вас, девушки, я не приглашал,— остановил их инспектор.

— Ну и что ж! — бойко отозвалась Клава.— Мы без приглашения. Интересно больно. А разве нельзя?

— Нельзя.

— Идите сюда, девушки,— позвал Илья,— садитесь рядом.

— Ну вот, видите, Илюша нам разрешает. А вы говорите: нельзя,— озорно блеснув глазами, сказала Клава, и девушки сели рядом с ловцами.

— Евдокия Семеновна, назовите сегодняшний улов Сомова,— обратился Блохин к Дусе.

— Сто шестьдесят килограммов.

— Так,— инспектор записал.— Теперь процент незаконника.

— Пять процентов.

— Как? А норма?

— Норма восемь.

— Здорово получается! Ловили частыми сетями, а незаконника пять процентов. Как же так?

— Не знаю. Сдали они восемь килограммов.

— Значит, сбывли куда-нибудь на сторону,— заключил инспектор.— Так и запишем.

— А ты видел? — взорвался Никита, вскочив со скамейки, но Илья удержал его:

— Не горячись, браток. Пускай пишет. Мы с ним за эту подлюю писанину еще посчитаемся.

— Как это посчитаемся? — ухватился Блохин за угрозу Сомова.

— А так. Ты пиши, да знай что. Тебе говорили, сколько попадает молодника в полусотки? А не веришь, выходи с нами на озеро, мы тебе на практике докажем!

— На суде будете доказывать. А мне и так все ясно,— с видом знатока и непогрешимого блюстителя законности отвечал инспектор.— Подписывайте акт.

— Такой акт подписывать не будем,— заявил Илья.

— Как не будете?

— А так. Дураков ищешь? Не выйдет!

— Значит, отказываетесь?

— Отказываемся.

— Хорошо. Так и запишем.

Инспектор сделал запись и передал акт Скрипуну.

— Подпишите, Кузьма Ефимыч.

— Не могу,— прогудел Скрипун.— Ежели ты видел, что они продавали на сторону рыбу, то сам и подписывай. А я не видел.

Инспектор смешался, но тут же вышел из положения.

— Ну, хорошо. Я могу вычеркнуть этот пункт. Пожалуйста,— сказал он и зачеркнул две строки.

— От зараза! — не удержавшись, воскликнула Клава и встала со скамьи.— Пойдем, Наташа, отсюда. На него смотреть тошно!..

Подлость всегда эстратительна, в какой бы форме она ни проявлялась. Но в жизни человеку не все и не всегда становится ясным сразу, даже если у него семь пядей во лбу. Жизнь сложна, а чужая душа — темный лес.

Не первый день знала Дуся Блохина, но таким увидела его впервые. И это тот самый Блохин, которого она коротко называла Витей, который ко дню рождения подарил ей маленькие часики американского золота, который читал ей душевные стихи Есенина и трогательно рассказывал о том, как мачеха невзлюбила его и он был вынужден уйти из дому без копейки, пробивался в люди своими слабыми силенками! Сейчас Дуся смотрела на Блохина и не верила своим глазам. Это был совсем другой человек, чуждый и непонятный, способный на любую подлость, только бы добиться своего. И все в нем стало противно ей. И угодливость перед ее отцом, и клятвы в любви, и показная ученость, и даже голос его: от прежней елейности в нем не осталось и следа. Как в капле воды отражается солнце, так и в этой гаденькой проделке Блохина отразилась вся его сущность. От мысли, что она не только гуляла с ним у всех на виду, но вначале даже гордилась своим женихом, Дусе стало так неловко перед людьми, что она тут же выбежала из конторки и никак не могла остановить хлынувших слез.

И в этот день Дуся дала себе слово оборвать с ним всякие отношения.

Как-то вечером, когда тени домов протянулись через всю улицу и с озера повеяло прохладой, Дуся с матерью пропалывала на огороде грядки. Слышалось мычание возвращавшихся с пастбища коров, стук запоздавших с выездом ловцов, перебранка женщин. Но Дуся ничего не слышала. Она думала об Илье, о том, что инспектор, конечно, все-таки затеет дело и Илью будут судить. Ей хотелось встретиться с Ильей, попросить у него прощения за глупую ссору. Но сделать это она почему-то никак не решалась.

На огород пришел Жилин, пасмурный, недовольный, с газетой в руках. Взглянув на согнутые спины жены и дочери, он сердито крикнул:

— Вы это что ж, обе ушли, и дом на замок?

Варвара разогнула спину, повернулась к мужу.

— Сейчас кончим,— миролюбиво сказала она.— А ты что такой злой? Аль проголодался дуже?

— Будешь злой! — рычал Жилин.— Заварил этот Сомов кашу!..

— А что случилось? — тревожно отозвалась Дуся.

— Вот, на, полюбуйся... Расписали под орех.

Дуся подошла к отцу, взяла газету.

— Читай вслух. Пускай и мать порадует. Вот здесь,— сказал он, указывая на статью.

И Дуся стала читать:

— «В колхозе «Маяк» идет массовое уничтожение молодежи. Почти все ловцы тайком от инспекторского надзора ловят незаконными сетями и сбывают выловленный молодой судак и подлещик на сторону. Инициатором этого беззакония явился Илья Сомов. Уже дважды он подвергался штрафу. А в ночь на двадцать восьмое июня был снова задержан инспекторским надзором на месте преступления, и теперь дело направлено в суд. Сомов — член партии. Пора понять секретарю парторганизации товарищу Маслову, что, не привлекая Сомова к партийной ответственности, он фактически прикрывал злостного нарушителя государственных законов. Следует сказать и о председателе колхоза товарище Жилине. Такое беззаконие могло повторяться только потому, что товарищ Жилин смотрел на «деятельность» Сомова сквозь пальцы. Нарушителей законности и их покровителей необходимо строго наказать».

— Батюшки! — испуганно вздохнула Варвара.— Как же ты, отец, допустил это? Ведь теперь тебя снимут с председателей и...

— А ты еще угощал этого корреспондента! — возмущенно сказала Дуся, не дав матери договорить.— Один хорош, да и другой не лучше.

— Корреспондент тут ни при чем, дочка,— отвечал Жилин.— Он дол-

жен правду писать. Он и с Масловым говорил, из редакции Маслову тоже звонили. Тут один Сомов во всем виноват.

— В чем же он виноват?

— Умнее всех захотел быть,— раздраженно отвечал Жилин — Писака! В редакцию написал, вот и...

— Илья? — удивилась Дуся.

— Председатель ему нехорош. Так пришел бы да сказал прямо, чем недоволен. А не из-за угла кусаться.

— И ты видел это письмо?

— Видел или не видел, это дела не меняет. Раз говорю, стало быть, знаю.

— Это ложь! — убежденно заявила Дуся.— Этого не может быть! Илья не такой человек. Кому ты поверил?

— Отца учить, дочка, тебе еще рано. Поживи сперва с мое.

Дуся взмахнула ресницами, сморщила лоб, проговорила жестко:

— Бывает и так: до ста лет проживешь, а ничему не научишься.

Жилин вспыхнул.

— Замолчи! — гневно оборвал он ее.— Ученая больно стала! Волю взяла! И думать забудь об этом умнике! Поняла? Расписывайся с инспектором, и вся недолга.

— Не буду! — решительно заявила Дуся.

— Гляди, дочка, не доводи до греха!

— Все равно не буду!.. Лучше не приставайте! — Дуся всхлинула и, наклонив голову, пошла с огорода...

18

За окном правления колхоза шумел дождь. Комната была оклеена кирпичного цвета обоями, а потолок от времени потемнел. Рядом со столом председателя на стене висел телефон, а напротив — стенные часы. Между окон — большой портрет Владимира Ильича Ленина. В осеннем пальто и в кепке, Владимир Ильич, улыбаясь, смотрел с портрета на Маслова, сидевшего у стены, за столом счетовода, и словно иронически говорил ему: «Веселая у вас стена. Не стена, а цирковая афиша. Чего только на нее не наклеили».

И действительно, колхозный счетовод, он же капитан футбольной команды, разукрасил эту стену и авиационными, и военно-морскими, и физкультурными плакатами. Здесь висели афиши кинокартин и договоры о соцсоревновании, график шахматного турнира и цветные репродукции из журнала «Огонек». А на полу валялись окурки, и воду пили из железной кружки, черпая прямо из ведра. И ни Маслов, секретарь парторганизации, ни Блохин, сидевший возле окна и чистивший ногти, ни Скрипун, куривший у порога, ни Илья, задумчиво смотревший на эти плакаты, — никто и не думал о том, хорошо это или плохо. Все они думали о другом. От этих дум разламывалась голова.

Накануне похоронили Федю Колоскова. Чего страшилась Анисья, то и случилось. Воспаление легких перешло в крупозное, и Федя не выдержал. Эта неожиданная смерть молодого парня глубоко поразила каждого из сидевших сейчас в правлении, даже Блохина. Такого конца и он не ждал. А Илья, узнав, что Федя не стало, разрыдался. Он и теперь все еще не мог освободиться от тяжелого чувства. Вина за эту утрату лежит на нем. А тут статья в газете.

Сидя на табуретке и блуждая глазами по разноцветным плакатам и афишам, Илья пытался осмыслить и развязать пуганые узлы последних событий. Инстинктивно он чувствовал, что и смерть Федя, и появление статьи, и распространившийся слух о том, что он якобы написал в редак-

цию газеты клеветническое письмо на инспектора и на председателя колхоза, и сегодняшнее скоропалительное собрание — все эти события имеют какую-то связь. Они не случайны и росли, как грибы после дождя. Но уверенности в этом никакой не было. Твердо он знал только одно: никогда не продавал рыбу на сторону и письма в редакцию газеты не писал.

Пришел Жилин, и Маслов открыл собрание. На повестке дня стоял один вопрос: «О действиях Ильи Сомова и о его ответственности перед партийной организацией».

Маслов коротко напомнил собравшимся о том, как Сомов начал ловить рыбу незаконными сетями, как его примеру последовали другие ловцы. Переходя к статье в газете, он сказал:

— Статью эту вы, конечно, все читали, знаете. Ни оправдываться, ни возражать нам, товарищи, не приходится. Проморгали мы это дело, не стукнули Сомова вовремя, и вот результат. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тут факт преступления Сомова налицо, и партийная организация, товарищи, должна на сегодняшний день сказать свое слово: может товарищ Сомов и дальше оставаться в партии или не может?

— Разрешите, Яков Наумыч, — взял слово Блохин. — Собственно, говорить тут нечего. Так называемая деятельность Сомова нам всем хорошо известна. И деятельность эту нельзя назвать иначе, как преступлением. А человек, совершающий преступление, должен привлекаться не только к партийной, но и к уголовной ответственности. Сомов и будет привлечен к этой ответственности. И за злостное нарушение закона, и за гибель молодого ловца Колоскова Федя. Мы не раз предупреждали Сомова. Но он, видно, неисправим. А раз так, пускай пеняет на себя. Ясно, что Сомов не может оставаться дальше в рядах партии.

— Это мы еще поглядим...

— Подожди, Илья. — остановил Маслов. — Вы кончили, товарищ Блохин? Кто еще желает слова? Ты будешь говорить, Кузьма Ефимыч?

— Погожу-у, — прогудел Скрипун.

— Да что лишнее говорить? — отозвался Жилин. — Воду в ступе толочь? Давай голосуй, и вся недолга.

— Нет, не вся недолга, Семен Алексеевич, — сказал Илья и встал с табуретки. — И мы еще посмотрим, кто тут больше виноват: я, вы или ваш обожаемый инспектор. Разве вы не знаете, что ловцы ловят не шестидесятками, а полусотками? Сколько раз я и вам и вашему инспектору говорил, что инструкция неправильная!..

— А кто ты такой? — перебил Жилин. — Ты ловец. Понял? Ты только ловец, и больше ничего. А инструкция утверждена министром. Куда же ты лезешь?

— Пусть министром! А я говорю, что она неправильная. И я докажу это! — ответил Илья и повернулся к инспектору. — Не я «деятель», товарищ Блохин, а вы «деятель». Вам надо утопить Сомова, вот вы и стараетесь, благо формально закон на вашей стороне. Но мы еще посмотрим, кто будет прав...

Илья вытер рукавом выступивший на лбу пот и, повернувшись к Маслову, продолжал:

— Вы испугались статьи и торопитесь как можно скорее свалить все грехи на меня. Затем и созвали собрание. Не выйдет, товарищ Маслов! Не вы меня принимали, не вам меня исключать! — Распалившись, он хватил через край.

— Это как понимать? — Маслов побагровел.

— А так. У вас у всех, кроме Кузьмы Ефимыча, рыльца в пуху!

Блохин и Жилин, оскорбленные, закричали, чтобы Маслов записал в протокол эти слова. Маслов себя не помнил, на шее его вздулись вены. Не попадая пером в чернильницу, он прохрипел:

— Ты, Сомов, говори, да знай, что!

— Я знаю, что говорю!

— Голосуй, Яков, полно! — закричал Жилин. — Голосуй, и вся недолга!

— Голосую, — решительно сказал Маслов и положил ручку. — Кто за то, чтобы Сомова исключить из партии, прошу поднять руки.

Подняли все, кроме Ильи и Скрипуна.

— А ты что, Кузьма Ефимыч? — оторопело спросил Маслов.

— Что? — Скрипун медленно поднялся и так же медленно, прямым взглядом поглядел на Маслова и на Жилина: — Гоните шибко, вот что! Гляди, Семен Лексеич, как бы шею ты себе не свернул. И ты, Яков, сперва разберись, а потом голосуй. Инспектор Блохин — для нас величина малоизвестная, а Илья вырос на наших глазах. Ошибся — поправить надо. Больше ничего. Несогласный я с вашим голосованием. Я против.

Домой Илья вернулся подавленный. За ужином не стерпел, все рассказал матери.

— Господи, помилуй! Дитенок ты мой! — запричитала старушка, жалостно глядя на сына и вытирая слезы. Да, она была уже дряхлая старушка, хотя не прожила и шестидесяти. — Отступись ты от них. Засудят они тебя.

— Не засудят, мама, не бойся, — отвечал Илья, допивая молоко.

— Как же не засудят, милый ты мой! Вишь, из партии тебя выключили. Что один сделаешь?

— Не плачь, мама, райком разберется.

— Что райком! Отступись ты от Дуси. Бог с ней! Мало ль девок на свете!

— Дуся здесь ни при чем.

— Как же ни при чем? Разве я не знаю! Разве я не вижу! Выкинь ты ее из головы. И зачем ты связался с этим инспектором? Пускай женятся. Или свет клином на ней сошелся?

— Может, и не сошелся, мама. Но этому негодяю я не уступлю.

— Ах ты, головушка моя! Вот беда-то!..

19

В этот вечер ловцы на озеро не поехали. Не было ветра, а без ветра «плывунам» делать нечего. В устье речки скучали соймы, а хозяйева их коротали время, кто как мог. Одни, собравшись в кружок, жгли махорку, другие бродили по берегу и тоскующими глазами поглядывали на зеркальную гладь воды, на вечернее небо с белыми неподвижными облачками, на ближние тополя, на которых ни один лист не шевелился.

Илья сидел под эаном своего дома, в палисаднике, и куском стекла шлифовал новое топориче. Со стороны улицы его прикрывали кусты сирени, с боков — вишенки. На площади играла гармонь, и девушки наперебой пели частушки:

Наше озеро широко,
В нем холодная вода.
Приходи ко мне, забава,
Безо всякого стыда..
Меня милый называет
Ягодка, рябиночка,
Вот поженимся, узнает,
Что за ягодиночка!..

И дробный топот ног дорисовывал воображаемую картину. Но ни гармонь, ни девичьи голоса не трогали Илью. Он полностью погрузился в свои мысли и будто оглох. У Хромого неожиданно отнялись ноги, надо было искать ему замену Дуся перестала заходить к Наташе. А тут исключили из партии и скоро потянут к прокурору.

Сколько раз, возвращаясь с озера домой, Илья издали смотрел на раскинувшуюся по бугру деревню, на зеленые тополя и березы, шапками поднимавшиеся над крышами, на легкие голубые дымки, струящиеся из труб, на веселое поблескивание стекол, и эта знакомая с детства картина радовала его. Казалось, что живут люди в этом колхозе, как рыбы в аквариуме: сытно, спокойно и дружно. «Где там!.. — думал Илья. — Что, собственно, я сделал плохого? Ловил не по инструкции? Так она неправильная, и никто по ней не ловит. Сети рвал? Так и рад бы не рвать, да зацепы кругом. Федя вот помер. Тут я, конечно, виноват. Недоглядел. Но и тут не все еще ясно. А что порядка в колхозе нет, так это же факт. И я не буду об этом молчать, Семен Алексеевич! «Не твое дело, Илья!» Нет! Это мое дело! Это дело каждого члена колхоза! — Он раскалял себя все сильнее и сильнее, обрушивался и на Жилина, и на инспектора, и на Маслова, пушил их вдоль и поперек. — Вредителя нашли! Сомов незаконными сетями ловит! Сомов рыбой торгует! Посадить его! Исключить из партии!.. Нет, руки коротки. Вы видели, что я торговал рыбой? Ничего у вас не выйдет, голубчики! Ваша брахня всплывет на поверхность, как навоз. Не разберутся в райкоме, в областной комитет пойду. До ЦК дойду, а правду добуду! Загорится свет и в нашем колхозе!»

И он все горячее и размашистее шлифовал топориче, и деревянная стружка летела во все стороны...

В этот час в сельмаг зашел Никита Жуков. Продавец Игнат Кустов, толстый и красный, отпускал женщинам и девушкам товар. Была там и Клава.

— Привет советской торговле! — кинул Никита.

— Заходи, — отвечал Игнат. — Что прикажешь, четвертинку или пол-литра?

Он всегда, этот Игнат, старался подковырнуть, понасмехаться, позлорадствовать над другими, особенно в присутствии молодых женщин, которые, по его убеждению, «всегда мужику рады». Это была своего рода политика: чернить других, чтобы самому казаться лучше. Никита, не задумываясь, ответил:

— Полбыка!

— Я быками не торгую. К мяснику иди.

— А вот я и пришел, — усмехнулся Никита, вынул деньги, положил на прилавок. — Брось-ка пачку «Казбека».

Игнат подал папиросы. С Никитой лучше не связываться. Он переменил тон:

— Ты что-то совсем пить перестал, я гляжу. Не жениться ль задумал?

— А что ж? Вот и невеста рядом, — усмехнулась одна из женщин, взглянув на Клаву.

— Она за Ильей Сомовым бегаёт, — как бы между прочим, заметил Игнат, вешая пряники. Но Клава, как известно, тоже в карман за словом не полезет.

— Бегаю, — призналась она. — Илья — парень что надо! Не тебе, жирному кабану, чета!

Но Игнат не обиделся.

— Хо-хо! — смеялся он. — Что надо! Ему скоро в тюрёху садиться...

Это злорадство Игната снова взорвало Никиту. Словно не услышав, он переспросил:

— Кому в тюрёху?

— Сомову. Говорят, его из партии выкинули, как грезливого котенка из кухни.

Никита бросил недокуренную папиросу и, перегнувшись через прилавок, схватил Игната за белую куртку.

— Ты над чем смеешься, красная твоя рожа! — крикнул он и так рванул куртку, что все пуговицы отлетели.

Игнат побелел. Но женщины вцепились в Никиту, оттащили от продавца, и Клава увела его из магазина...

— Ой, какой же ты дурной, Никита! — заговорила она, идя с ним по улице.— Ну, чего ты взбесился?

— Жаль, бабы помешали. Я бы ему показал, как зубы скалить,— все еще бушует, отвечал он.

— Да пускай смеется. Тебе-то что?

— Мне что? Да он, свиная рожа, подметки Ильи не стоит. Как же можно стерпеть? Он над моим лучшим другом изголяется, а я буду молчать? Ты что, Кустова не знаешь?

— Знаю. И все-таки ты дурной.

Видя, что Клава смеется, Никита и сам рассмеялся.

— Я думал, ты серьезно,— сказал он.— Ну, и черт с ним... А вообще-то ты права. Надо было просто вылить на него олифу из ведра, и все.

— Час от часу не легче! — весело воскликнула Клава.— И принесло же тебя не вовремя!

— Меня не принесло. Я видел, что ты в сельмаг пошла, хотел купить тебе конфет, а вышло...

— Дурной ты, дурной! Ведь я же за Ильей бегаю!

— Бегай. Жалко, что ли? А конфет я тебе все равно куплю...

Так, разговаривая, они дошли до белооконного дома Сомовых, и Никита сквозь кусты увидел Илью. Клава сразу притихла, а Никита, подойдя к заборчику, позвал:

— Пойдем на гулянье, чего сидишь?

— Настроения нет, браток,— грустно отвечал Илья.

— Брось. Исключили, ну, и черт с ними. Ловить-то все равно что партийному, что беспартийному.

— Ловить-то, может быть, и все равно, да жить не все равно, браток.

Наташа окликнула Клаву из окна, и Клава ушла к ней. Никита вошел в палисадник, присел на скамейку рядом с Ильей.

— А что эта, в шляпке-то, приезжала? Не по твоему делу? — спросил он.

— Инструктор райкома? По моему.

— И что она говорит?

— Говорит, что плохи мои дела, браток. Надеяться не на что. Но я все же думаю, что в райкоме разберутся,— ответил Илья и, перевернув топориче другим концом, спросил: — Что это Клава такая молчаливая? Ты не обидел ее?

— Нет, Клаву я пальцем не трону. Я перед ней сам робею, Илья, и не знаю, почему.

— Значит, нравится она тебе.

— Это верно,— признался Никита.— Да только...

— Что только?

— Она нравится мне, а ты — ей.

— Ну? — улыбнулся Илья.— Это она сама тебе сказала?

— Сама.

— Ну, так смело можешь делать предложение. Не откажет!..

В приемной секретаря райкома сидело несколько человек, и среди них Илья и Маслов. Шло заседание бюро. Люди ждали, когда их вызовут. Ждали долго, терпеливо. Маслов молчал, а Илья то выходил на улицу, то присаживался к кому-нибудь и заводил разговор, чтобы хоть немно-

го отвлекся от тяготившего его беспокойства. Иные из тех, кого вызывали на заседание, выходили из кабинета секретаря, как из бани, нервно надевали фуражки и кто молчком, кто с виноватой усмешкой исчезали за дверью райкома. Это не предвещало Илье ничего хорошего. Видно, секретарь райкома действительно крут. Надо и то принять во внимание, что затянувшееся заседание утомило членов бюро, и они не смогут вникнуть в существо его дела и проступков. Факты будут доложены, а собранных инструктором Селезневой фактов вполне достаточно, чтобы утвердить его исключение. И все же Илья не терял надежды. «Не может быть,— думал он,— чтобы никто из членов бюро не заинтересовался моей судьбой. Ведь не вредитель же я... Только бы не сорваться! А то в запальчивости такого наговорю, что и самому не уцелеть...»

Наконец их пригласили. Войдя в просторный кабинет, Илья увидел сидевших за длинным широким столом членов бюро. Все серьезно и строго смотрели на него.

И только один, седоволосый, улыбнулся ему глазами и кивнул головой. Илья сразу узнал его. Это был тот речник с пристани, который вернул отваливший пароход ради запоздавшего моряка.

Секретарь райкома Белов, невысокий, с гладко зачесанными светлыми волосами, сказал устало и, как показалось Илье, неохотно:

— Вопрос о товарище Сомове.— Он посмотрел в блокнот, перевернул страницу.— Партийная организация колхоза «Маяк» вынесла решение исключить товарища Сомова из членов партии как злостного нарушителя дисциплины и законности. Дадим слово инструктору райкома товарищу Селезневой, поскольку она готовила этот вопрос на бюро. Пожалуйста, товарищ Селезнева.

Илья нагнул голову, словно ждал, что сейчас обрушится на него потолок. Сидевшая рядом с Беловым черная, худая, большеглазая женщина на встала, раскрыла папку и начала докладывать:

— Товарищ Сомов недавно демобилизовался из флота, вернулся домой, в колхоз, и стал работать ловцом. Это можно только приветствовать. Тем более, что среди ловцов коммунистов немного. Но, как это ни странно, товарищ Сомов оказался не только самым недисциплинированным ловцом, а и сознательным нарушителем советских законов.

— Никаких законов я не нарушал! — крикнул Илья, лицо его налилось кровью.

— Товарищ Сомов!— строго сказал Белов.— Потрудитесь вести себя достойно. Вы в райкоме, а не на рынке. И я вам слова не давал.

Илья сжал челюсти, ничего не ответил.

— Мною установлено,— продолжала Селезнева,— что товарищ Сомов по своей безрассудности и наплевательскому отношению к колхозному имуществу за один только месяц порвал сетей на сумму около пяти тысяч рублей...

— За это взыскивать надо,— послышался голос.— Пусть отвечает своим карманом...

Илья, не отрывая глаз от голубого сукна стола, сжимал в руках пепельницу; на скулах его бегали желваки. Он крепился, чтобы снова не сорваться, но голый, никак не раскрытый факт, доложенный Селезневой, и этот возмущенный голос члена бюро (Илья не знал, кто произнес это) вывели его из терпения.

— Взыскивать не с ловцов надо, а с тех, кто пальцем не ударил, чтобы очистить озеро от зацепов. Что ж она об этом не говорит?..

— Вы можете держать себя в руках? — уже с ноткой раздражения в голосе сказал Белов.

— Могу. Но докладывать надо правильно, а не приводить только голые факты.

— Ну, уж это не вам судить... Продолжайте, товарищ Селезнева.

— Кроме того, товарищ Сомов перешел на ловлю запрещенными сетями. Дело это, видимо, прибыльное. Вслед за Сомовым частые сети появились почти у всех рыбаков. Сортовая рыба сдавалась на рыбозавод, а выловленный молодник сбывался на черном рынке.

— Это верно?

— А куда руководители колхоза глядели?..

— Председатель колхоза здесь?..— слышались голоса.

— Нет, председателя мы не вызывали,— ответил Белов.— Секретарь парторганизации здесь. Да вы не торопитесь, товарищи, дайте ей закончить.

— ...Партия и правительство,— продолжала Селезнева,— принимают все меры к тому, чтобы запасы рыбы в водоемах не только сохранить, но и увеличить. А товарищ Сомов явился застрельщиком хищнического истребления молодника в нашем озере...

— А что ж рыбнадзор? Спит?

— Нет, не спит. В течение последнего месяца инспектор рыбнадзора этого участка дважды штрафовал Сомова. Но с него, видно, как с гуся вода. Совсем недавно Сомов был снова задержан на озере, и теперь его дело направлено в суд.

— Так что же мы тут время зря тратим! — воскликнул щекастый, подстриженный бобриком пожилой районный прокурор; воротник кителя плотно охватывал его розовую шею.

— Судить-то вы мастера,— снова не утерпел Илья, яростно взглянув на прокурора и замолк. И было видно, как пульсирует кровь в его набухших на висках жилах.

Секретарь побледнел.

Илье представилось, что сейчас он прервет заседание, и все будет кончено. В кабинете стало тихо.

— Вот что, Сомов,— сказал Белов.— Озлобленность — плохой советчик. Не поумнеешь, пеняй на себя. Предупреждаю в последний раз.

Илья сжал голову руками. «Видно, тут все заранее решено»,— с отчаянием подумал он и ощутил пустоту в груди. Он уже не сомневался, что его исключат. Он испытывал горечь и обиду. Облокотившись о стол, он подпер голову ладонями и закрыл глаза, пряча выступившие на них слезы. Он уже не слышал, что докладывала Селезнева. А она говорила:

— В заключение я хочу сообщить членам бюро еще одно довольно печальное происшествие. Дело в том, что по вине Сомова погиб шестнадцатилетний ловец Федя Колосков.

— Как погиб? — спросил прокурор.

— Сомову захотелось иметь не белые, а черные паруса, он взял и высмолил их. Паруса эти приобрели такую плотность, что при первом же сильном ветре опрокинули сойму. Оба ловца — и Сомов и Колосков — держались в воде, пока их не подобрала. Молоденький парнишка так застыл, что заболел воспалением легких и на прошлой неделе умер. Вот и все,— сказала Селезнева и закрыла свою папку.— Считаю, что решение коммунистов колхоза «Маяк» правильное.

И снова наступила тишина. Факты, изложенные Селезневой, убедительно говорили, что Сомов виноват. Но на лицах членов бюро было какое-то выжидательное, неуверенное выражение. Они смотрели на Илью — в его несдержанных, горячих возражениях, в том, как мучительно он переживал разбор дела, чувствовалось, что все не так просто и ясно, как об этом докладывала Селезнева. Седой речник (позже Илья узнал, что он начальник пристани Кремнев) налил в стакан воды, подал Илье.

— Что ж ты сразу голову повесил, моряк? — добродушно сказал он.— Не по-флотски. Выпей-ка воды.

Его сильный голос словно разбудил Илью. Подняв глаза, он посмотрел на речника и устыдился своей слабости.

— Товарищ Маслов, вы хотите что-нибудь добавить? — спросил Белов.

— Я полностью согласен с товарищем Селезневой. Она все рассказала в соответствии.

— И насчет черного рынка?

— Насчет рынка Сомов, конечно, за руку не пойман. Но птицу видеть по полету.

— Так. Ну, что ж, может быть, послушаем Сомова? — сказал Белов, обводя взглядом членов бюро.— Говорите, Сомов, только конкретно, по существу.

Илья встал. В голове у него все перемешалось, и он долго не мог начать.

— Да ты не волнуйся. Говори, что правда, что нет,— поддержал его Кремнев.

Илья поднес стакан к губам, сделал глоток и, глядя в сторону, как-то виновато заговорил:

— Я, товарищи, служил в Балтийском флоте...

— Это мы знаем. Давайте по существу,— прервал Белов.

— Там я вступил в партию... Два раза премировали меня...

— Это к делу не относится,— сказал районный прокурор.— Вы по существу можете что-нибудь возразить?

— Так дайте же человеку сказать! Что вы ему на язык наступаете? — возмутился Кремнев.

— Никто не наступает. Пускай о деле говорит.

— А это, по-вашему, не дело? — загорелся Илья, и снова краска бросилась ему в лицо. Поддержка Кремнева вернула ему силы и сознание своей правоты.— Что я, спекулянт или вредитель? Здесь Селезнева объявила меня хищником. А видела она, что я истребляю молодник? Кто ей сказал об этом? Жилин да инспектор Блохин. А они видели? Нет, не видели, потому что молодника я ловил меньше, чем положено по инструкции. И все это брехня!..

— И штрафы — тоже брехня? — вставил прокурор.

— Штрафы не брехня, да надо поглядеть, за что эти штрафы. Я не говорю, товарищи, что я во всем прав. Я хотел одного: как можно больше поймать рыбы. И если рвал сети, так и вы в этом не меньше виноваты.

— Вон как! — отозвался чей-то бас.

— Конечно, так. Озеро захлавлено зацепами. Его давно надо очистить, но никто из руководителей и пальцем не пошевелит. Я говорю, как умею... Теперь о нарушениях. Верно, я нарушал инструкцию, ловил неположенными сетями, как и другие ловцы. Но надо же разобраться, мы виноваты или тот, кто эту инструкцию составлял. Почему Селезнева верит инспектору и не верит мне? Почему она не поговорила с бригадиром, с ловцами?.. Вы руководители, а в колхозе вас в этом году никто не видел. Знаете вы, что там делается?..

Грубовато говорил Илья, но доводы его заставили членов бюро задуматься. Все слушали внимательно.

Белов заметил:

— Критиковать райком, конечно, надо, но лучше в другой раз, когда мы разберемся в вашем деле. Сейчас мы занимаемся вашим делом, Сомов. Что вы еще хотите сказать по существу?

— Больше говорить мне нечего. Я хочу, чтобы вы, товарищи, поглядели в самый корень. Может быть, я здесь что и не так сказал, так вы глядите не на форму, а в сердце. Я в партию вступал не за столом сидеть, мне без нее жизни нет.

Илья сел.

Белов спросил суховато:

— Как, товарищи? Будем голосовать или...

— Да чего тянуты! — отозвался районный прокурор. — Дело ясное. Голосуй.

— Нет, не все ясно, товарищ Кожин, — возразил Кремнев и встал, расстегнул ворот кителя. — Разрешите мне. Ты слишком торопишься, товарищ Кожин. Не знаю, как вы, товарищи, а я понял, что в вопросе с Сомовым допущен произвол, самый настоящий произвол! А товарищ Селезнева, видимо, как следует не разобралась. Сомов не случайный человек в партии, не чуждый нам человек, а труженик. И применять к нему за его проступки сразу крайнюю меру — это самое настоящее головотяпство! Я категорически возражаю! Да и сами грехи его еще надо основательно профильтровать. Поэтому я предлагаю отложить этот вопрос, выехать на место и разобраться во всех обстоятельствах дела. И не только разобраться в вопросе, оставлять товарища Сомова в партии или не оставлять, а и посмотреть, все ли благополучно в колхозе.

— Это совсем другой вопрос, товарищ Кремнев.

— Это один и тот же вопрос, товарищ Кожин. Дело Сомова есть результат того, что делается в колхозе. А мы, к нашему стыду, не знаем на сегодня, что там делается. И тут Сомов прав. Не знаем потому, что, кроме Селезневой, которая псыбла там полдня и с рядовыми колхозниками, с рядовыми ловцами не говорила, никто из нас в этом году действительно в колхозе не был, с народом не встречался.

— А при чем тут народ? — снова заспорил прокурор. — Ты что ж, у беспартийных поедешь спрашивать: исключить или оставить Сомова в партии? Хе, чудак!

— Чудак не я, а ты, товарищ Кожин, — резко ответил Кремнев. — Ты, как прежний барин, с народом поговорить считаешь делом для себя низким. А вот Владимир Ильич Ленин занимал пост повыше, а думал в корне иначе. — Кремнев вынул записную книжку, прочел: «Есть места, где чистят партию, опираясь, главным образом, на опыт, на указания беспартийных рабочих, руководясь их указаниями, считаясь с представителями беспартийной пролетарской массы. Вот это — самое ценное, самое важное. Если бы нам действительно удалось таким образом очистить партию сверху донизу, «не взирая на лица», завоевание революции было бы в самом деле крупное». Ленин. Сочинения. Издание четвертое, том тридцать третий. Страница восемнадцатая. Как видишь, товарищ Кожин, смеялся ты сейчас сам над собой. — Кремнев повернулся к секретарю райкома: — Я решительно настаиваю на том, чтобы отложить этот вопрос, выехать на место и разобраться во всем основательно.

— Но ведь факты, доложенные Селезневой, правильные. Он и сам этого не отрицает. Что ж волынку тянуть? — снова уперся Кожин.

— Подождите, товарищи, — вмешался Белов. — Так мы не закончим и до ночи. — Он встал и внимательно обвел взглядом всех присутствующих. — Должен признаться, товарищи, что я почти готов был проголосовать за исключение Сомова. Уж очень он необузданный и этим настораживает. Факты против него. Но если подумать над тем, что здесь было сказано, то придется согласиться с товарищем Кремневым: в деле Сомова не все ясно. Факты, изложенные здесь Селезневой, вероятно, правильные, это мы еще раз проверим. Но для меня неоспоримо сейчас, что товарищ Селезнева собрала факты, а в причинах их возникновения не разобралась. Вот в чем ее беда.

Он посмотрел в блокнот и, повернувшись к Селезневой, спросил:

— Товарищ Селезнева, а другие ловцы рвут сети на зацепах?

— Я о других не спрашивала, Константин Петрович, не могу сказать, — призналась она.

— Товарищ Маслов?

— Да как сказать... — замялся тот. — Рвут и другие. Не без этого.

— Тогда у меня еще один вопрос к вам. Вы знали, что Сомова дважды штрафовали за молодник?

— Знал. Только не за молодник, а за сети. Сомов не такой дурак, чтобы везти на рыбозавод весь пойманный незаконник.

— То есть, часть пойманного незаконника он сбывал на сторону?

— А то куда ж? Известное дело.

— А кто это может доказать? Вы же сами говорили, что за руку он не пойман. Кто видел, что он действительно сбывал этот незаконник на сторону?

Маслов снова замялся.

— Да... я не знаю, кто видел. Но-о...

— Никто не видел и видеть не мог! Брехня все это! Поклеп инспектора! — снова не утерпел Илья.

— Товарищ Сомов!

— Извините, товарищ Белов. Душа не терпит Маслова слушать. Разве это секретарь? Разве это коммунист? Это жилинский подпевала! Говорит и делает так, как Жилину надо, потому что шурин. А тот с инспектором узлы вяжет. Вы приезжайте и посмотрите, что у нас делается!..

— Хорошо, приедем и посмотрим.— Белов обратился к членам бюро.— Как, товарищи, возражений нет?

— Нет.

— Действительно, надо разобраться,— ответило сразу несколько голосов.

21

На пристани рабочие и служащие, особенно молодежь, называли своего начальника просто и уважительно: «наш батя». Кремнев был требователен, но никто не обижался на него за это. Все знали, что батя справедлив. И если кто провинится, тот получит от бати полной мерой. Но знали также и то, что он любит людей и помогает каждому, попавшему в беду не по своей злой воле. Судьба человека, даже самого маленького, никогда не была ему безразлична.

Поэтому и судьба Ильи Сомова живо заинтересовала Кремнева. А взявшись за дело, он уже не мог не довести его до конца. После бюро Кремнев не сомневался в честности Ильи Сомова, но жизнь этого парня ему была почти неизвестна. Он пригласил Илью к себе поговорить по душам. Конечно, Илья был рад. Случается же так в жизни. Вчера был человек почти незнакомый, а сегодня он готов голову за него положить. Все в Кремневе вдруг стало для Ильи родным, близким: и серые глаза, и пушистые брови, и голос, от которого теплеет на душе.

Квартира у Кремнева была в новом доме, на первом этаже. Дверь открыла темноволосая девушка в школьном форменном платье и в белом фартуке.

— Как твои дела, дочка? — спросил Кремнев.

— Хорошо, папа. Сдала на четыре.

— Значит, теперь все?

— Все. Завтра получу аттестат зрелости.

— Тогда с тебя приходится.

— Нет, папа,— засмеялась девушка.— Это с тебя приходится. Ты же обещал, помнишь?

В прихожую вышла полная женщина. По темным глазам, по выпуклому лбу сразу можно было угадать в ней мать девушки. Поздоровавшись с Ильей, она сказала мужу:

— Долго ты сегодня. Мы ждали, ждали, да и пообедали.

— И прекрасно. Теперь нас покормите.

Вначале Илья чувствовал себя стеснительно. Присутствие женщин сковывало его. Но потом, когда женщины ушли в другую комнату и Кремнев налил из маленького графинчика по стопочке, разговор оживился. Поговорив о службе на флоте, вспомнив военные годы, Кремнев попросил Илью рассказать поподробнее о сетях, об инспекторе Блохине, обо всем, что явилось причиной конфликта, возникшего между ним и руководством колхоза. Илье и самому не терпелось излить все, что на душе накипело.

— Видите, Степан Петрович, какое тут дело,— начал он, раздумываясь от выпитой водки.— По инструкции плавные сети должны иметь ячейку не меньше шестидесяти миллиметров. А ловцы такими сетями ловить не хотят.

— Почему?

— Расчету нет. Двухгодовалый судак и щука почти все уходят. А даром кому охота воду цедить? И если правду вам сказать, так эти шестидесятки ловцы держат на соймах только для отвода глаз, чтобы инспектору показать, если придет. А ловят все полусотками.

— Значит, обманываете?

— А что ж сделаешь? План выполнять надо? Надо. Вот и ловим обманным путем. И председатель и бригадир — все знают об этом, и все помалкивают. Лови, только не попадайся. Разве это дело? Пересмотреть надо инструкции, вот что. Сама жизнь этого требует. Тогда никакого обмана не будет...

Кремнев внимательно слушал горячий рассказ Ильи и все больше убеждался, что этот крепкий парень не рвач, не ловкач, а честный труженик, и, что особенно радовало Кремнева, труженик, думающий не только о том, чтобы побольше заработать, но и о том, как улучшить рыбный промысел и поднять материальный и культурный уровень жизни всех членов колхоза.

— Знаете, Степан Петрович,— продолжал Илья,— за время моей службы на флоте только из нашей деревни уехало в город восемь семей. Одни дома свои продали, у других и сейчас они стоят заколоченные. А из молодежи, которая ушла служить в армию, половина не вернулась. Разве это нормально? Ведь если бы в колхозе был порядок, так разве люди стали бы убегать из колхоза? Конечно, нет. Вот я был недавно в колхозе «Новая жизнь». Так к ним люди приезжают из других мест, просят, чтобы их приняли. А из нашего колхоза норвежцы ушли. Когда я стал говорить об этом председателю колхоза, он мне ответил так: «Я каждого за ворот держать не могу. Тут власть виновата. Зачем паспорта на руки выдает? Не выдавать, и вся недолга. А ушел самовольно, вернуть по этапу».

-- Так и сказал? — удивился Кремнев.

— Слово в слово.

— Да-а. Взгляды у вашего председателя, как у бывшего помещика. Он что, и раньше такой был?

— Да нет. Правда, прижимист он был всегда, но мужик неплохой. А вот стал председателем, и переменялся человек. Власть, она, говорят, людей портит.

— Только тех она портит, Илья, которые сами легко портятся, которые и к власти-то стремятся прежде всего затем, чтобы набить себе карман. Так что если ваш председатель испортился, то не власть виновата, а его нутро.

— Так-то оно так, конечно,— согласился Илья.— Но все же, я думаю, что князьком Жилин стал не без помощи районных руководителей и самих колхозников. Знаете, Степан Петрович, у нас на корабле был бэцман, уже седой, немало повидавший на своем веку. Он так говорил: «Если хозяйка любит свой самовар, так она его каждую субботу, а то и

на неделе и песочком продраит, и в холодной воде искупает, и суровым полотенцем насухо протрет. Он у нее, как жар, горит. А если хозяйка не любит самовара, этот самовар у нее не только грязью, а и плесенью покроеется». Вот так, я думаю, получилось и с Семеном Алексеевичем. И так он привык к самовластью, что слова ему не скажи.

— Гневается?

— Да-а. А как же молчать, если эта его политика в корне неправильная? Если в колхозе нет порядка? Вот возьмем хотя бы дело с зацепами. Эти зацепы, Степан Петрович, у каждого ловца, как бельмо на глазу. А председатель вместо того, чтобы принять меры и очистить озеро, говорит ловцу: «Не у меня непорядок-то, а у тебя. Ты ловец, стало быть, должен знать, где есть зацепы, где нет. Где можно ловить, где нельзя. Так и лови». И мы ловим, стараемся обходить эти проклятые зацепы, да ведь разве все обойдешь, когда их черт знает сколько. Думаешь, здесь нет, а хлоп, и зацепил. Непорядок это, Степан Петрович. Знаете, если бы нам помогли подъемными средствами, мы и сами очистили бы озеро. А голыми руками, конечно, баржи да самолеты со дна не поднять...

Хозяйка принесла и поставила на стол жаркое. Кремнев налил еще по стопочке.

— Попробуем помочь вам в этом деле,— сказал он Илье, подняв стопку.— А насчет самовара, между прочим, хорошо сказал этот ваш боцман. Молодец! Пусть живет и здравствует.

Кремнев вытер салфеткой губы и, видя, что гость поглядывает на часы, спросил:

— У тебя тут, в городе, есть еще дела?

— Нет, дел особых нет. Сестра просила в книжный магазин зайти, купить новый учебник по «Истории средних веков». Да я успею. Пароход отходит через полтора часа.

Кремнев шумно встал из-за стола.

— Тогда пойдем-ка в кабинет. Эту книжку и я купил и дочка. Один экземпляр можешь взять для сестры.

Они вошли в маленькую, с одним окном, комнатку. У стен почти до потолка вытянулись стеллажи с книгами. От разноцветных корешков рябило в глазах. На письменном столе тоже лежали книги.

— Садись,— сказал Кремнев Илье.— Сестра еще в школе учится?

— Нет. Она закончила техникум, работает учительницей в младших классах и готовится в институт на заочное отделение.

— А у тебя какое образование?

Чувствуя в этих расспросах все ту же заботу, Илье рассказывал все, как было:

— Мне война помешала. А потом отец погиб. Надо было работать. Но все же до службы семилетку я закончил. И знаете, Степан Петрович, сначала мне казалось, что больше и не надо. Проживу и так. А потом, вижу, нет: хочешь быть человеком, приобретай знания. На флот меня взяли благодаря здоровью. Этим бог не обидел. Направили в школу строевых. А мне очень хотелось в морские летчики попасть, но по грамоте не прошел. И тут я понял, что без образования мне ходу не будет. А вскоре эта моя малограмотность ударила меня по самому больному месту.

— Это по какому же месту? — спросил Кремнев, улынувшись одними глазами. И Илье рассказал то, о чем не рассказывал даже дома:

— У нас в школе иногда устраивались вечера, приглашали городскую молодежь. И вот понравилась мне одна девушка, так понравилась, что ничего мне на свете не надо, только бы возле нее быть. Верите? Она выступала в самодеятельности, пела «Соловья». Потом «Сказки Венского леса», и хорошо пела. Я сидел и глаз с нее не сводил. Не знаю, как другим, а мне казалось, что красивее ее на свете нет. И вот, когда начались танцы, я пригласил ее танцевать. Она согласилась. Я осмелел и го-

ворю ей: «Можно вас домой проводить?» Она улыбнулась и говорит: «Я очень далеко живу, потом сами себя ругать будете, что пошли». «Что вы,— говорю,— да я с вами хоть на край света!» И вот дорогой начала она выспрашивать меня, кого я люблю из композиторов, из писателей, из артистов. И как я смотрю на новую теорию Шмидта о происхождении земли. Такая оказалась начитанная и в курсе всего, что я не знаю, как с ней и говорить. А главное, что я об этой теории Шмидта и понятия не имею. Как смотрю? Можно сказать, как баран на новые ворота. В общем, иду и краснею. Тогда она, чтобы помочь мне выйти из неловкого положения, заговорила о книге «Молодая гвардия». И угадала: книгу эту я действительно читал. Я обрадовался, что хоть чем-нибудь могу козырнуть, и кричу: «Да! Очень интересный роман! Здорово написано про нашу молодежь!» Она посмотрела на меня, усмехнулась и говорит: «Только не роман, а роман. И не молодежь, а молодёжь». Я и вовсе язык прикусил. Верите? Слова больше не могу вымолвить.

— Понимаю,— засмеялся Кремнев.— Небось, и сам не рад был, что пошел. Ну, что же дальше?

— Да что? Видит она, что я лапот, прошла еще несколько шагов, остановилась и говорит: «Ну, до свидания. Спасибо, что не посчитали за труд проводить. Теперь я сама дойду». А я стою и молчу. Говорила, что далеко живет, а мы и квартала не успели пройти. Подал я ей руку и несмело так спрашиваю: «Когда же теперь мы встретимся?» «Наверно, никогда,— говорит.— Я завтра уезжаю. Спокойной ночи». И ушла. А я всю ночь провалился на койке, никак не мог уснуть. До того было обидно, до того досадно, до того горько, передать не могу.

— Да, брат, неприятная штука,— согласился Кремнев, положил потухшую папиросу в пепельницу и спросил: — И какой же ты сделал для себя вывод?

— Вывод один: надо учиться. И знаете что, Степан Петрович? Тогда я на нее долго злился. А вот теперь, если бы встретил, пожал бы ей руку и сказал: «Спасибо вам, что помогли мне понять, что надо мне делать». После того случая я взялся за ум и к концу службы сдал за десятилетку. А сейчас хочу поступать в заочный институт.

— Вот это одобряю,— с удовольствием отозвался Кремнев.— И в какой же институт поступать хочешь?

— В рыбный. Это дело мне ближе всего.

— Тоже правильно. Практика — великое дело. А у тебя она богатая. Вот ты мне что скажи. Не совсем мне понятно с этим незаконником. Его определенный процент допускается ловить? — спросил Кремнев, возвращаясь к возникшему конфликту.

— Конечно. Восемь процентов к сортовой рыбе,— с готовностью отвечал Илья.— Поэтому и сети разрешаются не всякие. Конечно, ловить сороковками или еще более частыми сетями нельзя, погубишь весь молодник. А полусоткой можно. Это я проверил на практике. Но инспектор ничего не хочет слушать... Он думает, что я тайком сбываю пойманный незаконник на сторону. А мне и не снилось мошенничать. Правда, подлещика в полусотки попадает больше, чем в шестидесятки. Но и сортовой рыбы больше, и процент прилова почти такой же, а иногда и меньше.

— Значит, подозрения инспектора неосновательны?

Илья, словно чего-то застеснявшись, ответил, глядя в пол:

— Думать-то он так, конечно, может, потому что среди ловцов всякие есть люди. Может, кто и сороковкой ловит. Тут дело совести... А у меня с ним узелок завязался, вот он и...

Илья откровенно поведал Кремневу о своих чувствах к Дусе и о том, как осложнились из-за этого его отношения с инспектором.

— Ничего не скажешь,— вздохнул Кремнев.— Узелок ты действительно завязал морской... И как развязывать думаешь?

Щеки Ильи порозовели, ладонью он разглаживал бархат на диване. Потом решительно поднял голову и, глядя на Кремнева загоревшимися глазами, ответил:

— Говорю вам, как родному отцу, Степан Петрович. Будь этот инспектор честным человеком, я нашел бы в себе силы отойти от Дуси. А такого, как этот...— Он недоговорил, сжал кулак и с силой ударил им по дивану.

— Видно, крепко он тебе насолил,— отозвался Кремнев.

— Не в этом дело, Степан Петрович. Ведь он же инспектор, представитель «Рыбаксоюза». Кроме него, из городских у нас почти никто не бывает. Он же все видит. Будь на его месте настоящий человек, эти инструкции давно бы пересмотрены были и озеро очищено от зацепов. А этот... Разве этот думает, как помочь людям? Подлая и корыстная душонка у него, вот что!

Илья налил из графина воды в стакан, выпил и заговорил спокойнее:

— Знаете, Степан Петрович, я теперь все чаще думаю: не из-за него ли погиб мой ловец?

— Это Колосков, что ли? — насторожился Кремнев.

— Да. Понимаете, нас опрокинуло. Сначала я думал, что просто не выдержала веревка, соединявшая конец сети с соймой. Но потом мы обнаружили, что на этой веревке кто-то сделал ножом надрез. Поэтому она и лопнула.

— Вот как?! — Кремнев выпрямился.— Значит, тут не паруса виноваты?

— Да нет! Паруса мы высмолили потому, что они износились, плохо стали тянуть. Иначе бы их заменять надо было. А так они еще послужат.

— Селезневой ты об этом не говорил?

— Говорил. Но она заявила: если бы это было установлено следствием, тогда другое дело. А так говорить что угодно можно.

— Тут действительно подлостью пахнет,— задумчиво проговорил Кремнев.— Ну, ничего, разберемся...

Илья взглянул на часы и встал.

— Мне пора на пароход, Степан Петрович. Спасибо вам за все. Никогда не забуду.

Кремнев взял с этажерки «Историю средних веков», отдал Илье и, прощаясь, сказал, положив на плечо гостя руку:

— Не волнуйся. Распутаем узелок. В чем виноват, оправдывать не станем, но и собак вешать на тебя не позволим. Поезжай и спокойно работай.

Чем ближе знакомился Кремнев с Ильей Сомовым, тем глубже раскрывалась перед ним жизнь и борьба людей в рыболовецком колхозе. Он уведомил секретаря райкома партии, что хочет лично съездить в колхоз, непосредственно поговорить с народом и с местными руководителями и помочь райкому принять единственно правильное решение.

Однако, получив согласие Белова, Кремнев сразу в колхоз не поехал. Его заинтересовал Шишов. Перечитывая написанную им статью, Кремнев заподозрил, что эта статья была специально организована для того, чтобы подстегнуть руководителей колхоза и ускорить расправу над Сомовым. Теперь, после разбора дела Сомова на бюро райкома и после откровенного разговора с Ильей, Кремневу было совершенно ясно, что никакого хищничества со стороны Сомова не было и обвинение основано на желании обвинить, а не на объективных фактах. Шишов даже

не пытался в своей статье разобраться в конфликте между Блохиным и Сомовым, а огульно оправдывал действия Блохина и так же огульно требовал наказания Сомова. Подозрительным было и то, что, как рассказал Кремневу Илья, в колхозе кто-то распространил слух, будто Илья написал в газету анонимное клеветническое письмо на Жилина и Блохина. Кремнев выяснил, что никакого письма Илья не писал и не посылал. Все это и заставило Кремнева, прежде чем отправиться в колхоз, повидаться с Шишовым. Он переговорил по телефону с редактором газеты и попросил его отпустить Шишова на часик в райком для выяснения некоторых вопросов.

Шишов не замедлил явиться. Он знал, что в райкоме недавно разбиралось дело Сомова, и догадывался, по какому поводу его пригласил Кремнев. И хотя его точил червь беспокойства, внешне он старался этого беспокойства не показывать.

— Товарищ Шишов, я хочу поговорить с вами о вашей статье,— сразу же начал Кремнев, пригласив гостя сесть.

— Какой статье?

— Вот этой статье,— Кремнев положил перед ним газету.— Вы помните, что в ней написано?

— Да, конечно. Я по этому вопросу специально выезжал в колхоз и знакомился с материалом на месте.

— Значит, все, что здесь написано...

— Соответствует действительности,— закончил Шишов начатую Кремневым фразу. Он говорил твердо, и со стороны можно было подумать, что он абсолютно убежден в правильности своего заключения.

Кремнев молчал, разглядывал дату на газетном листе, потом поинтересовался:

— Вы с Блохиным давно знакомы?

— С детства. Даже учились в одной школе,— ответил Шишов и рассказал, как они чуть не утонули в полынье.

— Да-а, купаться в такую пору приятности мало,— заметно повеселев, сказал Кремнев.— Значит, вы не вылезли, а и его в полынье втащили? Это бывает.— И, согнав с лица веселость, добавил:— А мне вот кажется, что в деле с Сомовым не вы Блохина, а он вас втащил в полынье. Да, да, товарищ Шишов.— Кремнев внимательно посмотрел на журналиста и заметил в его глазах испуг.— Вы говорите, что ваша статья соответствует действительному положению вещей? Давайте посмотрим.

Взяв газету, Кремнев начал читать:

— «В колхозе «Маяк»,— пишете вы,— идет массовое уничтожение молоди рыбы. Почти все ловцы тайком от инспекторского надзора ловят незаконными сетями и сбывают выловленный молодой судак и подлещик на стороне. Инициатором этого беззакония явился Илья Сомов...» И дальше вы требуете сурово наказать Сомова как браконьера и злостного нарушителя государственных законов. Так? Ну, вот. Теперь давайте разберемся, что здесь правда и что ложь. Правда то, что Илья и другие ловцы действительно пользовались запрещенными сетями. Но ведь вы же корреспондент газеты, человек пытливей. Вы должны были поинтересоваться, почему ловцы не хотят ловить шестидесятками. Что их заставляет применять запрещенные сети.

— Рыбы больше попадает,— ответил Шишов, все еще стараясь сохранить уверенность, хотя голос его заметно ослаб.

— По-вашему, это хорошо или плохо?

— С одной стороны, хорошо, а с другой — плохо. Молодника много губится,— слово в слово повторил он то, что говорил ему Жилин.

— А как много?

Шишов растерянно передернул плечами и долго не мог найти нужного ответа.

— По инструкции,— сказал Кремнев,— прилова допускается восемь процентов. Вы были в колхозе. Вы видели, чтобы Сомов привозил молодника больше нормы?

— Нет. Но-о... Он мог его сбить на сторону.

— А у вас есть доказательства, что Сомов сбывал молодник на сторону?

— Так ведь Блохин знает. Он инспектор «Рыбаксоюза».

— Ах, Блохин!..— поморщился Кремнев и посмотрел на Шишова так, что тот не знал, куда глаза девать.— Вот видите, вы обвинили человека в преступлении, не зная, виноват он или нет. Вот и выходит, что на этот раз Блохин втащил вас в полынью.

Они помолчали, и молчание это было тягостным.

— Вы совершили преступление, товарищ Шишов. Да, да, самое настоящее преступление,— снова заговорил Кремнев.— Вы по долгу журналиста обязаны были разобраться в создавшемся конфликте и помочь ловцам добиться пересмотра ошибочной инструкции. Это ваш долг. Вы корреспондент и поступать иначе не имеете права. Теперь вы сами знаете, что вам грозит...

Шишов сидел, глубоко задумавшись, грустный и несчастный. Он не знал, что ему сказать в свое оправдание.

Кремнев достал папиросы, предложил Шишову и, закури~~в~~ сам, сказал:

— Может быть, вы расскажете, что побудило вас написать такую статью? А? Ведь из полыньи-то вам выбираться как-то надо?

Надеясь, что, может быть, это облегчит его положение, Шишов решил рассказать все, как было.

А было так. Обедая с Шишовым в ресторане, Блохин заговорил о своих столкновениях с Сомовым, изображая себя борцом за советскую законность и скрывая от Шишова истинное положение дела.

— Не знаю, что и делать с этим матросом. Ни штрафы на него не действуют, ни внушения. Ловит запрещенными сетями, и хоть кол на голове теши.

— Что ж не напишешь в газету?

Блохин сказал притворно:

— Какой из меня писатель? Я практик. А дельная статья в газете мне здорово бы помогла. Откровенно говоря, я и пришел к тебе за помощью и советом. Государственные интересы страдают. Этого браконьера надо стукнуть так, чтобы другим неповадно было.

— Что ж, давай материал. Поможем.

Блохин наклонился к приятелю, сказал тихо:

— Я думаю, надо сделать так: приезжай к нам, скажем, двадцать восьмого. А я к тому времени подготовлю материал. Только приезжай, конечно, сам. Ты в курсе дела. Да и посидим вечерок на вольном воздухе.

— Ну, что ж, приеду. Борьба с браконьерством — дело святое.

Выслушав Шишова, Кремнев сказал:

— Сами видите, как легко можно сделаться орудием в руках ловкача. За откровенность спасибо, товарищ Шишов. Она дает основание надеяться, что в будущем вы будете осмотрительнее, умнее. А какое вы должны понести взыскание за статью, решит ваша партийная организация.

Колхоз «Маяк», как и многие другие колхозы, расположенные на берегу Ильмень-озера, был хозяйством смешанным. Здесь не только ловили рыбу, хотя это считалось главным промыслом, но и выращивали сельскохозяйственные культуры. На всех прилегающих к озеру низинах, куда весной заходила вода, летом буйно курчавилась капуста, краснели

полосы свеклы. И только старые, непригодные соймы, заброшенные сюда полой водой, чернели, как трупы среди полей, дожидаясь, когда же хозяева удосудятся убрать их. За деревней, на серопесках, росла картошка, голубели полосы льна, небольшими островками поднималась зеленая рожь. А ближе к лесу, там, где начинался редкий кустарник, росли высокие травы и пахучие ягодники. И хотя все это было такое же богатство, как рыба, мужчин здесь почти не видно. На полях и покосах работали главным образом женщины, да и то не все. Каждый раз перед уборкой или перед покосом, а часто и во время уборки приходилось собирать народ и, как говорил Жилин, «накачивать», «вправлять мозги».

Вот такое собрание и было назначено Жилиным на один из теплых летних вечеров. На траве возле правления колхоза стояли вынесенные из дома стол и два стула. Начинаясь сенокос, и надо было всех людей, не занятых на ловле, мобилизовать на косьбу и уборку сена. Ходили и стучали в окна, но собралось только около десяти человек. Скрипун, Игнат Кустов и трое плотников во главе с дедом Петуховым сидели на траве и покуривали. Дуся, Клава и Наташа в сторонке разговаривали с избачом. А на завалинке устроились две старухи — Дарья Сомова и большеносая Флотчиха.

— Видно, не соберется народ,— сказал Скрипун и повернулся к молоденькому плотнику: — Объявлял-то хорошо?

— В каждое окно стучал,— ответил плотник.

Да, он стучал в каждое окно и даже не раз бегал, а люди не шли. И это не впервой. Дарья Сомова и Флотчиха поглядывали неласково. Насупился Скрипун. А Игнат Кустов беззаботно играл с плотником в ножички и на слова Скрипуна отзывался весело и голосисто:

— С нашим народом только кутью хлебать. Верно, бабушки?

— Так ведь каков поп, таков и приход,— отзывалась Флотчиха.— Прок от этих собраниев нет, вот и не идут.

Игнату не терпелось подразнить Флотчиху. Он сказал с напускной строгостью:

— Как это проку нет?

— А так,— сердито отвечала старуха.— В прошлом годе косили, а сена никто не видал. Каждому для своей коровы покупать пришлось.

— Колхозный скот кормили.

— Колхозный-то кормили, да только неизвестно, кто от колхозного скота молоко хлебал.

Это еще больше раззадорило Игната, и он все с той же напускной строгостью пугнул:

— Ты, бабка, контрреволюцию не разводи. А то, знаешь, что за такие слова бывает?

— Какая ж тут контрреволюция?—голосисто отзывалась Флотчиха.— Ты молоко хлебал?

— Хлебал,— с готовностью ответил он, стараясь обезоружить старуху.— А как же!

Но одолеть Флотчиху не так-то просто.

— Ну, вот! — воскликнула она.— Косить тебя не было, а на молоко ты первый. Ишь, рожа-то треснет, гляди! Вот у нас и все так: сват да брат, а кто работает, тому нет ничего...

Вероятно, долго бы еще продолжалась эта перебранка: на лице Скрипуна разошлись морщинки, а дед Петухов, посмеиваясь в бороду, чесал за ухом. Но пришел Жилин, и Игнат замолчал. Председатель спросил, хорошо ли оповещали, и, убедившись, что люди просто не хотят идти на собрание, приказал:

— Тогда вот что, Кузьма Ефимыч. Снимай ловцов на косьбу, и вся недолга.

Скрипун сразу помрачнел. Столько в колхозе не занятых на ловле людей, а на косьбу снимай ловцов! Разве это по-хозяйски? Да и «Рыбаксоюз» за это по голове не погладит. «Нет, так не пойдет»,— решил он и глухо прогудел:

— Не имею права.

— Право — это дело наше,— сказал Жилин. Но тут в поддержку Скрипуну выступила Дуся.

— Ловцов трогать нельзя,— заявила она.— «Рыбаксоюз» не разрешит.

— Ну, ты помолчи,— повысил голос Жилин. Но Дуся не унималась:

— И без ловцов есть кому косить. А ловцы должны свой план выполнять.

— Поучи, поучи отца.

— Я не учу, а говорю, потому что это неправильно.

Жилин не привык менять своих решений. Здесь он хозяин. И он повторил, не обращая внимания на слова дочери:

— Делай, Кузьма Ефимыч, что я говорю. Снимай ловцов на косьбу.

— Нет, Семен Алексеевич, не могу,— решительно заявил Скрипун.— Не угоден я, можешь ставить другого бригадира, а ловцов снимать не буду.

— Ладно! — с угрозой в голосе проговорил Жилин, видя, что Скрипуна ему на этот раз не сломить. И повернулся к Дусе: — А ты, дочка, ступай домой. Слышишь?

— Слышу,— строптиво ответила она и крикнула девушкам: — Пойдемте в рощу! Дома-то у нас опять этот инспектор сидит. Надоел до черта!..

Домой Дуся пришла ночью. В передней комнате горела над столом керосиновая лампа. Отец и Блохин выпивали. Мать ушла спать: летом она спала в чулане. Дуся вошла несмело, ждала, что отец сейчас обрушится на нее с ругательствами. Но ничего этого не случилось. Наоборот, Жилин весь просветлел при ее появлении.

— Вот и дочка! Садись-ка, посиди с нами за компанию.

Дуся скинула косынку и, отходя к шкафу, проронила:

— Ну да. Может, и вино еще с вами пить?

— А что ж, рюмочку можно выпить,— добродушно сказал Жилин.— Ты человек взрослый. Садись вот рядом с Виктором Васильевичем, да за ваше счастье давайте и выпьем.

— Конечно! — ответила Дуся, вешая в шкаф жакетку.— Тебе бы только выпить.

— Садись, а поговорим потом.

— Мне спать пора.

— Успеешь. Садись.

Чтобы отвязаться от них, Дуся поправила на платье пояс и на минутку присела.

— Не сердитесь, Дусенька,— вкрадчиво сказал Блохин.— Дурного в этом ничего нет. Мы люди свои.

Его елейный голос и масляная улыбка не вызывали теперь в ней ничего, кроме раздражения.

— Вы зря, Виктор Васильевич, устраиваете у нас эти попойки,— сказала она, краснея от злости.— И этот пододец ваш: себе-то рюмочку, а отцу полный стакан. Разве не вижу? А тебе, отец, я уже говорила: никакой у нас свадьбы не будет. И вам, Виктор Васильевич, пора это понять.

— Будет! — Жилин грохнул кулаком по столу.— Я говорю: будет. Или опять Сомов в голове?

— Сомова вы не путайте.

— А раз так, то и толковать нечего. Пей бери, и вся недолга.

— Не буду я пить.
— Я тебе отец или нет?
— Пьяный ты, отец. Завтра поговорим. А сейчас прощайте,— сказала Дуся, встала и вышла из комнаты.

Жилин медведем полез из-за стола.

— Куда вы, Семен Алексеич? Не надо, не ходите,— загородил ему дорогу Блохин.

— Я сейчас ей покажу, какой я пьяный! Давно веревки не пробовала!.. Волю взяла!..

— Не надо, Семен Алексеич. Я сам с ней поговорю. Садитесь. Давайте лучше выпьем.

Жилин взглянул на Блохина, покачнулся.

— Сам? Ну, говори сам,— вдруг согласился он.— Говоришь, говоришь, а толку с твоего разговора нет. Мужик, а хуже бабы. С девкой совладать не можешь. Наливай!..

Дуся захватила с собой простыню, подушку, легкое одеяло и ушла на сеновал. «И когда это кончится? — думала она, укладываясь на хрустящее сено.— Хоть из дому уходи. И где только мои глаза раньше были? Еще замуж за такого угря соглашалась идти. Господи, вот дура-то!» На сеновале было тихо и темно. Горьковатый запах щекотал горло. По крыше кто-то тихо ходил, должно быть, кошка. Дуся лежала на спине, прислушивалась к мягким шагам на крыше и смотрела в обступившую ее темноту. Постепенно глаза привыкли, она стала различать и стояк-подпорку, и натянутую веревку, и грабли под крышей, и косые голубоватые полосы лунного света, сочившегося сквозь щели...

Едва Дуся задремала, как кто-то коснулся ее ноги. Она вздрогнула, открыла глаза и испугалась. У ее ног стоял Блохин. Отползая от него, она села, прижалась спиной к стояку, подобрала ноги и обхватила их руками. Блохин шагнул ближе и качнулся. Дуся сжалась в комок.

— Что вам надо? Зачем вы пришли? Уходите! — гневно сказала она.

Блохин проговорил нетвердо:

— Я пришел сказать вам, Дусенька, вот что: довольно. Понимаете? Довольно разыгрывать эту комедию. Вот и все. И вся недолга, как говорит ваш отец.

Дуся похолодела.

— Вы что, с ума сошли?

— Нет, Дусенька, нет... Подвинься-ка...

Но договорить он не успел. Она взвизгнула и с такою силой ударила его ногой в живот, что он с грохотом полетел с сеновала.

— Вот тебе, гадина! — крикнула она и вскочила. От испуга и от нервного потрясения руки у нее дрожали. Снизу, куда провалился Блохин, не доносилось ни звука, и Дуся решила, что он разбился насмерть. «Что теперь будет?!» — обожгла ее мысль. Не зная, что делать, она сгребла свои вещи, осторожно спустилась с сеновала, вошла к матери в чулан, упала на постель, и плечи ее затряслись в беззвучном плаче...

24

За одну эту ночь Жилин сильно осунулся и потемнел лицом. Его охватил страх. Блохина увезли в больницу с окровавленной головой и без сознания. Если Блохин умрет, начнется следствие, и тут не сдобровать ни ему, ни дочери. Не спали и мать с Дусей. Беда казалась неминуемой. Но вернулся шофер и сообщил, что Блохин пришел в сознание и будет жить. От сердца отлегло.

Утром пришел Маслов и, взглянув на председателя, сказал:

— Нездоровится, что ли? Или с похмелья так?

Жилин вяло махнул рукой, хрипло ответил:

— Тут, брат, такие дела, что не до похмелья... Как там, в райкоме, с Сомовым прикончили?

Маслов не скрывал тревоги. Он коротко рассказал Жилину положение дел и предупредил:

— Готовься к ревизии. Обследовать будут, должно, основательно. Инспектору дай знать. Его тоже коснется.

— Его предупреждать не к чему. Он в больнице: либо будет жив, либо нет.

— Ну? А что случилось?

— Дурак. К дочке на сеновал полез. Ну, оборвался да головой об кадку.

— Когда ж это?

— Вчера.

— Живой?

— Пока живой... Ночью отвезли... Дурак....

Они помолчали.

— Н-да-а! — растерянно протянул Маслов.

— Только не болтай лишнего, шурин. Понял? Разбился, и бог с ним. Пришлют другого, и вся недолга.— Вынув кисет, Жилин уже мягче добавил:— Тут вот со Скрипуном не знаю, что делать...

Но это была неправда. Жилин давно искал случая снять Скрипуна с бригадиров. Он боялся роста авторитета Кузьмы Ефимовича в народе. Сегодня бригадир, а завтра, глядишь, уже в председатели станет метить. Последнее выступление Скрипуна в парторганизации убедило Жилина, что терять времени больше нельзя.

А Скрипун в это время шел с Ильей по улице и, как всегда, басил:

— Спелись, больше ничего. Недаром эта инструкторша с ловцами даже словом не перекинулась... Ну, може, Кремнев разберется. Человек он, слышать, самостоятельный.

Они вышли на открытый косогор. Озеро расстилалось перед ними, и паруса разбегались в разные стороны. Ветер дул от берега; соймы, возвращаясь домой, ходили галсами, или, как говорят рыбаки, роились против ветра.

— Надо, Кузьма Ефимыч, на моторные соймы переходить,— сказал Илья.— А то сплошь да рядом приходится таким вот манером домой добираться. Времени сколько уходит! А на моторках и на ветер не надо глядеть. Лови в любое время и в любом месте.

— Пробовали,— отозвался Скрипун.— Летошный год с Онеги две моторки привозили, да расчету нет.

— Почему?

— Шумят сильно. А озеро мелкое. Вся рыба разбегается, ничего не попадает. Меньше, чем на «плывунах», привозили. А расход большой.

К ним подошел белоголовый мальчик, протянул Скрипуну свернутую записочку.

— Председатель велел передать,— сказал он.

Скрипун развернул, прочитал и опять свернул.

— Ну, во-от,— как-то грустно вздохнул он.— Стало быть, надо идти сдавать дела. Не бригадир я больше.

Скрипун, сторбившись, пошел к деревне...

К вечеру в устье речки, где купались двое мальчишек, вошел белый катер. Из него вышли высокий и плечистый Кремнев и представитель «Рыбаксоюза» Глазов, мужчина средних лет, с черной бородкой. Оба в кителях и белых фуражках. Ребята тут же подбежали к приехавшим.

— Ну, что скажете, молодые люди? — шутливо обратился к ним Кремнев.

— А ничего,— бойко ответил старший.— Вы к кому, к председателю? Так он на покосе. И все ловцы на покосе.

— А когда же они на озеро поедут? — спросил Глазов.

— Они же поедут, пока не кончится покос. Председатель так приказал.

— Да?

— Ага.

— Ну, ладно,— сказал Кремнев,— а где живет Илья Сомов, вы не покажете нам?

— Покажем. Только он тоже на покосе...

Дарья Сомова несла молоко в подойнике, когда во двор вошли Кремнев и Глазов. Увидев городских людей в форменных пиджаках и фуражках, она так испугалась, что подойник выпал из рук и молоко вылилось ей на ноги, белым ручейком потекло по земле. Гости в замешательстве остановились.

— Извините, пожалуйста,— виновато сказал Кремнев.— Вот как нехорошо получилось... Вы мать Ильи Сомова?

— Да-а,— через силу ответила Дарья.

Кремнев подошел и поднял подойник.

— Простите нас, что мы наделали вам убытку. И давайте познакомимся. Я Кремнев, начальник новгородской пристани, знаю вашего Илью и приехал посмотреть, как вы живете. А это товарищ Глазов из «Рыбак-союза». Очень хороший человек.

— Господи! — вздохнула Дарья, умиленно глядя на Кремнева.— Так это вы и есть Степан Петрович?

— Совершенно верно. Значит, Илья говорил обо мне?

— Да как же, батюшка! Отца родного так не вспоминает, как вас!.. Ах ты, головушка моя! Что я наделала-то! Уж вы извините меня, старую... Илью-то все посадить грозятся, вот я и спужалась, думала, за ним идут... Ну, пойдемте, что ж я... Ведь вы с дороги...

26

Новые вести не лежат на месте. Не успели Кремнев и Глазов войти в дом Ильи Сомова, а весть об их приезде уже долетела до леса, где среди зеленых шапок кустарника, освещенные вечерним солнцем, белели рубахи косцов да виднелись разноцветные платки женщин, перетряхивавших граблями разостланное сено. Кто бывал на сенокосе, тот знает, как пьяны запахи цветов и трав, как привольно дышится там человеку, как весело посвистывают косы. Любил помахать косой и Жилин. Вот и теперь, сняв фуражку, пояс, расстегнув ворот рубахи, он раз за разом взмахивал косой и валил высокую траву, оставляя позади себя широченное прокосье. Работал он самозабвенно. Казалось, ничто не может оторвать его от этого занятия. Но как только прибежавшие мальчишки рассказали, что к Илье Сомову приехали «какие-то большие начальники, оба в кителях с ясными пуговицами и в белых фуражках», Жилин тут же воткнул косу в землю, подошел к Маслову и, утираясь рукавом рубахи, озабоченно спросил:

— Как думаешь, это не из райкома?

— Похоже, что так,— ответил Маслов, вытер косу травой, достал оселок и, приготовившись точить, посоветовал: — Тебе идти к ним надо. Мы здесь добьем.

— Я и сам так думаю,— согласился Жилин.— Сомова отпустишь, если попросится. Да скоро и шабаш. Я пошел.

Маслов начал точить косу, и она звонко запела. А Жилин надел

пиджак, но застегиваться не стал — жарко, взял в руку фуражку и по прокосьям, по ягодику пошел к дороге, раздумывая, как ему лучше держаться с приезжими.

Когда он узнал от Маслова, что скоро в колхоз пожалует начальство, он подумал: «Пускай себе едут. Промашки не дам». По своему опыту он знал, что если начальство встретить как следует да в соответствии с моментом свежей рыбки подбросить, то и крапива за цветы сойдет. Но на этот раз Семен Алексеевич не мог освободиться от беспоконного чувства. Он не мог понять, почему областное начальство, появившись в колхозе, сразу проследовало не к нему, председателю, а к Сомову. Такого еще не бывало.

«Уж не Кремнев ли этот приехал? — размышлял он, шагая по скошенной траве и размахивая зажатой в руке фуражкой. — Он и есть. Фуражка да китель». Раньше Жилин Кремнева не встречал, но слышал, что и на реке и в райкоме его побаиваются. Да и Маслов говорил, что Кремнев ему «всю обедню испортил»... Вот это и беспокоило. Вдруг начнет копать? Конечно, особо бояться нечего. И в бухгалтерии и на рыбозаводе у него все в ажуре. И с Сомовым дело ясное. Вот только с инспектором неладно получилось да Скрипуна снял некстати. Подождать бы. Ну, да теперь что ж... «Ладно, поглядим, что за птица, — уже с раздражением думал он о Кремневе, — нас тоже голыми руками не возьмешь... А может, авторитет себе набивает, ждет, когда его пригласят? И так может быть. Сколько угодно. У каждого свой нор, своя политика».

Придя домой, Жилин кинул фуражку на стул и хмуро сказал жене:

— Приготовь-ка закуску да приберись маленько. Начальство приехало. Надо в гости ждать.

— Да они, говорят, к Сомову пошли, — ответила озабоченная Варвара. — Видно, не с добром к тебе приехали.

— Ну, это не твоего ума дело! Ты готовь закуску да причешишь маленько. Что ходишь, как ворона?

— Господи! — вздохнула Варвара. — И сказать нельзя... Чего ж приготовить-то: мяса аль рыбы?

— Давай всякого. Да пошевеливайся и помолчи.

Он надел сатиновую рубаху, обулся в легкие сапоги и пошел в лавку купить что-нибудь к столу.

А когда вернулся домой, остолбенел. Жизнь часто преподносит нам именно то, чего мы совсем не ждем. В комнате был гость, но другой, не Кремнев.

Посреди комнаты стоял участковый милиционер с таким выражением лица, которое говорило: «Извините, мне самому неприятно, но я должен выполнить приказ». Дуся, одетая в осеннее пальто и повязанная платком, готовила для себя узелок. Убитая горем мать сидела у стола и беззвучно плакала.

— Что тут такое? — с трудом выговорил Жилин.

— Ничего особенного, товарищ председатель, — ответил милиционер. — Приказано доставить вашу дочь в районное отделение. Вот документ.

— Это за что ж? — дрогнувшим голосом спросил отец.

— Не могу знать. Наше дело маленькое... Ну, готовы, гражданка Жилина?

— Погодите, — решительно заявил Жилин. — Я сам с ней поеду. И сам с начальником поговорю.

— Пожалуйста, дело ваше, — согласился милиционер. — Очень даже хорошо для вас и для вашей дочери. Там сразу все и выясните. Может, отпустят. Всяко бывает.

Жилин поставил купленную бутылку в буфет и стал одеваться.

Дуся взяла узелок, подошла к матери. Обхватив руками дочь, мать заголосила, как по мертвой.

— Ну, чего завывала? — сердито крикнул на нее Жилин. — Из ума выжила, что ль? Замолчи! Мы скоро вернемся. Пойдем, дочка...

27

Поездка Жилина в район успеха не имела, и он вернулся домой один. Единственным утешением было заверение начальника, что долго Дусю держать не будут. Но раз есть распоряжение прокурора, то на время расследования они обязаны взять ее под стражу. Причина ареста — падение Блохина с сеновала. Но кто возбудил дело, Жилин разгадать не мог. Ему казалось, что сам Блохин не мог этого сделать. По всему видно, что он любит Дусю, да и знает хорошо, что она не виновата.

Но Жилин плохо знал Блохина. Дело возбудил именно он. Убедившись окончательно, что все планы его рухнули, Блохин обозлился и решил мстить. И Дусе и Сомову. Как только силы вернулись к нему, он попросил чернил и бумагу и написал прокурору заявление. В нем говорилось, что Евдокия Семеновна Жилина, связавшись с Ильей Сомовым и попав под его пагубное влияние, систематически прикрывала браконьерство своего любовника, не показывала полностью выловленный им незаконник и тем самым помогала сбывать его на сторону. «А когда я, как инспектор рыбнадзора, вынужден был возбудить против браконьера Сомова судебное дело, Евдокия Жилина решила нанести мне удар из-за угла. Она затаилась на сеновале, где я спал. И поздно вечером, когда я поднимался по лестнице, ударила меня чем-то по голове, и я без сознания упал на ведра и кадки с четырехметровой высоты. Если бы я умер, то, вероятно, было бы сказано, что я оборвался с лестницы сам и разбился, ударившись головой об кадку. Но они просчитались. Я остался жив и требую, чтобы злодеи были наказаны по всей строгости закона».

Прокурор подписал дело к производству и дал санкцию на арест Дуси. Так милиционер появился в доме Жилина.

Но теперь, вернувшись из района, Жилин помаленьку успокоился. Хотя Дусю и взяли под стражу, но ненадолго. Отдохнув, освежившись сном, Жилин позавтракал и с утра отправился в правление. Мысли его снова завертелись вокруг приехавшего начальства. Теперь-то оно уж непременно пожалует. В правлении уже сидел Маслов. Жилин распорядился:

— Ты, шурин, ступай на покос, а я тут задержусь. Вчера начальство, видно, устало с дороги. Ну, а сегодня беспрерывно явится.

Маслов почесал за ухом.

— Что-то обходит нас начальство, — раздумчиво произнес он.

— Ну, еще поглядим. Не вовремя маленько они нагрязнули, да ничего не поделаешь. Оно всегда так. Как дело к худу, так... — И Жилин, не договорив, махнул рукой. Но Маслов понял. Он слышал, что арестовали Дусю, только расспрашивать не хотел. И сказал, будто судьба Дуси зависела от него:

— Ничего. Перемелется, мука будет... Ну, я пошел.

Не успели шаги Маслова затихнуть в сенях, как в правление вошла Фрося, душистая и принаряженная.

— Здравствуй, Семен Алексеевич! — ласково сказала она и огляделась по сторонам. — Тут никого нету?

— Никого. Садись.

Фрося осторожно, чтобы не помять синюю наглаженную юбку, села на стул, подтянула концы кремового платка.

— Что ж это ты уже третий день не заходишь? — певуче заговорила она. — Законной боишься, аль другая какая причина? Похудел-то как! Не заболел ли?

— Пока здоров,— хмуро ответил Жилин и, видя, что она расположилась надолго, поторопил:— Говори, Фросинья, если дело есть, и уходи. Некогда мне сейчас с тобой шуры-муры заводить. Начальство приехало, вот-вот сюда явится.

— Да пускай является,— весело отвечала Фрося.— Не съест меня твое начальство. Может, понравлюсь кому, раз ты не замечаешь.

— Не трепли языком! — с обычной грубоватостью прикрикнул Семен Алексеевич.— Не наряжаться, а работать надо. Берись за дело, чтобы мне за тебя глазами не моргать.

— Да ты, никак, и вправду испугался? — удивлялась Фрося, глядя на Жилина широко раскрытыми глазами.— Полно тебе! Твое начальство, милый мой, и само по бабьей части маху не дает. Уж я-то знаю вашего брата. Да и что тут плохого? Я вдова, и ты как председатель мне помогать должен. А до всего остального им дела нет. Приходи. У меня и наливочка заготовлена. Придешь?

— Опять ты за свое,— мягче сказал Жилин.— Я тебе о деле говорю, а ты...

— Какое ж ты мне дело хочешь дать? Рыбу ловить? Так я воды боюсь. Да и утонуть можно. А я еще пожить хочу. Мой бабий век еще не кончился.

И Фрося, прихорашиваясь, снова поправила платок и выставила вперед красивую туфельку. Но Жилин, казалось, ничего не замечал.

— Ловить я тебя не посылаю,— сказал он.— Иди на рыбзавод.

— На рыбзавод? — Фрося подняла брови.— Нет уж, под началом у твоей дочки я работать не буду. Не таковская я.

— Взять бы да выпороть тебя, Фросинья,— с какой-то безнадежностью проговорил Жилин.

Фрося выпрямилась и выставила грудь, показывая всем своим видом, что она не из тех женщин, которых можно выпороть.

— Это за что ж? — с достоинством сказала она.— Чем это я тебе не угодила? Принимала плохо аль угощала не так? Кажись, ничего не жалела... А под началом твоей дочки работать не хочу, мне мое понятие жизни не позволяет. Я свободу люблю, Семен Алексеевич.

— Вот и становись не под начало, а за главного. Дочка моя теперь неизвестно когда вернется. Вчера арестовали.

— Батюшки! — испугалась Фрося.— Да за что ж это?

Жилин глянул в окно, увидел идущих Кремнева и Глазова, поднялся со стула.

— Ну вот, идут... Уходи, Фросинья, другой раз поговорим. Уходи побыстрее...

— Да чего это ты меня гонишь-то? — обиделась она.— Или в самом деле боишься чего?

— Уходи, Фросинья! — раздраженно повторил Жилин.— Не до тебя сейчас. Ступай!..

— Да уйду, уйду, не бойся! — Голос ее вдруг стал холодным, отчужденным.— Думала коня попросить, да, видно, теперь уж пользы от тебя не будет.— Она встала и, горделиво неся свою красивую голову, вышла за дверь.

30

Когда Илье сказали, что у Хромого отнялись ноги, он только рукой махнул. У него, дескать, все не как у людей. Он даже не задумался, почему бы это могло случиться. Временно вместо Хромого ловить стала Наташа. Илья взял ее к себе на сойму, а своего напарника перевел к Никите. А тут прошел слух, что Хромой устроил скандал своей придурковатой тетке и та ухватом перебила ему здоровую ногу.

— Надо все-таки сходить, узнать, в чем дело,— однажды, разгова-

ривая с сестрой, сказал Илья.— А то как-то нехорошо получается. Больной он, нервный. Все от него отворачиваются. А разве он в этом виноват?

— Сходи, Илюша, и снеси ему чего-нибудь,— поддержала Наташа.— И правда, нехорошо забывать человека в беде.

И вот, вернувшись с покоса, Илья захватил с собой десяток яиц, баночку с маслом, пачку сахара, привезенного Наташей из города, и отправился навестить Хромого. Войдя в избу, он поморщился. В нос ударило какой-то кислятиной. Изюм всех углов смотрела запущенность, бедность. Стол черный, потолок черный, стены черные, и всюду полно тараканов, так и шуршат. Тетки дома не было. Афонька сидел на постели, возле печи, вытянув ноги и прикрыв их старым лоскутным одеялом. Он зачем-то расплетал конец веревки, свисавший с кровати до самого пола. Сидел Афонька сгорбившись, худой и бледный. Илье до боли стало жалко его.

— Здравствуй, Афанасий! — сказал он от порога.

При неожиданном появлении Ильи у Афоньки словно язык отнялся. Он долго смотрел на вошедшего, не говоря ни слова. Лицо его еще больше подтянулось, он стал похож на мальчика.

— Ты что ж, брат, всерьез заболел?

— Заболел,— грустно ответил Афонька, стараясь догадаться, зачем пришел Илья.

Гость осторожно положил вязаную сумочку на стол, взял табуретку, сел возле кровати.

— Что у тебя с ногами-то? Может, в больницу надо?

Участливый тон Ильи тронул Афоньку. Он как-то весь обмяк, опустил глаза.

— Я и сам не знаю, что,— проговорил он, перебирая худыми пальцами лоскутки одеяла. Потом поднял глаза и спросил: — А к тебе, говорят, из города приехали, расследовать будут?

И замолчал испуганно. Он был чем-то сильно обеспокоен. Илья понял его тревогу по-своему.

— Ты же сам знаешь,— со своей обычной прямою заговорил он,— разве мы сбывали когда-нибудь незаконник на сторону? Меня, брат, чуть из партии не исключили. Поседел, наверно, за это время. Ну, ничего, теперь разберутся. И тебе поправляться надо. Ты, Афанасий, не сердись на меня. Может, в горячке мы что и не так друг другу сказали. Так ведь в работе всякое бывает. Верь слову. Я от души хочу тебе помочь, потому и пришел. У тебя, наверно, и с питанием плохо?

Афонька слушал Илью, и в груди у него разрасталось что-то, что неудержимо рвалось на волю и никак не могло вырваться. Вдруг он заплакал, как ребенок, горько и беспомощно.

— Да что ты, Афанасий? — испугался Илья.— Успокойся. Поправьшься. Можешь быть уверен, мы тебя не бросим в беде.

— Я не об этом,— заговорил Афанасий, глотая слезы.— Дурак я... идиот... Так вот теперь и засохну.— Он помолчал, вытер слезы и грустно добавил: — Не будет мне теперь жизни. Так вот и засохну.

Илья с удивлением смотрел на Афоньку. Похоже, Хромого мучила не только болезнь, а и что-то еще, о чем он не договаривал. «Может, годный сидит?» — подумал Илья. Спросил:

— У тебя хлеб есть?

— Утром тетка давала.

— И с утра так и сидишь?

— Нету у нас больше. Она сама по людям кормится.

Илья встал, пошарил в столе и на полках, нашел полдесятка холодных вареных картофелин в миске. Больше ничего не было.

— А тетка где? — спросил он.

— Наверно, сегодня не придет. Поругались мы с ней. Ушла и хлеб,

какой был, с собой забрала. Она ведь ненормальная, ты знаешь. Другой раз по два дня не является. По деревням ходит.

Илья только головой покачал. Теперь, казалось, он понял, почему Афонька вдруг заплакал. Никто к Афоньке не ходил. Но в этом прежде всего он сам виноват. Как аукнется, так и откликнется. Друзей Афонька не заводил. Жил среди людей, как дикий гусь среди домашних: все особнячком. Вот и горько пришлось одному-то.

— Ладно, я сейчас вернусь,— сказал Илья и ушел.

Вернулся он через несколько минут, принес хлеба, намазал его маслом, взял два сырых яйца, соли, подошел к Афоньке.— Давай-ка, брат, поешь.— Он положил еду Афоньке на колени.— А я сейчас чаю сооружу.

От чувства своей вины перед Ильей и от чувства благодарности к нему — вспомнил, пришел, как первый друг — Афонька снова не удержался от слез.

— Ну, полно,— с непривычной стесненностью сказал Илья, испытывая досаду на себя за свое безразличное отношение к болезни Хромого.— Брось, Афанасий, ешь. Не знал я, что у тебя тут такое положение. Раньше надо бы зайти к тебе.

— Спасибо, Илья! Век не забуду!..— пробормотал Афонька, и вдруг его прорвало: — Дурак я.. идиот!.. Инспектора послушался... Федя погиб, и сам... Что мне теперь делать, Илья? Ведь я не думал, что так получится.

Илья стоял, как оглушенный. Покаянная речь Хромого была настолько для него неожиданна, что он долго не мог прийти в себя. Наконец собравшись с мыслями, спросил:

— Значит, это ты сделал надрез на веревке?

— Я..

И Хромой рассказал Илье, как Блохин, будучи вместе с ним в городе, угощал его вином, говорил, что скоро его назначат старшим инспектором и тогда он возьмет Хромого к себе в помощники, если только Хромой поможет ему опозорить Сомова перед народом, искупает его в озере вместе с высмоленными парусами.

— Я уже проклял тот день и тот час, когда согласился на вредительство. И заболел из-за этого. Как узнал, что Федя умер, у меня сразу ноги отнялись. Не думал я, что все так получится,— повторил он.

И они долго молчали, не глядя друг на друга, но думая об одном и том же.

Вошла тетка Хромого, как странница — с палкой и узелком: взглянула на Илью, недовольно сказала:

— Вот еще, шляются тут,— и стала развязывать платок.

Илья взялся за фуражку.

— Ну, что ж,— сказал он Хромому,— теперь прошлого не вернешь. Поправляйся, а там видно будет.

Беспокойство, которое испытывал Жилин в связи с приездом начальства, усиливалось тем, что Кремнев и Глазов начали знакомиться с делами колхоза, даже не показавшись на глаза председателю. Это, по мнению Жилина, было явным к нему неуважением, и Семен Алексеевич воспринял это как подкоп под его власть. Когда Фрося ушла, он озлобленно проворчал, глядя в окно на приближавшихся гостей: «Поглядим, что вы тут копаете, к чему приноживаетесь. Мы тоже не первый день на свете живем, понимаем, что к чему».

А гости вошли просто и в хорошем настроении. Бодро поздоровались, сняли фуражки. Глазова Жилину доводилось видеть и раньше, в «Рыбаксоюзе». А с Кремневым он встречался впервые.

— Как живете, товарищ председатель? — добродушно заговорил незнакомый гость, присаживаясь к свободному столу. — Здесь курить можно?

— Можно, — хмуро ответил Жилин.

Кремнев вынул бело-голубую коробку с папиросами, поинтересовался:

— Что-то у вас вид невеселый, Семен Алексеевич? Нездоровы, что ли?

— Не с чего веселиться, — все так же хмуро отвечал Жилин.

— Дела не веселят или гостям не рады?

— На дела не жалуемся... Говорите, с чем пришли...

Гости закурили. Кремнев предложил папиросу Жилину, тот отказался.

— Поговорить пришли, Семен Алексеевич, — сказал он, все еще надеясь, что Жилин сбавит спесь и поймет всю неуместность своего тона в деловом разговоре. Но Жилин тона не изменил.

— А зачем вам со мной говорить? — с нескрываемой озлобленностью отвечал он. — Говорите с другими.

Это начинало раздражать Кремнева.

— Та-ак! — построже сказал он. — Обижаетесь, что, приехав, мы не сразу пришли к вам?

Жилин, набычившись, шевельнул широкими ноздрями, глухо выронил:

— Это дело ваше... А хозяин тут все-таки я.

— Понятно, — сказал Кремнев, и в комнате повисла недобрая тишина.

— Степан Петрович, — вмешался Глазов, — по всему видно, товарищ Жилин не желает с нами разговаривать. Может быть, поговорим с секретарем партийной организации? Пусть он созывает открытое партийное собрание, и товарищ Жилин доложит собранию, как идут дела в колхозе. А мы послушаем.

— А что дела? — отозвался Жилин, видя, что разговор принимает серьезный оборот. — Мы план выполняем.

— План ловцы выполняют, Семен Алексеевич.

— А я, стало быть, тут ни при чем? Так ставьте на мое место другого. Хомут себе я всегда найду.

Кремнев постучал папиросой о пепельницу.

— Вот он как... — сказал он и так круто повернулся, что под ним заскрипел стул. — Нет, Семен Алексеевич, зря вы лезете в бутылку. Жизнь-го идет вперед. Двадцатый съезд был. По-новому начинать жить деревня. Подросли люди, и по-старому руководить ими нельзя... Вот примерно такое положение и у вас. Да и не только у вас. Есть, к сожалению, у нас еще руководители заскорузлые, не понимающие, что люди растут, совершенствуются, овладевают наукой и культурой. Партия требует от каждого руководителя, большого или маленького, руководства разумного, смелого, основанного на полном знании дела и уважении к человеку. Поняли вы это указание партии? К сожалению, нет. Ваше столкновение с Ильей Сомовым говорит о том, что вы по-прежнему руководствуетесь принципом: моя воля. То же и со Скрипуном. Всеми уважаемый человек в колхозе, а вы его сняли с бригадиров.

— А ежели он отказывается выполнять мои распоряжения? — возразил Жилин.

— Но ведь прав-то он, — вставил Глазов.

— По-вашему, он, а по-моему, я.

— Вот-вот. Это у вас главное: «я», — продолжал Кремнев. — Не председатель вы, а князек.

— Я работал, как умел. А не гожусь, — ставьте другого, и вся недолга, — сказал Жилин. Он сразу как-то весь обмяк.

— Это — дело членов колхоза, — продолжал Кремнев. — Они здесь хозяева. Они вас ставили, они вас и снимут, если надо будет. Но этим дело не кончится. Нет. С вас спросят за все: и за сотни сетей, что ловцы оставили на зацепах, и...

— А я тут при чем?

— Не позаботились убрать эти зацепы. И не только за материальный ущерб придется вам нести ответ, а и за произвол в отношении к людям. Спросим и с вас, и с вашего шурина, и с инспектора, деятельность которого, между прочим, заслуживает особого расследования.

— Он делал, что положено, — буркнул Жилин, перебирая бумаги.

— Да нет, Семен Алексеевич, не совсем так. Со временем вы узнаете, кто виноват в том, что погиб Федя Колосков, было ли сочинено на вас анонимное письмо и как было создано «дело» Сомова. Вы рассчитывали, что у вас будет надежный зять, и силой толкали к нему свою дочь. А этот прохвост, добываясь вашей дочери, ни с чем не считался...

Жилин медленно поднял глаза. На него словно столбняк нашел. И что-то мучительное, страдальческое было в его тяжелом взгляде.

32

Следователь Неверов сидел в своем кабинете за столом и просматривал дело Евдокии Жилиной. С виду это был нелюдимый, сухой человек. Казалось, что и душа у него такая же сухая, как и он сам. Но это было не так. Кто знал Неверова поближе, тому было известно, что если в деле он находил данные, позволявшие судить о невинности подсудимого, он никогда не пренебрегал ими, хотя это и не способствовало его служебной карьере. Дело Евдокии Жилиной сразу насторожило его. Заявление пострадавшего, инспектора Блохина, наталкивало на два вывода. И первый из них — за этим покушением стоит нечто более серьезное, нежели то, о чем пишет Блохин. В самом деле, Сомов пользовался незаконными сетями. Это подтверждается по всей форме составленными актами. Инспектор вел борьбу с Сомовым как с браконьером. Доказательств браконьерства в деле нет, но предположим, что следствие обнаружит доказательства. Сомов обозлен на инспектора. Это естественно. Что же делает Сомов? Он замышляет, ни больше и ни меньше, убить Блохина. Для осуществления злодейства он подговаривает Евдокию Жилину сбросить Блохина с лестницы. И здесь все неправдоподобно. Неправдоподобен избранный преступниками способ убийства, наивный и не сулящий верной удачи. Неправдоподобно и то, что Сомов, повинный только в нарушении инструкции, решается на убийство, то есть поступает, как законченный бандит.

Кто такой Сомов в прошлом? Хулиган, вор, правонарушитель? Нет, Сомов — трудовой парень, матрос, служивший с отличием и, по отзывам ловцов, опрошенных в ходе следствия, поставивший себе целью получить высшее образование.

Следовательно, либо за Сомовым стоит нечто большее, чем нарушение инструкций, либо... следует сделать второй вывод. А именно: заявление Блохина не больше, чем акт мелкой мести, и в этом надо разобратся.

Неверов позвонил и приказал привести Евдокию Жилину.

Дуся остановилась у порога. Следователь опустил конвоира и, указывая на маленький столик и стул, сказал:

— Садитесь, гражданка Жилина.

Сухой и угрюмый человек в больших очках испугал ее.

Чтобы дать Дусе немного успокоиться и освоиться с обстановкой, Неверов снял очки, тщательно протер стекла платком, потом не спеша надел их. Стараясь говорить мягко, он спросил:

— Вы знаете, в чем обвиняетесь?

— Знаю, — просто ответила Дуся.

— Ну, что же, хорошо, — следователь встал и подошел к девушке. — Вот вам бумага, ручка и чернила. Опишите все, ничего не скрывая.

— Что писать? — спросила Дуся, подняв на следователя глаза.

— Как и с какой целью вы сбросили инспектора рыбнадзора с лестницы и кто вас надоумил сделать это.

— Меня никто не надоумил, — сразу запротестовала Дуся. — Зачем он полез на сеновал? Я просила его добром уйти.

— Вот вы обо всем этом и напишите.

— А зачем писать? Я и так все расскажу.

— Вы только не волнуйтесь. У нас такой порядок. Нам нужны ваши собственноручные показания.

Неверов отошел к окну. Дуся склонилась над бумагой, обмакнула перо в чернильницу и тщательно, как школьница, вывела: «Собственноручные показания Жилиной Евдокии Семеновны...»

Писала она долго. А когда написала, следователь взял у нее показания, отошел к столу, сел и стал читать. Наблюдая за ним, Дуся силилась понять, верит он или не верит тому, что она написала. Ей трудно было это понять. Лицо следователя ничего не выражало — ни одной мысли, ни одного чувства. Затаив дыхание, Дуся ждала. Наконец следователь прочитал, положил показание на стол и протянул:

— Та-ак... Уж написали!

— Написала, как было, — горячо сказала Дуся.

Следователь перегнулся к Дусе через стол.

— Вы понимаете, гражданка Жилина? Если верить вам, то во всем виноват Блохин.

— Не я же! — крикнула Дуся.

— А он говорит другое. Кто же из вас прав?

— Врет он, змей!

Следователь помолчал, потом спросил внезапно:

— Скажите, какие у вас отношения с Ильей Сомовым?

— Какие ж отношения... обыкновенные.

— Точнее. Вы извините, но нам иногда приходится задавать вопросы не совсем... тактичные. Он ваш жених?

— Нет... — ответила Дуся и, опустив глаза, добавила: — Просто я... люблю его.

— Ага, — сказал следователь и начал записывать ее ответы. — И вы во всем доверяли ему?

— А зачем это вам? — вдруг насторожилась Дуся. — Может быть, вы думаете, что я столкнула инспектора по уговору с Ильей? Нет. Илья здесь ни при чем. Это сделала я сама.

И, торопясь, глотая слова, она рассказала ему все: и как по глупости соглашалась выйти за Блохина, и как приехал Илья, и как пытался ее запугивать Блохин, и как он теперь мстит Илье.

Записав показания Дуси, следователь встал и прошелся из угла в угол. Это сообщение Дуси проливало новый свет на дело. Ход дальнейшего расследования становился ему яснее, так же, как ясно было, что прокурор Кожин, вольно или невольно, поступил противозаконно, дав санкцию на арест Дуси без достаточных к тому оснований.

— Ну что же, Евдокия Семеновна, — сказал он, — дело это мы проверим и, надеюсь, никаких ошибок не допустим. Прочитайте ваши показания и, если они записаны верно, подпишите.

Дуся ждала решения своей участи. За эти несколько дней она побледнела и похудела. Большие глаза ее сделались еще больше. Когда в камере появлялся новый человек, она жадно прислушивалась к их рассказам: не говорят ли о ее родной деревне? Она боялась, не заболела ли мать: уж очень близко приняла она к сердцу свалившуюся на дочь беду.

Мать действительно заболела. Но это было не единственной худой вестью. Дуся узнала, что в колхоз приезжала комиссия, что было собрание и ее отца сняли с председателей. Верно говорят, что беда в одиночку сроду не ходит. Дусе было тем тяжелее, что она ничего не знала о судьбе Ильи. Как ей хотелось повидать его, поговорить с ним!

И вдруг ее вызвали на свидание. У Дуси даже голова закружилась. Выскочив из камеры, она, как шальная, пробежала по коридору и в комнате для свиданий увидела своих. Слезы брызнули у нее из глаз. Клава и Наташа кинулись к Дусе, а Илья и Никита, чуть в стороне, молча смотрели на обнимавшихся и плачущих девушек.

Наплакавшись вволю, девушки сели на скамейку, а Илья и Никита пристроились против них на табуретках. И начались жадные расспросы.

— Ой, как ты похудела-то!

— Не заболела ли?

— Нет. По вас иссохла. Да и не знаю, что дальше будет. Ночами не сплю, все думаю...

— Теперь не бойся, — успокаивала Клава. — Теперь тебе ничего не будет!..

— Точно! — подхватил Никита. — Ну, можа, принудиловки дадут, так это ерунда!..

— И принудиловки не дадут, за что? — не соглашалась Клава. — Не бойся, Дусенька. Теперь судить не тебя будут, а его. Такого паразита гнать надо взашей! Ты знаешь, ведь Федя из-за него погиб.

Глядя то на одного, то на другого, Дуся с жадностью ловила каждое слово; ей было стыдно перед Ильей за то, что еще недавно она считалась невестой Блохина. А Клава и Никита наперебой рассказывали все о новых подлостях Блохина, ставших известными не только в колхозе, но и в городе.

Когда они ушли, Дуся несколько секунд неотрывно смотрела в глаза Ильи, потом прижалась к его груди головой и заплакала. Ей нужно было выплакаться. А Илья гладил рукой ее плечи и волосы, выбившиеся из-под платка.



Сергей ВАСИЛЬЕВ

Из осенней тетради

(Доброй памяти ушедших)

Демьян Бедный

В тревожном сорок первом, в первый день войны,
я повстречался с ним нечаянно на Трубной.
Он двигался вразрез большой людской волны,
спокойный и могучий, как Иван Поддубный.

Он почему-то быстро шел по мостовой,
держа в одной руке измятую фуражку,
шагал широкою походкой деловой
в потертом кожане, надетом нараспашку.

Остановил меня.

Лукаво, как всегда,
прищурился, блеснул искусством острого слова:
откуда, мол, заплыв? Откуда и куда?
Затем, меняя тон, нахмурился сурово:
— Итак, война!

Беда!

На нас напали псы.
Ну, что ж, пускай пеняют на своих хозяев.
Придется бить по-русски! —

Глянул на часы
и поспешил вперед, в вечерней мгле растаяв...

Сквозь долгий вой сирен и рвущийся металл,
всем существом почуяв радостные сроки,
весь мир, любуясь, вскоре в «Правде» прочитал
простые, зрячие демьяновские строки:

«Пусть приняла борьба опасный оборот,
пусть немцы тешатся фашистскою химерой.
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
несокрушимою тысячелетней верой».

Промчался тяжких лет военный ураган.
Победы свет взглянул в лицо родному краю.
Но то, что в первый день войны сказал Демьян,
я и теперь нередко с жаром повторяю.

Аркадий Гайдар

Однажды с Аркадьем Гайдаром
в жестокий январский мороз
я ехал на «газике» старом
к ребятам на елку в колхоз.
Уже вечерело. Все туже,
как будто кому-то назло,
в упор подмосковная стужа
секла лобовое стекло.
Шофер нажимал на педали,
вперед молчаливо глядел.
А мы всю дорогу болтали
о буднях писательских дел.
Не помню всего разговора...
Но помню, что вдруг сквозь туман
на нашем пути у забора
возник беспризорный пацан.
В обутом на босую ногу
худых башмаках, без галош,
в дырявой фуфайке, ей-богу,
он был на сосульку похож.
Гайдар не раздумывал долго:
«Садитесь, Мороз-синий нос!
Пожалуйте с нами на елку,
но, чур, не просить папирос!»
Притих мальчуган на сиденье,
накрылся широкой полой.
А добрый Гайдар на мгновенье
задумчивый сделался, злой:
— Фамилия как?
— Горностаев.
— А кличка?
— А кличка «Капут».

Взбодрился мальчишка, оттаяв,
другим стал за сорок минут.
— Откуда сбежал?
— Из детдома.
— Родителей нету?
— Нэма...

На гребень крутого подъема
взлетела дороги тесьма,
свернула у старого дуба.
Блеснул электрический свет.
У прясла колхозного клуба
Гайдар приказал: — В сельсовет!

Колхозные власти не ждали,
признаться, подобных гостей.
Перечить, однако, не стали,
а вместо гостинцев-сластей
снабдили мочалкой Капута,
и вскоре чумазый Капут
с трудом был отмыт от мазута,
накормлен, одет и обут.
И стал до того симпатичным
и ласковым стал до того,
что с чувством тепла безграничным
смотрели мы все на него.
Эхма! Не имею я дара,
чтоб в точности вам описать
в тот миг ликование Гайдара,
готового петь и плясать.

Владимир Яхонтов

Вот она, последняя афиша,
мокрым ветром скрученная в жгут.
Голос Ваш все дальше,
глуше,
тише.

А поклонники еще стоят и ждут.
Как же так?

Талантом Вы богаты,
Вам бы жить да жить еще, а Вы...
Впрочем, судьи тут и адвокаты
не нужны затем, что не новы.
Не воротись окриком судейским
эту жизнь, ушедшую тайком,
этот пыл в союзе с чародейским,
богом данным, точным языком.
Как легко и верно Вы читали!
Так вели живого слова строй,
что его тончайшие детали
нам казались музыкой порой.
Вдохновенный,

сдержанный,
крылатый,
несравненный голос Ваш погас,
но остался отзвук — завсегда
в сердце тех, кто слушал Вас не раз.
Как же надо было Вам стараться,
как любить

рожденный в муках стих,
чтобы после смерти оказаться
среди нас, оставшихся в живых!



СТИХИ ЯКУТСКИХ ПОЭТОВ

МАКАРОВ — ДЖОН ДЖАНГЛЫ

Белошейка

Взревел «У-2», вздымая клубы снега,
Всем корпусом могучим задрожал.
И молодым собакам на потеху
По насту ледяному побежал.

Лохматая смешная белошейка
Одна живому смыслу вопреки
Сорвала с головы своей ошейник
И кинулась за ним вперегонки.

Залаяла в охотничьем ударе,
Дрожат росинки пота на носу.
Но летчик не заметил серый шарик,
Упрямо копошащийся внизу.

Прибавил скорость, в небо улетаю,
В хохочущую жгучую пургу.
И головой бессмысленно мотая,
Застыла белошейка на снегу.

Следит за самолетом удивленно,
И весь табун собачий удивлен:
Ведь обогнал земного почтальона
Воздушный легкокрылый почтальов.

Перевод с якутского И. Вараввы.

Иван ГОГОЛЕВ

Матери

Мама, мама моя, после всех своих странствий
Возвращусь, как стрела на излете, домой
И, промолвив негромко: «Родимая, здравствуй!»,—
Словно в детстве, в колени уткнушь головой.

Колыбельную песню не пой мне протяжно
И о девушке тайно не думай порой —
Чернобровой, веселой, с которой однажды
Ты меня повстречала на тропке лесной.

Мама, мама моя, этим вечером синим
Расскажи про печальную юность свою,
Что, подобно исхлестанной ветром осине,
Облетела листвою в таежном краю.

Ты в красивый платок нарядиться хотела,
Чтоб на нем во всю ширь — огневые цветы.
Но богатства иного тогда не имела,
Кроме лишь соболиной своей красоты.

На чужих жерновах ты зерно растирала,
Выбиваясь из сил: был нелегок твой труд.
И унылая песенка вдаль уплывала
Про молочные реки, что где-то текут.

Мне покажется вдруг, что, оставив работу,
Встала ты на далеком, на том берегу,
Где пугливые кряквы, готовясь к отлету,
Собираются в стаи, качая кугу.

Коромысло тяжелое с плеч опустила,
Чтоб озявшие руки дыханьем согреть.
И шумят камыши: «Ты о чем загрустила?
Ты кого в этот час ожидаешь, ответь?»

Если б можно опять свою молодость встретить,
Чтоб ковром расстелился к ногам твоим луг,
Чтобы самые лучшие песни на свете
Веселили твоих голосистых подруг...

Переключку вечерние птицы заводят.
Мама, молодость давнюю зря не зови.
Посмотри: не она ль, эта молодость, бродит
И играет в моей беспокойной крови...

Мама, мама моя, после всех своих странствий
Возвращусь, как стрела на излете, домой
И, промолвив негромко: «Родимая, здравствуй!»,—
Словно в детстве, в колени уткнушь головой.

Легенда о песне

Говорят в народе деда,—
То ли правда, то ли нет,—
Песня юная по свету
Колесила много лет.

Песня тучку повстречала
В полуденные часы
И над полем зазвучала
Гимном бури и грозы.

Песня море облетела,
В золотых лучах весны
На краю скалы задела
Крону северной сосны.

Та сосенка отряхнулась,
Изогнулась, будто лук,
Каждой веткой встрепенулась
И запела песню вдруг.

Зашумела, зазвенела
Так, что эхо по полям.
Только песню не допела,
Раскололась пополам.

Песня снова ищет друга,
Снова горы и моря.
На краю большого луга
Видит парня-косаря.

— Парень, парень, облетела
Я почти весь белый свет.
Друга встретить я хотела,
А его-то, друга, нет!

Парень весь в росинках пота
Подставляет ветру грудь.
— С песней ладится работа..
Ищешь друга? Другом будь!

И запел. И вот к обеду
Весь алас¹ уже скосил.
Песнь, бродящую по свету,
В дом на отдых пригласил.

С той поры ушла из дома
Нищеты глухая хмарь.
Зажил парень по-иному,
Деревенский наш косарь.

Дети, радостная женка
Улыбаются, поют.
В рваных заячьих шубенках
Горю ходу не дают.

Спор идет меж пастухами:
— Наш косарь разбогател!..
— У него волшебный камень,
Мой парнишка подглядел!

Чудо-камень!.. Эту новость
Слышит грозный князь тойон.
Оседлав коня гнедого,
Прискакал в селенье он.

Тычет в зубы кулаками:
— Эй, косарь, презренный хам,
Принеси волшебный камень,
Положи к моим ногам!

— Не куражься, багровея,
Убери плетеный кнут.
То, чем тайно я владею,
Песней юною зовут.

— Дай ее, коль нету камня,
Иль ответишь головой!
Как и ты, она должна мне
Быть примерною рабой.

Как повел тут парень бровью:
— Песня в сердце, под замком..
— Что ж, тогда заплатишь кровью —
Дашь мне сердце целиком.

Злость корежит богатея..
— Нет, не выйдет. Подождешь!
И в ответ врагу-злодею
Лишь сверкнул булатный нож...

С той поры и с той минуты
Поселилась навсегда
В сердце каждого якута
Песня битвы и труда.

Перевод с якутского И. Вараввы.

¹ Алас — поляна.

Александр ИСБАХ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ

Р а с с к а з

1

Я получил письмо из родного города. Незнакомый почерк на конверте. Много лет не получал я писем со штампом «Липовск». Несколько поколений выросло и вошло в жизнь с той поры, как я оставил свои родные места. Признаться, вскрыл конверт с необычным волнением. Точно пахнуло на меня горьковатым дымом костров далекой юности.

«Моя мама была пионеркой вашего отряда. А теперь у меня уже дочь-пионерка. Может быть, вы уже позабыли мою маму. Но она много мне рассказывала о своем вожатом. И я решила, что, если вы были вожатым у моей мамы, вы должны чутко отнестись к моему письму...»

И я почему-то сразу решил, что пишет мне дочь Нины. Вот я, можно сказать, уже старый, убеленный сединами материалист. А тут сердце заговорило. Маленькая Нина... председатель совета отряда. Одна из первых наших комсомолок. Моя первая светлая любовь... Мне было тогда шестнадцать лет, а ей пятнадцать. Целые дни мы были вместе. Мы чувствовали, что любим друг друга. Хотя еще ни разу не поцеловались...

«Старик, а у тебя, кажется, начинает «тепелть под веками»... Ты начинаешь переживать... Опять сентименты»,— сказал бы мой старый друг и самый жестокий критик Ваня Фильков и вымарал бы из этой рукописи все слова о чувствах и о первой любви.

Но письмо все еще лежало передо мной. А я не продвинулся дальше первых двух строк. Да, может быть, это совсем не ее дочь...

Я дочитал письмо до конца. Да, это была дочь Нины Гольдиной. Она писала мне о том, что после гибели ее отца остались рукописи какой-то необычайной ценности. Он был старым большевиком. И вот теперь, перед сороковой годовщиной Октября, они всей семьей перелистали пожелтевшие страницы. Им кажется, что их нужно опубликовать. Так сказала бабушка Нина, которая работает в краеведческом музее. А она сама, Светлана,— инженер и в литературе мало разбирается. И бабушка Нина посоветовала написать своему старому вожатому. А внучка Наташа целиком поддержала бабушку. Вот. Как быть?.. Она ждет ответа.

Подписали письмо все трое. Бабушка-пионерка. Дочка-пионерка. И... внучка-пионерка...

...Весь этот день передо мной стоял образ Нины. Тогда у нее были длинные смоляные косы. Она укладывала их вокруг головы. Я хотел рассказать о письме Ване Филькову. Но я не позвонил ему. Я боялся порвать какую-то невидимую нить, которая опять связала меня с родным городом, я боялся вспугнуть воспоминания, развеять аромат юности, который весь день струился из письма трех пионерок.

Какие чудесные совпадения бывают в жизни! На другой день я получил телеграмму из Липовского областного комитета партии. Меня приглашали на празднование сорокалетнего юбилея газеты, той самой газеты, где я напечатал и свою первую рабковскую корреспонденцию, и свое первое стихотворение, и знаменитую поэму о путешествии на Луну.

Это была судьба... Я отложил в сторону все неотложные дела и поехал в свою юность.

2

...Тридцать пять лет тому назад я уезжал из родного города. С везевым мешком за спиной, в котором была смена белья и рукопись «первого тома» моих сочинений. Меня провожала Нина Гольдина. В белой шапке с длинными ушами. Я опять не решился поцеловать ее и только погладил длинные уши ее заячьего малахая.

Вот они мелькают за окнами вагона, леса и перелески, которые я видел последний раз тридцать пять лет назад. Вот и река... И мост... Здесь стоял сарай — возле него белогвардейцы убили Василия Андреевича Филькова...

Сарая, конечно, нет и в помине. Да и леса не те. Они были иссечены фашистскими снарядами. Глубокие воронки от бомб, густо заросшие травой, теперь не отличить от пригородных оврагов, где играли мы в «казачков и разбойников».

В годы войны я воевал на другом фронте. В сорок первом году мне удалось на несколько дней прилететь к липовским партизанам и принять участие в одной необычной и таинственной операции. Но я пробыл тогда в городе только два часа, и мне было не до воспоминаний. Потом, как-то в конце войны, летчик-земляк показал мне аэрофотоснимок нашего города. Это было страшно. Фашисты снесли город с лица земли. Сплошные развалины, которые, казалось мне тогда, дымилась даже на снимке.

Я выпросил эту фотографию у земляка и хранил ее в своей походной сумке. Когда город был освобожден, в нем осталось всего девять жителей. С тех пор прошло больше десяти лет, и я знал, что город отстраивается гигантскими темпами, что в нем опять больше ста тысяч человек населения.

Но и теперь, подъезжая к городу, я боялся увидеть развалины на месте родных, знакомых мест. Как-то встретит меня моя юность? Узнаем ли мы друг друга?

Мне как-то всегда казалось, что я не старею. Став уже дедом, я иногда, кокетничая молодежностью, рассказывал о своем внуке и всегда с удовольствием выслушивал возгласы: «У вас внук? Да не может быть!.. Такой молодой...» Потом подобные возгласы я слышал все реже... Все становилось на свое место... Я был уже нормальным дедом. Никто не удивлялся. И я перестал кокетничать.

Даже любимые мои спортивные куртки, плотно обтягивающие талию, которые один знакомый профессор укоризненно называл «хулиганскими», уступили в моем гардеробе место длинным, просторным, солидным двубортным пиджакам.

Но я не хотел стареть... Мне всегда казалось, что наше первое комсомольское поколение навеки сохранило молодость тех дней, когда кулаки растерзали комсомольцев в Триполье, когда семнадцатилетний Аркадий Гайдар командовал полком, когда носить галстук считалось комсомольским преступлением.

...На вокзале меня встретили незнакомые люди из редакции. Вокзал недавно отстроили. Высокие просторные залы. Картины. Барельефы. Пальмы. Колонны.

— Наш новый вокзал даже отмечен в правительственном постановлении об излишествах,— с гордостью сказал мне заместитель редактора. Он был очень молод, вежлив и предупредителен. Он шеголял передо мной обновами города. Но мне нужно было сейчас не то. Мне нужно было остаться наедине с моим городом.

У подъезда ждала воскошная облисполкомовская машина. А мне хотелось пройти пешком по улицам, внимательно вглядеться в изменившееся лицо города. Но... в редакции уже был разработан порядок торжества. И я пока подчинился ему, решив, что все равно сегодня же сбегу...

Журналисты предлагали мне совершить большую поездку по новым заводам. Но я сослался на усталость и простился с ними до вечера.

3

Странное чувство овладело мной, когда я начал свое путешествие по городским улицам. Старого города, города моей юности, больше не существовало.

Это был совсем другой город. Вместо старой тихой Вокзальной улицы — широкая, усаженная липами аллея. Шестиэтажные дома. Сквер. Фонтан с бронзовыми рыбами, дельфинами и русалками. А рядом огороженные заборами участки, заросшие бурьяном или превращенные временно, в ожидании застройщиков, в бульвары с пышными цветниками.

Старый узкий мост через реку, по которому я, обвеваемый резкими ветрами, часто шагал, возвращаясь от Нины, жившей в Вокзальном районе, был взорван фашистами. Новый, недавно отстроенный, широкими сводами пролетами и ажурной колоннадой напоминал столичные мосты.

Не было больше Дворцовой улицы, где помещался первый большевистский комитет; исчезла Центральная площадь, где мы, гимназисты, встречали в тысяча девятьсот тринадцатом году царя и где проходили на параде первые победоносные полки Красной Армии, где я, жалкий приготовишка, получил из рук царя юбилейный рубль и где я, вихрастый подросток, в старом шлеме с высоким шишаком и красной звездой, проходил мимо молодого прославленного командарма... Рабочие убирали последние кирпичи разрушенного немцами знаменитого кафедрального собора.

Я пристально вглядывался в черты своего родного города и пока еще не узнавал его. Новый индустриальный город стремительно возник из руин, из пепла. Это было очень хорошо.

Но я искал и другое. Я искал приметы старого города, города своей юности, и не находил их.

От дома, где я жил, на Заречной улице не осталось и следа... Исчезли все переулки, где когда-то мы ремонтировали рабочие квартиры. Не было больше ни квартир, ни домов, ни переулков, в которых они стояли. Новые незнакомые двухэтажные розовые дома с аккуратными палисадниками.

Где-то здесь стоял большой киоск, с которым была связана одна смешная история. Я и сейчас усмехнулся, вспомнив о ней. Пятнадцатилетние государственные деятели, мы оставались в то же время озорными, задиристыми мальчишками. Иногда припадки буйного озорства служили для нас какой-то разрядкой, отдыхом среди дней, до краев заполненных общественными делами. В девятнадцатом году к нам часто приезжали на гастроли артисты из столичных театров, из Москвы и в особенности из Петрограда. Ожидали приезда Федора Ивановича Шаляпина. И вот однажды, возвращаясь на заре после какого-то многочасового заседания центрального ученического комитета, мы (очередной припадок озорства!)

решили разыграть мирных граждан нашего города. Задумано — сказано, сказано — сделано. Утром спешащие на работу горожане читали написанные огромными буквами слова на плакате, наклеенном на киоске:

Внимание! К нам приезжает

Федор Шаляпин.

Здесь продаются с 12 часов дня билеты на большой концерт Шаляпина.

К 12 часам дня огромная очередь протянулась вдоль всей Пушкинской улицы. Составлялись уже какие-то списки. Слышалась ругань. Кто-то мелом писал номера на спинах. В нашем городе любили искусство.

В час дня шум на Пушкинской улице достиг своего апогея. В киоске никого не было, мы с Мишей Тимченко из-за угла наблюдали за происходящим и валялись на земле от бешеного, неумного хохота. Только к трем часам дня очередь стала расходиться.

Винновники происшествия сами выдали себя. Захлебываясь и багровея от смеха, мы рассказали в горьком комсомола о нашей шутке и... заработали по выговору.

Я никогда не видел таким злым нашего секретаря и друга Ваню Филькова. Встал даже вопрос о более серьезном взыскании. Нам было уже не до смеха...

Об этом концерте Шаляпина не раз напоминал мне Ваня в более поздние и более сложные годы нашей жизни...

...Да. И от того киоска и от улицы, на которой он стоял, тоже не осталось и следа... А когда-то здесь проходил трамвай. Маленький трамвай с дугой. Бельгийского акционерного общества. Один из первых трамваев в России.

Через день мне дома выдавали на трамвай по три копейки. До гимназии было далеко. Но я большей частью предпочитал истратить эти три копейки на леденцы, а проехаться можно было и бесплатно, на буфере... Конечно, если в тот день не дежурил на углу чернородый городской, умевший, как пугали нас, мальчишек, читать человеческие мысли.

Я напряженно вглядывался в лица прохожих. Неужели в городе не осталось ни одного человека моего поколения? И прохожие с удивлением оглядывались на незнакомого человека с изрядным брюшком, выпирающим из-под пиджака. Нет, видимо, не осталось... Тридцать пять лет все же... Целая жизнь...

Старый губернаторский дворец на горе. Он, вероятно, был разрушен, а потом реставрирован, как памятник XVIII века. С какой робостью и торжеством входили мы сюда вместе с Василием Андреевичем Фильковым, отцом Вани, первым председателем губревкома, в октябре 1917 года... Здесь разместились и отдел народного образования, и коллегия по делам учащихся, и центральный ученический комитет, общий возраст всех семи членов которого равнялся целому столетию.

Здесь, перед этим домом, выступал 11 июня 1919 года Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, напутствуя бойцов, уходящих на фронт против белогвардейцев.

Знакомая высокая мраморная колонна в честь воинов, павших при защите города от Наполеона в Отечественную войну 1812 года. Она сильно иссечена осколками. Стоявшие по углам колонны старинные пушки с чугунными ядрами исчезли. Их, видимо, увезли фашисты.

А рядом со старинной колонной — обелиски над могилами воинов, отбивших город у немецких фашистов в Великую Отечественную войну 1941 года, героев, сражавшихся в войсках молодого полководца Ивана Черняховского.

Я долго стоял у мраморной колонны и у бронзовых обелисков. Читал незнакомые имена. Со мной говорила вековая история родного города.

А потом я вышел к соседней Липовой горке. Здесь в суровые дни двенадцатого года был воздвигнут памятник Песталоцци.

Председатель губревкома Василий Андреевич Фильков, старый народный учитель, издавна чтит знаменитого педагога.

Кроме Филькова, в президиуме губревкома вряд ли кто-нибудь чувствовал особую близость к прославленному швейцарцу. Но мысль председателя о водружении памятника тогда понравилась всем.

Значительно позднее мне пришлось увидеть протокол этого заседания президиума нашего губревкома. В повестке дня стояло тридцать три вопроса. Первым — вопрос о трудгужналоге, вторым — о бандитизме в Дресленском уезде, третьим — о ремонте красноармейского госпиталя и четвертым — о Песталоцци.

...Памятник, сооруженный из гипса, был непрочен. Но в нашем маленьком прифронтовом городе, откуда каждый день уходили на поля боевых сражений отряды коммунистов и комсомольцев, в городе, вокруг которого были вырыты окопы и сооружены бойницы для отражения бело-гвардейских банд, — именно здесь был установлен в 1919 году памятник известному педагогу Песталоцци. Мы думали о прошлом и о будущем. Мы стремились к культуре. Я всегда с уважением, любовью и болью вспоминаю о высоком, сутуловатом товарище Филькове, председателе губревкома и отце моего лучшего друга. Его убили в двадцатом году бело-гвардейцы.

Памятник водрузили вот здесь, на горке, над рекой. В воскресный погожий день собрался большой митинг. Товарищ Фильков произнес речь. Школьники проходили веселыми шеренгами, приветствуя товарища Филькова и величественного старца на пьедестале.

Весною, когда зеленели деревья, юноши и девушки приходили к реке на пригорок, к памятнику Песталоцци, и не одну задушевную тайну узнал мудрый педагог...

Памятника давно уже нет. Возможно, что он пришел в ветхость еще до оккупации города, а возможно, что его разрушили фашисты, приняв дремучую бороду Песталоцци за бороду Карла Маркса или Фридриха Энгельса.

Теперь на этом месте стоит могучая гипсовая девушка с огромным веслом в руке...

А чуть пониже девушки, под вековыми липами... У меня даже сильнее забилось сердце... Под старыми липами стоит ветхая скамейка... Та самая скамейка, на которой мы сидели с Ниной почти сорок лет тому назад...

Она сохранилась, эта скамейка. И так же, как тогда, перед ней суетятся молодые, едва оперившиеся скворцы. И так же, как тогда, шелестит выдавшая многие виды липа, а внизу набегают на песчаный берег волны золотой, солнечной реки.

Я присел на скамью. Я облокотился на замшелую спинку. Закрыв глаза. Машина времени унесла меня на сорок лет назад. И вдруг я вскочил, лихорадочно достал очки и стал всматриваться в недавно окрашенные в ядовито-зеленый цвет старые доски скамейки...

И я нашел... Честное пионерское слово, я нашел под слоем краски вырезанные тридцать пять лет назад буквы «Саша и Нина», буквы, замкнутые в волнистую линию, обозначающую сердце. Саша и Нина... Это было когда-то, в другой жизни, на заре, на солнечной опушке... 28 мая 1922 года я вырезал эти буквы. Мы сидели, прощаясь, на этой скамейке. Так же суетились глянцево-черные скворцы. И я читал Нине свои последние стихи о персидском царе Дарии, который высек море.

Эти стихи так и не увидели света. Но Нине они очень понравились. Она ласково погладила мою руку...

А потом... Потом мы написали договор о вечной дружбе, о том, что

каждый год в день 28 мая, где бы мы ни были, будем приезжать в родной город и встречаться на этой скамье.

И вот прошло тридцать пять лет. Сегодня 30 мая... Я опоздал только на два дня... А я ведь так и не решился тогда поцеловать тебя на этой скамейке, Нина. Но я пришел. Где же ты? И сидела ли ты когда-нибудь с тех лет на этой скамейке?..

Вдруг я вспомнил: бабушка Нина... бабушка Нина... Машина времени со ржавым скрипом опять вынесла меня на поверхность сегодняшних дней.

...И еще уцелело здание нашей бывшей гимназии. Имени Александра I Благословенного. Даже солнечные часы стояли на скверике против гимназии. Только металлический шпенек, показывающий отклонение тени, был сломан.

В гимназии, ставшей потом трудовой школой первой и второй ступени, помещался теперь педагогический институт. Широкий старый двор... Сколько раз встречались мы здесь в жестоких футбольных схватках, мечтавая удачным ударом в ворота завоевать сердце самой прекрасной и самой недоступной из юных зрительниц, сидящих на скамейках для публики!

...Я тихо открыл старые массивные двери и вошел в парадный подъезд. Широкая мраморная лестница открылась передо мной. По этой лестнице до революции разрешалось подниматься только учителям. Для гимназистов существовала другая, с черного хода.

В коридорах института было прохладно и тихо. У дверей аудиторий кустиками сидели студенты и студентки, листали свои тетради, конспекты, перешептывались... Шли государственные экзамены.

Стараясь никому не мешать, я прошел коридор из конца в конец. И опять воспоминания нахлынули на меня. Опять заработала машина времени. Вот здесь, за этой дверью с наклейкой «Физическая лаборатория», помещался наш актовый зал. В октябре 1917 года на заседании педагогического совета семиклассник Петя Кузнецов подошел к директору, действительному статскому советнику Никодиму Петровичу Оношко, вынул папиросу и попросил разрешения прикурить. Директор настолько растерялся, что щелкнул перед ним своей массивной бронзовой зажигалкой. И мы поняли, что революция свершилась.

Сколько горя, и обид, и радостей испытал я под этими тяжелыми сводами!

А вот и мой класс... Перед ним сидят студенты. Волнуются, ждут своей очереди. То и дело выходят из класса юноши и девушки, взбудораженные, веселые или грустные. Их сразу берут под перекрестный допрос. Как мне все это знакомо! Ох, как знакомо!.. Но в этот свой класс мне сейчас не проникнуть, не посидеть за своей партой. Тем более, что студенты уже с подозрением поглядывают на солидного дядю, без дела шагающего по коридору и заглядывающего во все двери.

Я успокаиваю их. Я рассказываю им, что вот в этом классе я сидел за партой сорок лет тому назад.

Удивленные восклицания. Они с сомнением поглядывают на мое брюшко. «А мы ведь испугались... Думали, что вы из центра, на госэкзамены...» Потом доверчиво предлагают мне стул. Я рассказываю им несколько эпизодов из нашей жизни в те годы. О памятнике Песталоцци. Никого из них тогда еще не было даже в проекте. Ах, как это интересно!.. Глаза их блестят. Одна студентка весело смеется. Ее подруга как раз только что спросила про Песталоцци. И она чуть не завалилась... Они готовы слушать еще и еще. Но... Из дверей выходит очередной студент. И... гораздо важнее выведать у него, что там, за стенкой, как спрашивают, и как настроение у Никиты Петровича, и не собирается ли идти обедать Анастасия Леонидовна... Я понимаю их настроение, подымаюсь, чтобы не мешать им, и ухожу, обещав обязательно приехать на выпускной вечер, заранее зная, что не сумею выполнить свое обещание.

До торжественного вечера я еще успел сходить на Зосимову слободу. Почему дальний городской пригород назывался Зосимовой слободой, мало кто знал и в те годы. Название это он получил от монастыря, который сто лет назад основал здесь епископ Зосима.

В Зосимовой слободе помещался когда-то знаменитый арматурный завод «Балтика». Это был центр революционного движения. Здесь находился подпольный большевистский комитет.

Летом 1921 года мы создали в городе Театр революционной сатиры, которым очень гордились.

Мы сочиняли сатирические скетчи, комедии, инсценировки, фельетоны. Привлекали лучших актеров города: Алексея Кудрина, Вениамина Лурье. На знамени театра красовались слова:

Со ступеньки на ступеньку
Не катитесь вы к былому,
К дням неволи и тоски.
Не живите помаленьку,
А живите по-большому,
Как живут большевики.

Все это было сумбурно, примитивно, часто наивно, но молодо. Энтузиазма у нас было хоть отбавляй.

Мы разъезжали по клубам, по красноармейским частям.

Вот на дребезжащем грузовике въезжаем мы в рабочий поселок, Зосимову слободу.

Перед нами огромный барак. Самодельная деревянная эстрада. В сторожке приготовлено скромное угощение для актеров: несколько ломтиков хлеба, намазанных — шутка сказать! — кетовой икрой. Мы быстро поглощаем угощение, расставляем нехитрую декорацию. Поднимается занавес. Сотни зрителей приветствуют нас, а весь коллектив наш, и старый заслуженный поэт Степан Алый, и я, и бывший мой одноклассник Миша Тимченко, ставший главным директором и администратором театра, выезжает на метлах и запекает боевой марш собственного сочинения:

Пусть развеселым задирой
Будет наш Теревсат.
Пусть искрометной сатирой
Клеймит он тех, кто хочет назад.
Мы победим скуку серую,
Веруем в то горячо.
Мы с нашей радостной верою
Метлы возьмем на плечо!..

Метлы в наших руках играли символическую роль: мы выметали из жизни всевозможный хлам.

Пели, правда, все, кроме меня. Мне, учитывая особенности моего слуха и голоса (в особенности настаивал на этом Миша Тимченко, который говорил, что я могу сбить с тона целый оркестр), мне товарищи разрешали только раскрывать рот, мимически, так сказать, изображая пение.

Зосимову слободу теперь невозможно узнать. Вместо старого поселка и завода «Балтика», казавшегося нам тогда грандиозным, сейчас здесь развернулся рабочий город.

Ковровый комбинат, большой домостроительный завод. Уже началась прокладка широких проспектов, разбивка скверов. На месте того барака, где выступал Теревсат, построен рабочий Дворец культуры. На танцевальной площадке безостановочно кружились пары. Играл джаз-оркестр. Фокстроты... Танго... Мазурки... Вальсы... Кавалеров было мало. В большинстве одни девчушки. Они с упоением носились по кругу. В разноцветных косынках, с облупленными от раннего весеннего загара носами и тоненькими бровями в ниточку. Они взмахивали кудрями, торчащими из-под косынок, широко раскрывали черные, карие, зеленые, синие, голу-

бые глаза. И неслись мимо, неслись безостановочно, не обращая никакого внимания на чудака средних лет, застывшего на краю площадки и не сводящего с них чуть повлажневших глаз.

Когда город освободили от фашистов, этим девчатам было только по два, по три года. Их жизнь никогда не омрачали тяжелые тени прошлого. И они не могли знать, о чем думает этот немолодой человек с растрепанным галстуком, непонятно зачем пришедший на танцы. Да и мои хозяева — редакторы газеты — были бы немало изумлены, если бы узнали, что я торчу здесь, на площадке, вместо того чтобы осматривать цехи коврового комбината. А я все не мог уйти. Мне было и горько и радостно смотреть на эти молодые, разгоряченные, незнакомые мне лица. И я вспоминал, как горьком комсомола, узнав о том, что комсомолец Михаил Тимченко, член центрального ученического комитета и боец шестой роты ЧОНа, танцевал на какой-то городской вечеринке, поставил ему на вид за мешанство и «буржуазные предрассудки».

5

Торжественное заседание, посвященное сорокалетию газеты, проводилось в помещении городского театра. Я еще утром узнал, что здание театра каким-то чудом уцелело при фашистах. Но, обойдя весь город в поисках примет своей юности, свидание с театром я отложил до вечера. О театре сохранились у меня самые дорогие и самые трагические воспоминания. Весь этот необычайный и неповторимый, радостный и горький день, путешествуя на машине времени, захлестываемый волнами далеких приливов, я, может, сам того не сознавая, видел где-то вдали, за дымкой времени, Театральную площадь, где на высоком мраморном пьедестале стоял Владимир Ильич Ленин.

Я знал, что статую Ленина фашисты сбросили с пьедестала. Партизаны проникли в город и восстановили памятник. Тогда немцы разбили статую на куски.

Я знал, что фашисты собирались установить на площади монумент в честь своих побед. В день открытия монумента партизаны опять проникли в город. Это и была та таинственная операция, в которой мне, по необычайному стечению фронтовых событий, удалось принять участие... В партизанском отряде состоял наш старый актер Алексей Прокофьевич Кудрин. Он был заброшен в город еще накануне, с первой партизанской группой.

А мы пробрались в город в день фашистского праздника и смешались с толпой, согнанной на площадь. В центре площади на месте памятника громоздилось большое сооружение, прикрытое зелеными плащ-палатками. По случаю праздника виселицы с площади убрали. На трибуну поднялись комендант города майор Линде и бургомистр Теодор-Йоганн Сепп. Оба они надели парадные мундиры, нацепили ордена и медали.

Оркестр сыграл фашистский марш. Майор Линде провозгласил «хайль» Гитлеру и предоставил слово бургомистру Теодору-Йоганну Сеппу, моему старому недругу Федору Ивановичу Сеппу, бывшему учителю немецкого языка и чистописания нашей гимназии, заместителю председателя «Союза русского народа», гласному городской думы и городскому златоусту. На всех городских банкетах он, бывало, произносил речи, пышные, сентиментальные, отличавшиеся богатым знанием мифологии и сильным немецким акцентом.

В девятнадцатом году, после разгрома банды эсера Закстельского, Сеппа арестовали, потом он удрал в Германию. И вот, значит, вернулся вместе с эсэсовцами.

Сепп произносил речь по-немецки и сам же переводил. Он говорил о славе германского оружия, о замыслах фюрера, о близких победах. Бургомистра слушали в сумрачном молчании. Только немецкие солдаты при

упоминании имени фюрера монотонно кричали: «Хайль Гитлер!», и так же монотонно играл оркестр.

— Снимите чехол! — приказал Сепп.

Оркестр опять грянул фашистский марш. Чехол сорвали... И вся толпа замерла. На высоком постаменте стоял Владимир Ильич Ленин.

Я знал тайну ночной операции. И все же вздрогнул от неожиданности, восторга, необычайного счастья.

На пьедестале стоял Владимир Ильич Ленин в пальто, в знакомой кепке. Вот он поднял руку и сказал, чуть картавя:

— Товарищи!

Только одно слово. И граждане нашего города, забытые, приниженные, измученные фашистами, бросились к нему. Надо было видеть эти возбужденные лица, эти посветлевшие глаза.

На Театральной площади свершилось чудо. Немецкие солдаты, ошеломленные, оцепеневшие от ужаса, были сметены, трибуна сломана, бургомистр Сепп схвачен.

Теперь предстояло разгромить арсенал, добыть оружие и продовольствие, освободить заключенных.

Вдруг раздался выстрел с театрального балкона. В театре помещались немецкая комендатура и гестапо. И я увидел, как Алексей Прокофьевич Кудрин прижал руку к груди, качнулся и упал с пьедестала. Я подбежал к нему. Он лежал на земле. Он пытался приподняться и жадно глотал ускользающий воздух...

Так старый актер Кудрин сыграл лучшую свою роль. Сыграл до конца...

Вот здесь он лежал... Кровь его струилась по зеленому мрамору пьедестала. Хорошо, что я сейчас один пришел к этому памятнику. И никто не видел моих слез.

...Ах, Алексей Прокофьевич, я много бродил сегодня по городу! Я читал таблички со старыми и новыми названиями улиц. И нигде я не нашел улицы вашего имени. Площадь Кудрина. Так, по справедливости, должна называться Театральная площадь...

Да какая же она стала просторная и красивая! Я теперь только заметил покрывающие ее ковры цветов. Я теперь только почувствовал тонкий аромат роз и гвоздики.

У подножия памятника в сквере играли ребятишки. Курносые, озорные, безмятежные.

А на старом мраморном пьедестале, поднимая руку над городом, нерушимо стоял Ленин.

6

В театре я наконец снова попал в руки журналистов. Они заботливо спрашивали, удалось ли мне отдохнуть. Я сказал, что отдохнул прекрасно. Пора было начинать заседание, и они увели меня на сцену.

Занавес был открыт. Я увидел перед собой переполненный зал театра, и опять машина времени сорвалась с места и увлекла меня в прошлое. Да он несколько не изменился, наш старый театр!

Вот оттуда, с галерки, мы с Ваней Фильковым и Мишей Тимченком сбрасывали большевистские листовки накануне Октября, а потом улелепывали от эсеровских милиционеров.

А после Октября на этой сцене играли пьесу Ромен Роллана, судили Дантона, роль которого играл Закстельский.

Кудрин — Робеспьер и Лурье — Сен-Жюст — произносили обвинительные речи (перед поездкой на родину я позвонил Сен-Жюсту, теперь старому заслуженному московскому артисту, и он просил передать привет землякам), а в роли прокурора, по смелому режиссерскому плану, выступал Василий Андреевич Фильков.

Закстельский потрясал театр своим голосом, и ветхий театральный барьер, вздымая облака пыли, рухнул от ударов его мощных кулаков.

Потом присяжные заседатели (выделенные из публики по тому же плану режиссера) большинством голосов оправдали Дантона-Закстельского, через сто пятьдесят лет после его осуждения Конвентом...

А через день спасенный от гильотины Закстельский был обличен как вдохновитель эсеровской банды и расстрелян.

Сколько раз давали мы здесь спектакли нашего Теревсата!..

С левой стороны была директорская ложа. Я всегда устраивал туда Нину. Читая со сцены стихи, украдкой поглядывал на нее, ловя каждый ее жест, каждый кивок головы...

Однажды приехали на гастроли знаменитые артисты Роберт и Рафаил Адельгеймы. Они ставили «Трильби». Спектакль был печальный, и Нина плакала. А я сидел рядом, грустный, подавленный, утешал ее. Потом написал письмо в стихах, для пушей романтичности обращаясь к ней на «вы».

Вы плакали о Трильби и Свенгали,
Жестокости, съедающей сердца...

До чего были наивные и слабенькие стишки! А вот ведь остались в памяти...

Я посмотрел на знакомую ложу и чуть не вскрикнул от неожиданности. Галлюцинация? Бред? У меня двоится в глазах?

В ложе сидела Нина. Нет, не одна, а две Нины сидели в ложе.

Редактор газеты, сосед по президиуму, коснулся моей руки. Неужели он услышал стук моего сердца? Он что-то говорил мне, но я ничего не слышал. Строчки недавнего письма возникли передо мной.

Но как же они обе похожи! Конечно, моей Ниной была та, что сидела, облокотившись о барьер... Как тогда, на «Трильби»:

О чем вы плакали в огромном, темном зале,
Склонившись головой на выцветший барьер?..

Нет, она теперь не плакала и не склонялась головой на барьер. Я различал сквозь туман черты ее дорогого, постаревшего лица, лица, которое не видел тридцать пять лет... Я не замечал морщин, но серебро седины... Точно иней на черных волосах.

А та, вторая Нина, что сидела рядом, была точным портретом, возникшим из лет моей юности. Только волосы светло-каштановые. А глаза?.. Со сцены я не мог рассмотреть глаз.

Тут я заметил третью, маленькую Нину в пионерском галстуке.

На этот раз редактор заговорил со мной более настойчиво, и я оторвал глаза от ложи. Ох, старый чудак... Я ведь почти не слушал ни доклада, ни речей. А тут подошло и мое слово. И о чем я буду говорить?..

Я давно так не волновался, выступая. Это заметили в президиуме и налили воды в стакан. Но мне не нужно было воды...

О чем я говорил?.. О нашей юности, о Василии Андреевиче Филькове, расстрелянном белыми, о большевистских листовках, слетавших, как голуби, с галерки этого театра, и об Алексее Прокофьевиче Кудрине... О Сен-Жюсте и Мише Тимченко, который, как мне довелось узнать, партизанил и был убит фашистами. И еще я говорил о нашем старом городе, восставшем из пепла, и о детишках, игравших у памятника Ленину.

Мне трудно теперь вспомнить все, о чем говорил в своей путаной и сумбурной речи. Но меня слушали хорошо. Видимо, это был редко удающийся разговор человеческих сердец...

Когда я закончил и посмотрел, как много лет назад, в боковую ложу, я увидел, что Нина, та, настоящая, моя Нина, склонилась головой на барьер... Не было тридцати пяти лет, не было седины в волосах... Я сейчас пойду к ней в ложу и прочитаю ей старые стихи...

Но этот день был насыщен необычайными событиями.

На трибуну, тяжело опираясь на палку, поднимался седой коренастый человек. Длинные, пушистые, седые усы. Товарищ Тарас. Михаил Трофимович Тимченко.

Тимченко жив... Мишка Тимченко, товарищ моих первых детских игр и первого боевого крещения. Озорной, вихрастый, лукавый, курносый Мишка Тимченко...

Оказывается, он действительно был командиром партизанского соединения. Знаменитым «Тарасом», слава о котором долетела до Москвы. Освобождал наш город. Был тяжело ранен. А теперь на пенсии, но продолжает работать в районе. Директор МТС. Наш неумный, никогда не зазнающийся, неутомимый Миша Тимченко. Верный товарищ, всегда готовый выполнить любое комсомольское задание.

Мы еще встретимся, Михаил Трофимович, мы еще наговоримся всласть. А пока что мы крепко обнимаемся тут же, на подступах к трибуне. Глядим друг другу в глаза и не говорим ни слова.

Тимченко был последним оратором. Заседание закончилось пением «Интернационала». Старые, всегда горячие, боевые, освященные десятилетиями борьбы слова гимна, звучали сегодня особенно проникновенно, грозно и молодо.

Михаил стоял рядом со мной. Когда кончили петь, он взял меня под руку и со старой знакомой лукавинкой тихо спросил:

— Вот, Сашко, годы прошли, и какие годы! И все изменилось в городе и в нашей жизни... А поешь ты, старик, все так же плохо...

Он легонько хлопнул меня по уху, и мы весело расхохотались.

7

Я забыл сказать, что перед окончанием торжественного заседания я получил маленькую, сложенную квадратиком записку. От Нины. Несколько слов: «Если не забыл, жду». Когда? Где? Об этом не надо было писать.

Я убежал с банкета после первого тоста. Банкет происходил в большом зале Педагогического института. Широкие парадные двери были закрыты на ключ. А дежурный исчез. Но я помнил дверь, выходящую на черный двор, дверь, которую никто никогда не охранял и через которую мы смывались с занятий. Сорок лет тому назад.

Лунная майская ночь... Глубоко справедливо все то, что писал о ней Николай Васильевич Гоголь. И я ничего не могу добавить к его описаниям.

Разве только, что вместо легендарного Днепра внизу протекала малоописанная в литературе река Лидья.

По тихим, уснувшим улицам я уверенно вышел к липовой горке над рекой, к старой, замшелой скамейке, выкрашенной теперь в ядовито-зеленый цвет. Сколько ливней омывало эту скамейку за четыре десятилетия! Четыре десятилетия! Подумал и даже испугался. Почти полвека... Но никакие ливни не могли смыть и никакая краска не могла закрасить двух имен — Саша и Нина, — замкнутых волнистой линией, изображающей сердце.

Она сидела там. Она ждала меня. Мне казалось, что я опять безусый, шестнадцатилетний романтический мальчишка, который идет на свое первое свидание... И так же, как тогда, пахли цветущие липы.

— Нина, — сказал я. — Сегодня тридцатое мая... Два дня назад...

— Не нужно об этом говорить, Саша... — тихо ответила она.

И я понял, что она приходила сюда два дня назад. А может быть, каждый год садилась на эту скамейку и вспоминала о нашей юности.

А я ничего не знал о Нине многие годы и не вспоминал ее. И даже день 28 мая выветрился из моей памяти...

Луна ярко освещала лицо Нины. Я посмотрел ей прямо в глаза. Они

были так же лучисты, как сорок лет назад. Только от самых век веером расходились мелкие морщины. Глубокая морщина пересекла высокий, ясный лоб. Нина была без шляпы, и черные блестящие волосы ее серебрились.

— Что, постарела? — Она улыбнулась.

Улыбка, которую я так любил. Совсем молодая, немного грустная и в то же время лукавая.

Но я ведь не мог сказать ей, что она не изменилась. Я вспомнил письмо: бабушка Нина, бабушка Нина.

Только такой сентиментальный дурак, как я, мог подумать, что она каждый год приходила на эту скамейку.

Я показал на свои седеющие виски и развел руками.

Она скользнула по мне взглядом и рассмеялась...

— Са-ашенька, — сказала она протяжно. — Давай посидим по-старому. Значит, ты все-таки уже был сегодня на нашей скамейке? — И она неумовимым движением показала на спинку скамьи с изображением сердца.

А может быть, и приходила? Ну, не каждый год. А приходила. И почему это мне в конце концов так важно: приходила или не приходила? И я ведь ничего не знаю о ней...

Все-таки я чувствовал какую-то скованность. Я не знал, как держаться с ней.

— Вот, — сказал я. — Сбежал с танцев. Ну, какая девушка пойдет танцевать с кавалером, который бормочет о том, что происходило полвека назад!..

— Саша, — попросила она неожиданно резко. — Давай не остри и не кокетничай. Расскажи мне лучше о персидском царе, который высек море...

Мы сидели на скамейке всю ночь. Как в давние годы, я снял пиджак и накинул ей на плечи. Я узнал все о ее нелегкой жизни, о гибели мужа, хорошего, сильного человека, которого она, впрочем, никогда по-настоящему не любила. Но об этом не знает никто, даже Светлана. А о рукописи мужа она мне не скажет сейчас ничего. Это придумала Светлана. В общем, это неважно. Посмотри сам, вожатый... У нее есть для меня сюрприз. Она ведь работает в музее. Во время оккупации была на Урале... А потом вернулась с дочкой на родину. Дочка окончила институт и осталась здесь восстанавливать город. Она ведь замечательный инженер. Это она построила новый мост через Лидью. А помнишь, ты тоже был строителем в пятнадцать лет и, кажется, даже построил знаменитую баню? А помнишь наш первый комсомольский комитет?.. Она нашла старую уцелевшую фотографию. Это очень важно: восстановить историю города, рассказать людям, как боролись еще в те дни... В наши первые годы... И как воевали потом с фашистами. Ведь у нас здесь была своя «Молодая гвардия» и своя Зоя. Ты должен обязательно прийти в музей... И я тебе дам материалы. Ты бы посмотрел, как слушает моя Наташка... Да. Может быть, тебе это неинтересно. Нет, не может быть неинтересно.

Она раскраснелась. Мне опять кажется, что не было прошедших сорока лет. Председатель совета отряда докладывает мне, горячась и волнуясь, об очень важных, неотложных пионерских делах.

Она раскрывает сумочку. Оттуда струится тонкий аромат духов... И я сразу вспоминаю наш первый серьезный конфликт с Ниной.

Петя Кузнецов, самый красивый старшеклассник, похожий на Байрона, ухаживал за ней. Он подарил ей флакон духов. И она, комсомолка, приняла подарок и пришла на заседание бюро надушенная.

Я не разговаривал с ней три дня и предлагал вывести ее из бюро и из совета отряда...

Ваня Фильков еле примирил нас. Неужели это тот же аромат?.. Лесная фиалка... Впрочем, я в этом никогда не разобрался.

Она вынимает старую, выцветшую фотографию.

Светло, как днем. Вот они, товарищи и друзья наших юных лет. В самой середине сидит Ваня Фильков. Секретарь губкома комсомола. Мой старый, закадычный друг Ваня. Рядом с ним Валя Грекова. Маленькая скуластая Валя. Наш экирав. Она недавно защитила докторскую диссертацию и руководит институтом в Академии наук. Политпросвет Митя Басманов. Весельчак, лучший гармонист и запевала, комиссар первого комсомольского отряда. Убит бандитами в двадцатом году. Его именем был назван городской комсомольский клуб. Лева Штейнгарт — токарь арматурного завода. Командир комсомольской роты ЧОНа. Я его видел перед самой войной. Он был в Испании и на Халхин-Голе. Командовал авиационной дивизией. Погиб в сорок четвертом году под Варшавой.

Миша Тимченко. Михаил Трофимович Тимченко. «Тарас»... Он еще в те годы начал отпускать усы, как у Шевченко... А вот и я в кожаной куртке, шлеме с высоким шишаком и с длинной трубкой, которую не курил, но никогда не выпускал из зубов, пока однажды не был несправедливо оштрафован в театре «за курение». Рядом со мной Нина — тоже в кожаной куртке, ловко перехваченной в талии узким ремешком.

Мы долго рассматриваем фотографию. Головы наши сближаются. И смоляные с серебром волосы Нины касаются моих седых висков.

Уже на заре я провожаю Нину домой. Мы долго молча стоим у ее подъезда.

Потом я крепко обнимаю ее, беру обеими руками ее голову и целую в губы. Я чувствую, как они дрожат. Это наш первый поцелуй...

Первый и последний...

Я быстро иду по новым, незнакомым улицам. Я знаю, что она смотрит мне вслед. Но не оборачиваюсь.

8

И вот я опять уезжаю из родного города. Я провел в нем только два дня. Неотложные, как всегда, дела. Но мне кажется, будто я погрузился в родниковые воды своей юности, и лицо мое горит. Кровь быстрее бежит по жилам.

Опять, как тридцать пять лет назад, меня провожает Нина. Но теперь с нею Светлана и маленькая Наташа. Бабушка-пионерка, и дочь-пионерка, и внучка-пионерка. Рядом с ними коренастая фигура Миши Тимченко. Он салютует палкой и кричит какие-то недосказанные слова. Я приглашаю друзей в гости, в Москву, на праздник революции. И я тоже обещаю приехать к ним. Скоро. Раньше чем через тридцать пять лет. В моем чемодане толстая рукопись с пожелтевшими листками. Нина грустно машет платочком, от которого струится аромат духов Пети Кузнецова.

Поезд трогается. Милые лица проплывают мимо меня. Позади остается родной город.

Памятник Ленину. Площадь, которая будет носить имя Алексея Кудрина, старая скамейка над рекой с двумя именами в волнистом овале сердца, новые заводские цехи, незнакомые улицы...

Поезд уже грохочет по мосту, который построила Светлана на месте взорванного Мишей Тимченко.

До свидания, друзья... До скорой встречи. До скорой встречи!

Анатолий СУРОВ

НА ПОДНЯТОЙ ЦЕЛИНЕ

(Из Павлодарской тетради)

1

Рейсовый самолет опустился на Павлодарский аэродром в ранний сентябрьский вечер; на Иртыше быстро смеркается, а улицы города еще не освещены. Это обстоятельство не позволило мне хотя бы «с ходу» взглянуть на стройку комбайнового завода, на Алюминстрой, и объехать примечательные места города. Я решил отправиться прямо к цели моего путешествия. Я сел в такси рядом с черноусым крепышом-шофером, и мы поехали по названному адресу. Набирая скорость, шофер спросил:

— Из Москвы?

— Из нее.

— А сами с Иртыша, — уверенно заметил он.

— Опять угадали.

— Я не угадываю, а определяю. Разница?

— Верно, понятия разные. Ну, а секрет откроете?

Шофер самодовольно усмехнулся, разгладил ладонью левой руки свои казачьи усы:

— Да какой тут секрет! Что из Москвы, так это по одеже видно: у нас так не шьют. А шили. Может, помните старого мастера Фалалея Григорьевича Комьчугова?

— Как не помнить!

— Его теперь нет. А молодежь в ателье — все больше портнихи, до конца испэртить не испортят, носить можно, а все-то как-то неловко. — Закурив, он продолжал: — А что касается произношения, то я иртышанина сразу слышу. Сам коренной житель и коренных иртышан от кого хошь отличу. По делу к нам али погестить?

— По делу. Павлодар-то подрост?

— А много ли времечка прошло, как дома не были?

— Лет двадцать.

— Хорошенькое дело — подрост!.. Надо же этак-то сказать, земляк! — оскорбился павлодарский коренной житель и несколько раз подряд затынулся. Помолчав, он сказал уже без обиды, с гордостью: — Не узнаете! Богатырь степной!.. Вот как мы его теперь величаем. А народился наш богатырь всего за какие-нибудь три — четыре года.

Минут через пять шофер остановил машину подле хилого домика с маленькими оконцами, освещенными электричеством. Спросил:

— Сюда вроде? Номеров-то не видно.

Выйдя из машины, я сразу признал жильё аксакала Джумабая. В знакомых сенях я открыл дверь и, переступив порог, столкнулся лицом к лицу с тетужкой Нурхан, женой аксакала. Она заметно постарела, но узнать ее в родной обстановке было нетрудно. Но меня тетужка Нурхан не узнала. А когда я назвался, она всплеснула высохшими руками и певуче протянула:

— Ой-бой!.. Какой же стал, парень!..

— Какой?

— Стара-ай!.. — И вдруг заговорил радужно, скороговоркой: — В горницу проходи, кунак!.. Проходи, пожалуйста! — Взяв меня об руку, проводила в горницу, усадила за стол и присела напротив. — Мамбет скоро придет. Таир скоро придет.

— Как здоровье аксакала Джумабая?

Тетужка Нурхан безнадежно махнула рукой, с сердцем сказала:

— Как был степняк, так и есть степняк! Когда Мамбета послали строить совхоз, аксакал — за ним. А теперь и внука сманивает.

— А внук сманивает бабушку? — пошутил я.

— Ой-бой, я была там. Только вернулась, как Мамбета назначили в управление. Думала, думала, как он один-то здесь станет жить? Нет, нельзя.

— Мамбет — строитель. Дело такое: сегодня в Павлодаре, завтра — в Зайсане. Вы за ним не угонитесь.

Тетужка Нурхан заявила самым категорическим голосом, будто и впрямь все будущее Мамбета зависело только от меня да от нее:

— Не будет так! Молодой был — поездил. Балхаш строил, Караганду строил. А после войны ему тяжело. Сам знаешь, сколько ран на его теле.

Я это знаю. За годы войны Мамбет четырежды выходил из строя, четырежды начинал войну, и каждый раз в новой части. Части менялись, а место его было неизменно — передний край.

Тетужка Нурхан открыла глухую нижнюю дверцу этажерки, достала зеленую скатерть, накрыла на стол и вышла. Я осмотрелся. На сосновых досках, метра четыре длиной, книги Мамбета, подобранные по отделам: научно-технические, справочные, политические, художественные.

— Пришли! — послышался голос тетужки Нурхан.

А через минуту в горнице появились Мамбет и стройный, красивый юноша. Длинными пальцами Мамбет крепко сжал кисть моей руки и, улыбаясь, сказал глуховатым голосом:

— Вот так... Здорово, приятель! — И скосил черные глаза на юношу. — Знакомься: мой сын Таир.

— Настоящий джигит! — сказал я.

— Какой там джигит! Целинный журавль, а не джигит.

Таир смущенно улынулся и ответил отцу:

— Ата, какой же я журавль? Скорее ты.

Мамбет обнял за плечи сына. Они были схожи и не схожи. Оба высокие, но Таир еще не успел раздаться вширь. Мамбет массивнее, крепче. Черты лица у Таира тоньше и говорят о требовательном, разборчивом характере. А большая, с широким затылком голова Мамбета, сухое лицо, нос с подвижными ноздрями и резко очерченные губы свидетельствуют о том, что духом он тверд. Глаза настороженные — это, видно, пришло с годами. Таир смотрел на отца откровенно влюбленным взглядом.

— Ну-ка, садитесь! — скомандовала тетужка Нурхан, расставляя на столе тарелки с баурсаками, куртгом, еремчиком, от которых вкусно пахло дымом и маслом. Она разлила по пиалам кумыс и вышла с Таиром, прикрыв за собой дверь.

Усаживаясь за стол, я сказал Мамбету:

— Из писем твоих я так и не понял, как попал ты на целину.

— А как попадают коммунисты туда, где они должны быть? Так и я попал. Демобилизовался в январе 1954 года. Истосковался я по гражданскому строительству. Пришел в обком, доложил: «Так и так... Приехал. Хочу на строительство». «Ко времени явился, Мамбет! Целина по тебе скучает! — говорит секретарь обкома. — Будем с тобой, Мамбет Джумабаев, бороться за миллиард пудов зерна. Шутка ли?» «Дело хо-

рошее. Только я-то при чем? Я строитель». «То-то и люблю, что строитель. Взгляни-ка на эту карту». Секретарь подвел меня к карте области. На ней были вбиты колышки, нарезанные из карандашей.

Мамбет обеими руками взял пиалу с кумысом и стал пить мелкими глотками. А я чуть было не опорожнил пиалу залпом — до того был хорош белый густой напиток. Но вовремя сдержался: так пить кумыс у казахов не принято.

Мамбет продолжал свой рассказ:

— Секретарь спрашивает: «Что ты здесь видишь, Мамбет?» Отвечая: «Тридцать два колышка. Половина из них красные, половина зеленые». «А совхозов за этими колышками не видишь?» «Нет». «Ну, и я пока не вижу. Те целинные совхозы, что отмечены красными колышками, мы должны построить теперь же. Назовем их новыми. А те, что отмечены зелеными колышками, надо построить в 1955 году. Их назовем новейшими. Договорились? Выбирай любой. Хоть красный, хоть зеленый». А что мне выбирать! Целина — везде целина. Зажмурился я и ткнул пальцем наугад. Куда попал, туда и поехал. Вот так и основали совхоз, подняли двадцать пять тысяч гектаров новой земли, три урожая собрали, теперь другим помогаем. Помаленьку решаем свою задачу. Знаем и о том, что не все у нас хорошо.

— Скупо рассказываешь о себе, Мамбет.

— А-а... тебе конфликты нужны. Конфликтов у нас в избытке. Только я так понимаю: одни конфликты отмирают и уже вовсе не повторяются, а новое время и обстоятельства порождают новые конфликты. Конфликтов той поры, когда строительство целинных совхозов начиналось с колышка, ты уже не увидишь.

Вошел Таир и сообщил, что Мамбета ждет машина.

— Не хочешь со мной проехать? — спросил меня Мамбет.

— Куда?

Мамбет улыбнулся.

— На места новых конфликтов. — И заговорил серьезно: — В крупном совхозе имени Тимирязева (это из новейших) плохо на отделениях с жильем и скотные дворы еще не готовы. Надо поглядеть... Можем небольшой крюк сделать, к аксакалу заедем. Покажу тебе свой совхоз.

— Ата, возьмите меня, завтра же воскресенье, занятий в школе нет.

— А что я не прав? Конечно, ты журавль целинный!

Я спросил:

— Куда ты, джигит, собираешься после десятилетия?

— В школу механизаторов, — быстро ответил Таир.

Мамбет сказал сыну:

— Собирайся.

2

...Ночью по тракту, проложенному близ Иртыша, мы ехали в направлении Качир. Не ехали, а плелись. Нашему «газику» то и дело приходилось обходить грузовые машины с зерном и даже пристраиваться в хвост к грузовикам, возвращавшимся с элеваторов. Мы продвигались в таком тумане пыли, что трудно было дышать, и только в тех местах, где дорога шла по берегу, отдыхали немного.

— Вот это и есть уборка, — проговорил Мамбет, — вернее сказать, ее апофеоз. Вёдро. Дремать нельзя. День потеряешь — в год не догонишь. Все хотят быть впереди и лучшими из лучших. Теперь скоро. — Мамбет повернулся к шоферу: — Степа, перед Чернорецком, у излучины, остановись. Пыль смоем.

— Есть! — ответил шофер и тряхнул за плечо сидевшего рядом с ним Таира. — Выкупаемся?

— А как же! Если ата разрешит, махнем на ту сторону.

— Да ведь сентябрь, — удивился я. — Опасно.

— Мы-то привычны, — отозвался шофер. — Бывает, и в ноябре окунешься.

Он круто вывернул руль и остановил машину. Вышли из автомобиля. Было тихо, безветренно. На темно-голубом небе, усыпанном бледно мерцавшими звездами, ни тучки, ни облачка. С Иртыша тянуло запахом воды и прелого сена. По крутому яру спустились к реке. Днем быстрые воды Иртыша кажутся свежее-зеленоватыми, как

весенняя, молодая осока, окаймляющая его левый берег. Сейчас, в тихой ночи, Иртыш предстал грозным потоком, отливающим вороненой сталью.

Таир и Степа разделись, окунулись в реку и пустились вплавь наперегонки. Мы с Мамбетом ограничились тем, что обдали себя холодной иртышской водой по пояс.

Натянув рубаху, Мамбет присел на бугорок яра и заговорил:

— Началось с того, что в будущий совхоз приехали по комсомольским путевкам первые десять добровольцев. Вскоре число рабочих дошло до ста пятидесяти человек. Из них нужно было подготовить плотников, каменщиков, штукатуров. В первом десятке нашлось девять рабочих более или менее опытных. Мы раскрепили этих людей в бригадах по специальностям и поручили им за две — три недели обучить прибывающих новичков. После этой маленькой школы каждый рабочий знал, от какой ему танцевать печки, что брать в руки, где брать и зачем брать. Были созданы две молодежно-комсомольские бригады: одна каменщиков, вторая штукатуров. Все работали здорово, но комсомольские бригады были всегда впереди. Обо всех строителях не расскажешь.

— Расскажи об этих комсомольцах, — прервал я Мамбета.

— А я что делаю? Вот две коротенькие истории. Первая. Максим Железнов, прибывший в первом десятке, за озорство был исключен из техникума. «Озорвал, — говорит, — не я, это во мне мысли и здоровье бушевали. А сам я нет, не озорвал. Я малый кроткий». И свое озорство Максим завершил тем, что окатил из пожарного брандспойта студенческую свадьбу. Да ты не смейся! В одной из комнат общежития выпускники справляли свадьбу. Пришли преподаватели и даже один маститый профессор. Так вот Максим взял, да и окатил их из брандспойта, пошибал струей со стола все угощение. И был таков, этот «кроткий малый». Года два мотался по стране «кроткий малый». Был на Черном море и на Белом. Любую работу умел работать, ловко, с огоньком. А жить — нет. Все ему было как-то не по себе.

«На целину я поехал, — говорит, — за тем, чтобы встретиться с трудностями, силой с ними померяться. Она, сила, так и клокочет во мне!» И верно. Егз не испугали ни холодный вагончик, ни мартовские метели. А начали строить — Максим свою норму сделает, поможет землекопам — и снова на кладку стен... Переквалифицировался на комбайнера, четыреста гектаров убрал. А теперь на току в первом отделении работает. Я уверен, что и сейчас не спит.

Мамбет глядел на реку, курил и продолжал своим тихим, глуховатым голосом:

— Вторая история. С той же десяткой приехала к нам ленинградка Варя Рукина. Такая хрупкая, маленького росточка. Глянешь на ее белые кудряшки и невольно подумаешь: «Ну, и целинница! Да ты ведь все равно сбежишь». И что ж ты думаешь? Как-то ночью проснулся я от вскрика: «Ой, что же это?» Смотрю: Варя отдирает от стены вагончика свои кудряшки, пристывшие и покрывшиеся льдом. Отодрала, села к тумбочке, плачет тихонечко. Потом встала, сняла подвешенный к потолку фонарь, поставила его на тумбочку и снова присела. Сидит, карандаш зубами кусает и вдруг начинает быстро-быстро писать. Опять подумает и опять пишет. Глянула в окно: а там, в степи, так жутко, пустынно, и ветер такой, что вагончик пошатывает. Обхватила Варя тонюсенькими пальчиками свое бедную голову и опять залилась слезами. Так мне захотелось успокоить ее! Но я сдержал себя. Не время: участливым словом в такую минуту только пуще растрожишь душу. Выплакалась Варя, взглянула на письмо, залитое слезами, и вдруг на себя рассердилась: «Дура, письмо испортила». Скомкала исписанную бумагу и принялась писать наново. А когда закончила и успокоилась, я подошел к ней: «Что же не спишь-то? Холодно?» «Нет, вовсе не холодно, я письмо писала». Поговорили мы с ней о жизни. А когда разговорились о будущем, она ответила: «А я примерно так себе его представляю. Вот, прочтите», — и подала мне письмо, написанное матери. Варя просила простить ее за то, что уехала против материнской воли, успокаивала старушку. И писала вовсе не о том, что сейчас в глухой степи буран, в вагончике холодно, зуб на зуб не попадает и ей страшно. Нет, Варя писала, что в ее комнатке уютно, тепло, что она сегодня выступала в большом клубе с новым репертуаром, что все остались довольны, а потом полуночничали — бродили по широким улицам центральной усадьбы. «Я работаю воспитательницей в детском саду. Мне

так хорошо, моя роденькая, что ты и представить себе не можешь». Эти строчки врезались мне в память. Теперь Варя Рукина — действительно воспитательница и руководит самодеятельностью в клубе. А в то время эта Варя была бригадиром штукатуров. Вот так... Пора, однако.

Мамбет в последний раз глубоко затянулся **цигаркой**, сунул ее в песок, поднялся на ноги и громко позвал:

— Э-э-й... Где вы, джигиты?

— Тут мы! — отозвался голос Таира.

Ребята хоть и грозились «махнуть на ту сторону», а не рискнули. Поднявшись на яр, Мамбет полусмешливо, полусерьезно сказал:

— Хвастуны!.. А что, нет? Держите-ка курс на первое отделение. За баранкой сидеть, это не в реке плавать. Давай веселей, Степа! Будь джигитом, как мой Таир.

— Мы не то, чтобы испугались, а так... — оправдывался Таир.

— Вода какая-то чудная... — поддержал его Степа, вырливая на тракт, — черная вода да густая. Ну, чистый деготь!

— Плыть трудно? — с притворным участием спросил Мамбет.

— Ага, — согласился Степа. — Не зря, видно, эту станицу Черноречком назвали.

— Ври больше... Ну-ну, пошевеливайся, ты, пловец!

Опять «газик» тащился в тумане пыли. По тракту колоннами и в одиночку в обоих направлениях шли и шли грузовые машины. Но вскоре «газик» свернул на проселочную дорогу и пошел на приличной скорости. Через четверть часа впереди засверкали огни. Таир оживился и негромко, слабым, но приятным тенорком запел:

Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий!
Весну и молодость встречай свою!

Мы выехали на широкую улицу большого, хорошо освещенного рабочего поселка. Но окна белых домиков, крытых волнистым шифером и обнесенных палисадниками, были темны. Время — за полночь.

— Центральная усадьба. Мы едем по улице Абая. Таких улиц в поселке восемь, — объяснял Мамбет. — Это клуб на двести пятьдесят мест. Тут стоял наш первый вагончик — единственное жилое помещение в степи.

Проехали мимо одноэтажного большого дома с парадным входом.

— Здесь выступает ансамбль песни и танца, играет духовой оркестр, ставятся маленькие пьесы и Варя Рукина поет свои любимые песни. А вот это, — Мамбет повернулся всем корпусом направо, — детский сад. А здесь... — Он тронул шофера за плечо: — Остановись-ка, Степа. Здесь парк. Саженцы уже метра на два с половиной вымахали. А?..

— Пожалуй, — согласился я, разглядывая шуршавшие сухой листвою молодые деревья.

— Там, где клумба — видишь? — там и был забит первый колышек.

Легонько толкнул в спину шофера:

— Вперед, на ток.

— А это что? Силосная башня? — спросил я строителя, указывая на высокое сооружение.

— Башня, верно. Только не силосная, а водонапорная. По генеральному плану Министерства совхозов ее место не здесь. Вообще мы их план изменили во многом. Ширина улиц, например, предполагалась в двадцать метров. А мы нарушили их схему и спланировали в пятьдесят. Нельзя же на таких узеньких улицах строить палисадники, сажать деревья! Или взять схему размещения служебных помещений. Учитывая розу ветров, ремонтную мастерскую нужно ставить с подветренной стороны. Вообще-то правильно. Но применительно к степным совхозам лучше делать наоборот. Высокое, длинное помещение защищает поселок от ветров. Мы сделали по-своему. Не вполне продуманно были размещены на кальке электростанция, больница, пекарня, пожарное депо, баня. Приступив к строительству, мы внесли, как говорится, свои коррективы. Вот так...

На крытом току в этот полночный час былолюдно и шумно. Люди, работая лопатами, подшучивали над каким-нибудь злосчастным недотепой. Одни грузовики въезжали на весы, потом разгружались; другие, нагрузившись зерном, стояли в ожидании своей очереди к тем же весам. Гудели моторы, трещали какие-то механизмы. И поначалу нельзя понять, что к чему. Но, присмотревшись внимательнее к мнимой беспорядочности, можно было обнаружить продуманную и частично механизированную систему потока.

Здесь происходила послеуборочная обработка зерна и все шло своим чередом: очистка зерна, сушка, внутренняя транспортировка и загрузка машин зерном, готовым к вывозке на элеватор.

У зернопульта среди запыленных людей, подававших зерно из вороха в бункер, ловко орудовала лопатой невысокая девушка в комбинезоне. Мамбет подошел к ней и сказал что-то. Она улыбнулась и, поставив лопату в сторонку, подошла ко мне.

— Здравствуйте, товарищ! — сказала девушка просто.

Пожимая ее маленькую жесткую руку, я увидел светлые пропылившиеся кудряшки, выбившиеся из-под цветной косынки, и понял, что передо мной Варя Рукина.

— Как вы тут?

— Да вот сами видите.— Варя кивнула в сторону зернопульта.— На центральной усадьбе сейчас делать нечего. Зимой другое дело. А у нас и тут есть маленький ансамбль.

— С мамой виделись?

— Летом у меня гостила.

— Понравилось?

Варя тряхнула своей маленькой головой, весело зачастила:

— Еще бы! Уезжая, пожурила меня, почему я не написала ей о здешней природе. «У вас такой степной воздух! И кумыс! В будущем году непременно опять приеду, если пригласишь».

— Варя! Из второго вороха можно кидать? — крикнул девичий голос.

— Вы извините: работа.— Она легко повернулась на одной ноге и побежала к вороху.

Я подошел к Мамбету, который стоял возле парня, сидевшего на корточках. Парень рисовал гачным ключом на земле какие-то ломаные линии, уголки и упрямо доказывал своему собеседнику:

— И я о том же: много людей занято на подаче зерна в загрузочный ковш. Как же освободить их? Да просто: нижней головке самотаски приставим бункер, емкостью равный кузову автомашины. Это не новшество. В иных совхозах на механизированных токах полностью осуществлена поточная система.

— Познакомься: наш «броткий малый» Максим Железнов,— так представил мне его Мамбет.— Универсал: строитель и сельскохозяйственный механизатор! Между прочим, женится.

Максим поднялся на ноги, расправил крутые плечи и, озорно сверкнув глазами, сказал с серьезным видом:

— С вашего разрешения, в октябрьские дни отпраздную свадьбу. Приезжайте!

— С удовольствием бы, да больно далеко.

К нам в сопровождении Таира подошел почтенный аксакал Джумабай.

— Добро, меня не забыл! — Он стиснул мои плечи совсем не по-стариковски, так сильно, что я едва не вскрикнул. Потом похлопал Максима по плечу, похвалил.— Рахмет, спасибо, Максим!

— За что отец тебя хвалит? — спросил Мамбет.

— Да так... за одно небольшое мероприятие. Тоже не новинка.

— Ой-бой, большое! Хорошо помог! Всем рассказал, секретарю обкома рассказал: вот какой парень Максим! — Аксакал повернулся ко мне, объясняя: — Мясо надо, молоко надо, масло надо. Да? Где взять, а? Приплод нужен. Приплод есть — кормить надо. Да? Чем зимой кормить? Силосом кормить. Новые траншеи рыть. Да? А кто станет рыть? Людей мало. Да? Один Максим все траншеи рыл.

— Как же вы в одиночку справились? — удивился я.

— Не в одиночку вообще-то... Сделал я волокушу из ободьев колес комбайна, укрепил в ней стальные лемехи и копал ими траншеи в агрегате с тракторами. Эта штука скрепером называется. Сейчас выпускают цилиндрические мощные скреперы.

Освещение на току вдруг стало меркнуть.

— Мотор у нас что-то барахлит. Я пойду.

...Мы сидели вокруг низенького стола в комнате аксакала, по-казахски поджав под себя ноги, и пили кумыс. В открытую дверь из маленькой передней тянуло запахами вареного бараньего мяса и жира. Там внук Джумабая готовил беш-бармак.

Аксакал рассказывал о разных случаях из истории животноводческой фермы. Я всматривался в его широкое, костистое лицо, обожженное степным солнцем, и не находил в нем разительных изменений. Поперек покатистого лба шла глубокая складка — она и раньше была и придавала облику старца величественность и умудренность. Густые белые волосы не перестали виться. И продолговатые, как у сына и внука, глаза не помутнели. Нет, аксакал решительно не стареет. Разве вот эти мелкие морщинки, что лучатся у переносья? Возможно, раньше их не было.

— Суслики жили в норах да тарбагатаны. Много сусликов. Другой раз и кашкыры наведывались. Да? А чем разживешься? Нет, ничем не разживешься. Голая степь. Да. А теперь как?..

Таир внес дымящийся котел. Поставил его на середину столика, сам присел подле дедушки.

— Поселок! Дворы зимние! Да? Ты видал? — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, продолжал, все более оживляясь: — Добро! Молодого скота на ферме поболее триста голов, баранов пятсот штук. Коней племенных развожу. В нынешний-то год на выставку в Москву я не попал. А в том году поеду, своих коней покажу. Да?

— Конечно, — подтвердил я.

— Вот тебе и «конечно»! — Аксакал хлопнул меня по плечу и расхохотался. — Ха-ха-ха! Ты беш-бармак кушай. Много кушай! У Джумабая мяса хватит! Добро. Да?

3

На рассвете, когда рассеивалась мгла осенней ночи и только-только зачинал белеть небосклон на востоке, а звезды на небе бледнели, мы выехали из двора Джумабая.

— Я что-то устал. Давай подремлем, — предложил Мамбет, удобнее устраиваясь на сиденье. Через несколько минут большая голова его упала на грудь. Он заснул. Дремал и Таир.

Мы ехали степной дорогой, через казахские аулы. О казахском ауле, или как его называли «Кыс-Тау» — «зимовка» в отличие от летнего поселения, у меня сохранились впечатления юности. Зимовка представляла собой несколько низеньких саманок — глинобитных избушек, без печей и дверей, с малюсенькими окошками, затынутыми выделанной скотской брюшиной. Самим названием «зимовка» подчеркивался кочевой образ жизни казахов и киргизов — скотоводов. Я знал: за минувшие годы в быту аульных казахов и киргизов произошли великие изменения — было покончено с кочевьем. Само слово «зимовка» навсегда утратило свой социальный смысл.

И все же мои представления о современном ауле оказались, говоря мягко, схематичными. По пути в совхоз имени Тимирязева мы миновали благоустроенные, озелененные аулы, мало в чем отличавшиеся от русских селений.

Только на их окраинах нет-нет да встречались, как жестокая печать «века слез и страданий» — следы «зимовок», — остатки серых или желтых глинобитных стен, размытых дождями и разрушенных временем...

На восточной стороне неба появилась багровая полоса. Она становилась все шире и шире. Выходило не по-осеннему огнистое солнце. Остывший за ночь воздух теплел с раннего утра.

Мы прибыли на центральную усадьбу совхоза имени Тимирязева до солнцепека.

Мамбет поехал на второе отделение, а я пошел по усадьбе. У нее внушительный вид современного рабочего поселка. Четыре улицы разделяют ее на четыре больших

квартала. Самые крупные и красивые здания образуют центральную улицу имени Тимирязева. А на улице Мира — индивидуальные застройщики. Это мне объяснил худощавый пожилой мужчина, назвавший себя строителем Усом с Кубани.

— Вот и я наконец построился. Только-только въехал. А то, знаете, как жил? В десятимерровой комнатке. А семья у меня ни мало, ни много — девять душ. И две снохи.

Директора совхоза Георгия Максимовича Черкашина я застал в конторе, за рабочим столом. Крепкий, крижистый человек, ероша на голове седеющие волосы, говорил:

— Наш совхоз единственный в Лозовском районе. Зато несколько МТС. Совхоз масштабный, хотя основали его всего два года назад, на голом месте. Подняли тридцать пять тысяч гектаров целинной земли. Обладаем могучей техникой: сто шестьдесят комбайнов, сто тридцать тракторов, до ста пятидесяти автомашин. И, представьте себе, машин не хватает для вывозки хлеба. Сорок грузовиков прислал в помощь Чимкент, а все мало... Животноводством начали заниматься, поголовья у нас вместе с молодняком едва ли не тысяча голов. Люди обзавелись хозяйством: коровы, овцы, свиньи, птица разная. Некоторые механизаторы легковые машины имеют. Но с жильем пока худо на отделениях. Да и с культурным обслуживанием не ахти как. Даже на центральной усадьбе нет клуба. Критиковать есть за что...

За короткие минуты, что я был у директора, в его кабинет один за другим входили люди, садились на диван, на стулья в ожидании очереди.

— Товарища, как видно, интересуется наша жизнь. Давайте поговорим, — сказала женщина в светлом платье. — Мы все здесь, можно сказать, старожилы. Вот хотя бы Василий Федорович Воронянский: начинал с плотника, был прорабом, дошел до начальника стройучастка. Как это случилось?

— Не знаю, Мария Петровна, как случилось, я в начальники не напрашивался, — смеясь, ответил ладный молодой человек. — Но вот о чем надо сказать. По строительству мы годовой план перевыполнили. По управлению идем первыми, а на отделениях люди еще неважно живут. В чем тут дело? Хозяйство разводят, а сами строиться не хотят. Ждут, когда мы им дома построим. А ведь кто захочет, тот делает. Взять Ивана Шеремета, пастуха, и товарища его, комбайнера Владимира Ципкалова. Приехали этой весной, у товарищей ютились, а вдвоем построили двухквартирный дом. Уже новоселье справили. Жены к ним приехали. Теперь возьмите Ивана Омелянчука. Заслуженный человек, ничего не скажешь. Лучший бригадир. «Москвича» купил, а хату не строит, живет в конуре с детьми малыми. В прошлом году еще сынок родился, Санька — целинник чистых кровей.

— А это Зоя Мироненко, алмаатинка, — представила Мария Петровна худощавую женщину лет двадцати восьми, — печником с дядей Сережей Власовым работает. Много пережила.

— Бывало, как заметет пурга, двое, а то и трое суток добираться до отделения на тракторе, — сказала Зоя. — Да что об этом вспоминать-то!

За непринужденной беседой быстро шло время. Когда вышли на улицу, огнистое солнце пекло немилосердно. Было трудно дышать.

Обходя поселок с Марией Петровной Губиной, я не только увидел то, что уже построено, но и узнал о том, что еще не построено, но непременно должно быть построено. И притом в срочном порядке. На усадьбе не было гаража и ремонтных мастерских, клуба. Школа мала, а больница пока размещается в небольших трехкомнатках, не отвечающих элементарным требованиям медиков.

— На отделениях нет бань. Многие до сих пор живут в таких вот хибарках. — Мария Петровна показала мне землянку на задворках Алма-атинской улицы. — Это единственная землянка. В ней жили мы, первые новоселы. Пусть стоит: никому она не мешает, а для нас память о первых днях битвы за освоение целины, за хлеб. Сейчас мы приостановили жилищное строительство: форсируем сооружение служебных общественных помещений. Жилье люди могут построить себе сами. Индивидуальным застройщикам помогаем материалами, выдаем ссуду.

В поселковом Совете в маленьком своем кабинете Мария Петровна продолжала рассказ:

— Кто полюбил эти земли и поселился навечно, тот уже построился. Вы видели улицу Мира, которая выросла из домов индивидуальных застройщиков. Они, как говорится, наши стабильные кадры. А эти вот, — проговорила Мария Петровна, возвращая военные билеты двум здоровенным хлопцам, — журавли целинные...

Впервые я услышал эти слова от Мамбета, он в шутку сказал их своему сыну. Но в устах Марии Петровны «журавли целинные» звучали, как издевка.

— Все равно вернетесь: не первый случай, — говорила она хлопцам. — Там-то, на Кубани, после наших просторов вам тесновато покажется. Я сама кубанка, знаю.

Когда пристыженные молодцы вышли, Мария Петровна объяснила мне:

— Наш совхоз построен силами преимущественно кубанцев, украинцев, белорусов. В первое время, скрывать не буду, некоторые молодые горожане не выдержали трудностей, позорно бежали. А эти нет. Прибыли с семьями. Многие из них фронтовики, а по мирному времени хлеборобы. Знают толк в земле. Зубами в нее вгрызались. Работают славно. Однако нашлись среди них мужички себе на уме. Быстро обзавелись хозяйством: расплодили свиней, птицу, по две, по три коровы имеют. Хлевы построили. На личном хозяйстве шибли деньгу, а теперь с набитыми карманами восояси. Их мы «целинными журавлями» прозвали. Да немного таких. Иные, промотав сбережения, обратно вернулись, христом богом просятся на работу.

Этот процесс движения «туда» и «обратно» я наблюдал на базе второго отделения, расположенной в тридцати километрах от центральной усадьбы. Поодаль, направо от тока, разместился небольшой поселок из домиков стандартного типа. Здесь живут индивидуальные застройщики. На улице в пыли купались куры, во дворах паслись стада жирных гусей и уток, из сараев доносилось блеяние овец. И я стал свидетелем такой сцены. К конторе подошла машина, груженная домашним скарбом. В кабине сидела молодая женщина с грудным ребенком на руках. Запыленный долговязый мужчина средних лет, легко перемахнув через борт грузовика, направился к вучке целинников.

— Помогите разгрузиться, братцы!

— Что больно скоро, Петро, возвратился? Журавли летят на юг, а ты...

— А я до дома, — оборвал приезжий. — Вот не знаю только, где бы поначалу Марийку с ребенком на житье поместить.

— Занимай пока хибару тракториста Миколы Жигайло. Видишь: грузится.

У опустевшей временки подле конторы стоял другой грузовик. На узлах сидели чернобровый красавец Миколка, две женщины и паренек лет пятнадцати. Здесь тоже было людно.

4

По холодку мы возвращались в Павлодар.

Миновали курорт «Муялды», живописное местечко в степи, недалеко от Павлодара. Мамбет обменялся со Степой местами и сам повел машину. С большака он свернул прямо на целину.

— Ата везет нас на свою родину, — сказал Таир, — хочет взглянуть на могилу своего деда.

И в самом деле вскоре Мамбет остановил машину возле холмика, обнесенного дерном.

— Вот так... Здесь стоял наш аул, — медленно проговорил Мамбет. — Выйдем.

Мы присели на дерновой огороже. Мамбет оперся локтями о колени и спрятал свои длинные пальцы в жестких черных кудрях, тронутых сединою.

— Расскажу вам об одном вечере, — начал в раздумье Мамбет. — Моя мать Нурхан — она была в ту пору самой красивой женщиной на земле — хлопотала у костра, жарила просо. Дед Аманжол, дряхлый, сухой, как обмолоченный колос, сидел у костра, ладил какую-то сбрую. Я голышом (так бегали тогда ребятишки «черной кости») катался верхом вокруг юрты на Карабасе, здоровенном волкодаве. Оттуда, — Мамбет махнул рукой вдаль, — с пастбищ, где паслись косяки кобылиц бая Исмагула, прискакал на буланом иноходе мой отец Джумабай. Не успели мы рассестись за столом, как послышался топот конских копыт. В аул въехал отряд павлодарских казаков. Я выскочил из-за стола и побежал к дороге. «Красивые урусы!.. Красивые

урусы!..» — кричал я, сзывая товарищей. В одну минуту к обочине дороги сбегалось все голоштанное племя аула. Нашему детскому восхищению не было границ. Мы любовались кокардами, красными околышами на казачьих фуражках, лампасами на штанах, богатой конской сбруей в серебряных насечках. Отряд стороной объехал байские юрты из белой добротной кошмы, спешился. Казаки по двое, по трое разбрелись во все стороны и начали шнырять по залатанным юртам бедняков. Они выгоняли из юрт мужчин, ловко загибали им руки за спину, связывали волосяными жгутами и сгоняли в кучу. То же проделали они и с моим отцом Джумабаем..

Мамбет помолчал, потом заговорил каким-то чужим голосом:

— Я вцепился в штаны с красными лампасами и, обливаясь слезами, заорал: «Не трогай отца!» Второй казак ударил черенком нагайки по моим рукам. Мои судорожно впившиеся в штаны карателя пальцы разжались. Казак дал мне хорошего пинка, и я полетел к ногам старика Аманжоло. Дряхлый пастух не стерпел и крикнул: «Что ты делаешь, черт!» Подняв с земли камень, он бросил его в казака. Дряхлый пастух промахнулся. Но не промахнулся каратель. Он хлестнул нагайкой по лицу Аманжоло. Старик покачнулся и, как слабо набитый сеном мешок, повалился на землю... Отца увели. И тьма навалилась на аул. В небе ни звездочки. Догоравший костер освещал рассеченное лицо старика и черную лужу крови у его белой головы. Я и мать не смели подойти к нему, мы боялись крови. Карабас протяжно выл.

Я взглянул на лицо Таира. Оно было словно каменное, но глаза горели и жилки на висках набухли.

— Ата, ты никогда мне не рассказывал это... Почему?

— Не было случая. Слушай дальше. Не знаю, долго ли мы сидели у потухшего костра. Послышался голос отца. «Мамбет...» Я не понимал: явь это или сон? Но зов повторялся. Нет, это не сон: мать тоже встрепенулась и откликнулась тихо: «Джумабай!»... Да, это был отец. Ему удалось бежать с этапа. Тут же отец и мать вырыли неглубокую могилу и похоронили деда Аманжоло. Потом отец взял две уздечки и скрылся во тьме. Мать стала кутать меня в какую-то хламиду. Вскоре верхом подъехал отец, на поводу он вел вторую лошадь. И хотя было темным-темно, я узнал знаменитую рыжую кобылицу, гордость бая Исмагула — эту лошадь никто не мог обойти в байге. «Садись, Нурхан...» — сказал отец и, не сходя с коня, склонился, подхватил меня сильными руками и рванулся в густую черноту ночи... Когда степь озарилась лучами восходящего солнца, мы спешили, чтобы дать отдых коням. Я взглянул на отца и замер в испуге: голова его была совсем бела. А поперек лба пролегал глубокий рубец...

В Тургае, — продолжал Мамбет, — Амангельды создал армию из двадцати отрядов. Одним из них командовал молодой, в одну ночь поседевший джигит, отец мой... Восстание было подавлено. Сотни, тысячи людей приговорены к смертной казни, сосланы в каторгу. Земли конфискованы, посева уничтожены, имущество разграблено. На тыловые работы было отправлено до ста пятидесяти тысяч казахов. Ищейки полковника Иванова, впоследствии военного министра при Колчаке, преследовали отца. Вот так... Скрываясь от погони, мы снова оказались на родине, но только не в родном ауле, а на берегу Иртыша. Отец продал обеих коней цыганам по дешевке. На вырученные деньги сколотили саманку близ кирпичных сараев, что на берегу узенькой Комисарки, притока Иртыша. Ты, Таир, не помнишь этой саманки, от нее теперь и следа не осталось. А ты должен помнить, — обратился Мамбет ко мне, — «технологию» производства кирпича на кирпичных сараях. Изнурительная, смертельно-тяжелая это работа — ходить целый день по кругу, по колена в захрясшей жиже и месить, месить ее... Но, знаешь ли: только заговори о кирпичных сараях с моим стариком Джумабаем, и лицо его озарится светлой улыбкой. «А-а... добро, добро, — скажет он. — Кирпичные сараи — это моя школа». Школа, верно. Здесь мой Джумабай впервые услышал от русского мастера, большевика Алексея Савельевича, слова: «Ленин», «большевики», «пролетариат». Вначале отец плохо понимал смысл этих простых и великих слов. Алексей Савельевич терпеливо разъяснял ему их значение. А потом в нашей тесной саманке стали собираться люди, русские и казахи, чтобы послушать правдивое слово Алексея Савельевича... Ты помнишь первый митинг на Первомайской площади, куда собрались не только павлодарцы, но и жители соседних деревень,

етаниц, аулов? Мы, второклассники приходской школы, стояли у самой трибуны. Алексей Савельевич читал декрет о земле, подписанный Лениным... Помнишь, наверное, и горькие годы... — длинная мускулистая рука Мамбета тяжело легла на мое плечо, — годы разгула белогвардейщины. И лютыми были последние дни анненковщины. Стояла зима. Казачьи части поспешно отступали, бросая обозы. Белогвардейское офицерье бежало вразброд. Анненковские каратели с эмблемой смерти на руках и с лентой на груди, на которой было написано «С нами бог и атаман Анненков!», как мясники на бойне, расправлялись в тюрьме с заключенными... Счастье отца, что попал в камеру вместе с Алексеем Савельевичем. Не растерялся русский большевик в критическую минуту. Он призвал к борьбе. Заключенные разоружили стражу, забаррикадировали вход... Ночью город заняли красные. Вот так... После гражданской войны моего Джумабая назначили директором кирпичных сараев. А сердце пастуха-казака истосковалось по степным просторам, по отарам овец, по табунам быстроногих коней. Создавался совхоз «Чакат». Джумабай пошел в уком РКП. «Отпусти в совхоз, Алексей Савельич. Хочу жить в моей степи, дышать моим степным воздухом, пасти мои табуны». Алексей Савельевич знал упрямый характер друга, не стал спорить. «Добро, Джумабай!» «Добро, Алексей Савельевич!» «Рахмет, спасибо за школу!» Отец при случае любит вспомнить, как они прощались и каждый украдкой смахнул с ресниц наворачнувшуюся слезу... Вот так...

Мамбет встал и молодецки тряхнул сына за плечи:

— Нельзя, Таир, крепко любить настоящее, верно строить будущее, не заглядывая в прошлое. Что, разве не так?

В Павлодаре Мамбет велел Степе провезти нас по улицам. Мы проехали город из конца в конец. Начали с вокзала.

— Построен недавно, — говорил Мамбет, — а уже тесен: так велик поток пассажиров. Теперь из Москвы две дороги, можно подъехать к Павлодару и с правобережья, и с левобережья — кому как нравится.

Мы объехали гигантскую стройку комбайнового завода, который ежегодно будет выпускать столько сельхозмашин, сколько дают их сейчас все комбайновые заводы Советского Союза. Алюминьстрой раскинулся вдоль правого берега Иртыша. В Павлодаре втором — новом городе — аккуратные улицы обсажены деревьями. Взволнованный и радостный, я ездил и ходил по улицам родного и уже незнакомого мне города. Степной богатырь ничем не напоминал старый Павлодар. На несколько километров раскинулся он вверх и вниз по течению реки и в глубь степи.

...Дома за чаем Мамбет сказал:

— Чтобы покончить с воспоминаниями о прошлом, напомню, что писал великий русский сатирик в произведении «Господа ташкентцы». — Он вышел из-за стола, достал книгу и, раскрыв ее, прочел вслух: — «Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д. — вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента». Каким же щедринским, жалким «Ташкентом» был наш Павлодар?! Посмотрим самую статистическую таблицу. — Мой земляк снял с полки том Большой Советской Энциклопедии. — Вот что было написано о Павлодаре еще не так давно, в 1939 году: «Павлодар, город, центр Павлодарской области Казахской ССР, конечная станция железнодорожной ветки. 28.800 жителей. Промышленность города заметно выросла при Советской власти. Важнейшие отрасли — добыча соли и мукомолье. Развито валяльно-войлочное производство». — От себя добавлю, — продолжил Мамбет, — валяльно-войлочное производство представляли три — четыре пимоката, а мукомольное — десятка два ветряных мельниц, от которых теперь и следа нет.

Дремотный старый город, стоявший в стороне от больших дорог, даже после революции, даже в тридцатые годы не выходил из полудремы. Люди жили большой жизнью, а Павлодар долго оставался самим собою, не менял лица, хотя неподалеку от него уже дымились домы «Магнитки» и Кузнецка.

Поднятая целина прииртышских степей разбудила, вздыбила город, который местные жители величают с любовью Степным богатырем.

КРАЙ ПЕЧОРСКИЙ, ПРИПОЛЯРНЫЙ

«Постарайтесь разыскать или поручите разыскать печатные материалы и отчеты о нефтеносном районе реки Ухты...»

(«Ленинский сборник», XXIV, стр. 85).

I

В последних числах августа заметно увядание. Сквозным становится тополь, хотя вокруг еще буйствует зелень, бурет репейник, выше изгородей поднимаются растущие вразброс золотые шары. Прельщенные теплом уходящего солнца, старые люди подолгу засиживаются возле палисадников. В другое время, гляди, и не заметил бы примет осени, а тут довелось исходить десятка полтора московских дворов в поисках домовладений Касаткина.

На бывшем Новинском бульваре, где ныне пролегла улица Чайковского, ничего не осталось от старой Москвы. Искать по дореволюционному адресу дом на перестроенной магистрали — дело почти безнадежное. Даже старожилы, почтенные люди, к которым мне приходилось обращаться с расспросами, не скрывали своих улыбок.

— Что кануло, то кануло, — заметил старый москвич и посоветовал обратиться в музей.

Пришлось объяснить, что разыскиваются истоки важного документа, опубликованного в «Ленинском сборнике».

Это заинтересовало старика. Опираясь на трость, выставленную вперед, он изучающе смотрел на меня сквозь стекла пенсне, затем неторопливо стал обводить глазами улицу, сплошь застроенную огромными зданиями. Старожил остановил взгляд на высотном доме, что на площади Восстания, затем повернулся, взглянул на такой же дом на Смоленской площади и добродушно сказал:

— Давние времена вспоминаете, молодой человек. Посмотрите, что кругом...

По всему было видно, домовладений Касаткина не найти ни на бывшем Новинском бульваре, ни в окрестных переулках. А разыскать нужно. Ведь там жил податель докладной записки Владимиру Ильичу Ленину.

Кто был этот человек — вопрос почти безответный. Известно лишь то, что донесла до нас докладная записка: заведующий Главной бухгалтерией отделов труда Москвы и Московской губернии Александр Семенович Соловьев. В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС рукопись Соловьева бережно сохраняется: на ней пометки, сделанные рукой Владимира Ильича. При чтении фотографии этого документа и удалось обнаружить адрес музейной давности.

Откуда московскому бухгалтеру было известно об ухтинской нефти?

Ответить на этот вопрос никто не может. В своих воспоминаниях о Владимире Ильиче Ленине академик И. М. Губкин отметил, что рукопись Соловьева была вручена ему сразу же после революции с сопроводительной запиской Ленина, в тексте имелись многочисленные пометки. Рукопись долгое время хранилась у Губкина и лишь много

лет спустя после смерти Ленина была передана в Институт марксизма-ленинизма. Свет она увидела еще позже: только в 1942 году, когда вышел 35-й том «Ленинского сборника».

С библиотечным экземпляром этого томика я и ходил по бывшему Новинскому бульвару.

Как ни трудно было вести поиски, ленинский томик оказался прекрасным «путеводителем». Понятно, он не описывал фасады домов, зато раскрывал сердца людей, вызывал в них дальние воспоминания, и перед глазами вставала живая картина той грозной поры, когда в условиях голода и разрухи решалась судьба революции. Многие рассказали старые москвичи. Среди собеседников оказались даже такие, кто знал баррикады Красной Пресни, воздвигавшиеся здесь же, в районе Новинского бульвара.

Многое изменилось с тех лет. Успело вырасти не одно поколение людей, возникли новые города, и, пожалуй, незачем было бы разыскивать проживавшего здесь когда-то Соловьева, если бы ленинский документ не имел прямого отношения к нынешней Ухте. Этот красивый северный город, возникший в Приполярье, обязан своим рождением Владимиру Ильичу Ленину, который в труднейшие для революции времена проявил о Северном крае, как и обо всех «нашинских» краях, великую заботу.

Записка Соловьева начинается так:

«В. И. Ульянову (Ленину)

Ввиду наступающего кризиса в топливе, я позволю себе обратиться Ваше внимание на мою записку об ухтенской нефти, с которой я хорошо знаком. От Вас зависит дать распоряжение о дальнейшем по отношению осмотра на месте и даже разработки оной, тем более, что нефть, хотя неразрабатываема, но силою природы безактивно пропадает»¹.

В. И. Ленин внимательно изучил рукопись, подчеркнув в тексте одной, двумя и тремя чертами некоторые места, и на своем бланке написал Заместителю Председателя ВСНХ:

«Прошу направить в соответствующий отдел:

1) прилагаемую бумагу с поручением мне ответить, что именно сделано в этой области;

2) запрос: что сделано для утилизации нефти, имеющейся (по словам Калинина) в 70 верстах от Оренбурга.

С товарищеским приветом
В. Ульянов (Ленин)»².

Эти документы доносят до нас живое дыхание того времени. Ленин решал большие и малые, обыденные и перспективные, срочные и архисрочные дела. Вот они и другие ленинские документы, говорящие сами за себя: «О сборе стреляных гильз», «О сверхурочных работах в предприятиях, работающих на оборону республики», «О прекращении пассажирского движения», «О посылке отрядов в хлебные губернии»...

В тот же самый день — 30 сентября 1919 года, когда рукопись Соловьева с запиской Владимира Ильича ушла в ВСНХ, — Совнарком по предложению Ленина обсуждал вопрос первостепенной важности: «О критическом положении топлива и транспорта».

Молодая Советская республика находилась в тисках хозяйственного кризиса. Она была сжата огненным кольцом наседающей белогвардейщины и интервентов. Ее терзала внутренняя контрреволюция. И, несмотря на это, Владимир Ильич уже тогда видел великое будущее России, прозорливо определял, как волюно разовьются ее могучие производительные силы и щедро раскроются неисчерпаемые ресурсы. Недаром в коммунистическом субботнике московских железнодорожников он увидел проявление неистощимой творческой энергии миллионных масс трудящихся и назвал скромный подвиг московских рабочих «великим почином». С такой же гениальной прозорливостью Владимир Ильич оценивал заботу рабочих о каждом пуде железа, заботу крестьян о каждом пуде хлеба и смело называл это началом коммунизма. Разведку север-

¹ «Ленинский сборник». XXXIV, стр. 218.

² Там же, стр. 217—218.

ной нефти Владимир Ильич, безусловно, мыслил как начало изысканий полезных ископаемых на всей обширнейшей территории бывшей Российской империи — от Северного Ледовитого океана до Черного моря, от Балтики до Тихого океана. Недаром 9 марта 1920 года, пять месяцев спустя после прочтения рукописи Соловьева, Ленин напомнил командированному в Архангельск представителю ВСНХ: «Постарайтесь разыскать или поручите разыскать печатные материалы и отчеты о нефтеносном районе реки Ухты...»¹.

Ленину была известна печальная история Ухты. Отдельные русские промышленники вложили в ее скучную землю все свое состояние, а нефти не нашли. Конечно, в условиях царизма и господства иностранного капитала им не под силу было освоить Север.

Великая Октябрьская социалистическая революция смела преграды на пути к природным богатствам страны и открыла неограниченный простор для разработки земных недр, ставших достоянием народа. В первый же год Советской власти Ленин предложил Высшему Совету Народного Хозяйства высказать свои соображения об изыскании угля и нефти в Печорском крае, войти с предложениями о прокладке туда наиболее удобного железнодорожного пути.

Геологопоисковые работы на Севере были начаты незамедлительно, как об этом вспоминает академик Губкин, и только вторжение через Архангельск западных интервентов прервало на некоторое время начатое дело.

Исследователям, занимающимся вопросами Севера, рукопись Соловьева из-за позднего ее опубликования долгое время не была известна. Надо сказать, что она осталась почти незамеченной и после Великой Отечественной войны. А этот документ, снабженный ленинским указанием Высшему Совету Народного Хозяйства, является одним из основополагающих в истории Печорского края. Во исполнение прямых ленинских указаний еще весной 1921 года сюда была направлена специальная геолого-разведочная экспедиция, которую возглавлял ныне здравствующий восьмидесятилетний профессор, Герой Социалистического Труда Александр Александрович Чернов...

Кто же такой Соловьев?

Прямые поиски этого человека по адресу сорокалетней давности ничего не дали. Указанного в рукописи дома № 1/18 по Новинскому бульвару — Новинскому переулку не оказалось вообще. Выручила фамилия бывшего домовладельца. В домишке с колоннами, стоящем во дворе дома № 3 по нынешнему Большому Новинскому переулку, наконец удалось напасть на след. Одна пенсионерка вспомнила, что в доме Касаткина когда-то, в молодости, жила ее подруга.

От Садового кольца пришлось направиться к Москве-реке, где строился Большой Арбатский мост. Бульдозеры уже успели сровнять с землей здесь несколько кварталов, мешавших стройке, в газетах и журналах появились снимки этих мест — «Рождение новой магистрали». К счастью, разыскиваемый дом каким-то чудом еще был цел под высокой песчаной насыпью, словно не хотел исчезнуть, не сказавши людям своего последнего слова. Опоздай сюда на день, и все было бы потеряно: жильцы грузили последние вещи.

Уже лет двадцать, как в деревянном покосившемся строении никто не вспоминает фамилию Соловьева. Старик умер в середине тридцатых годов, на восьмом десятке лет. Жил он одиноко.

И вот стены низенького флигелька, в которых родилась докладная записка Владимиру Ильичу Ленину. Мы разговорились с уезжавшим жильцом — Станиславом Фортунатовичем Моравским. Этот человек — живая история трех русских революций. В позапрошлом году правительство Польской Народной Республики наградило его орденом «Знамя труда» I степени за участие в событиях 1905 года. Моравский — поляк, член КПСС, революционер-подпольщик. Вместе с другими польскими социал-демократами он организовывал в 1905 году вооруженное выступление металлистов на варшавской фабрике «Вулкан». Во времена реакции пришлось спасаться от «столыпинского галстука» — эмигрировать сначала в Австрию, затем переключаясь в Германию, из Германии — в Бельгию, Францию. В 1917 году Моравского избрали членом Совета солдатских депутатов Московского гарнизона и товарищем (заместителем)

¹ «Ленинский сборник». XXIV. стр. 85.

председателя солдатской секции Московского Совета рабочих и солдатских депутатов. С 25 ноября, то есть с первого дня Советской власти, он комиссар Москвы по борьбе с грабежами. Впоследствии работал во ВЦИКе.

Станислав Фортунатович поселился здесь еще при жизни Соловьева. Он и его родственники смогли в некоторых чертах нарисовать облик Соловьева. Одно время Моравский даже встречал его во ВЦИКе.

— Человек он, конечно, не революционный, — заметил Моравский, — но как специалиста его, видимо, ценили. А вообще странный какой-то был, в церковь похаживал...

Обстоятельства, при которых Соловьев писал про ухтинскую нефть, Моравскому неведомы. Из разговора выяснилось, что, возможно, жив племянник Соловьева, сын его сестры. В тридцатых годах его видели у старика.

Усилиями семьи Моравских и других жильцов дома удалось установить, что племянника зовут Александром Семеновичем, а фамилия его — Козлов. Это была новая нить, но ухватить ее трудно: в Москве Козловых, наверное, чуть меньше чем Ивановых...

Узнав, для какой цели ведутся поиски, работники Мосгорсправки предприняли все от них зависящее, чтобы установить адрес проживавшего или живущего в Москве Козлова Александра Семеновича, сына Анны и Семена Козловых. И, надо сказать, повезло. Не так уж долго пришлось ходить по адресам Козловых. В одной из квартир, в переулке возле зоопарка, на звонок вышел нужный нам Козлов — племянник Соловьева. Он более четверти века прослужил в Советской Армии и демобилизовался в звании подполковника.

— Это вы о дедушке спрашиваете? — изумился наш новый собеседник, узнав, в чем дело.

В памяти племянника Соловьев на всю жизнь остался тем «дедушкой», с которыми так интересно было сидеть рядом. Старик любил парнишку. Только однажды он выбранил своего Сашу. Как же: его любимец, ни с кем не посоветовавшись, уходил на фронт. В свои-то пятнадцать лет!..

Это было в 1918 году.

О том, что «дедушка» писал Ленину про северную нефть, Козлову тоже не было известно. С нескрываемой жадностью читал он строку за строкой ленинский документ.

— Вон как! — Козлов закончил чтение и стал рассказывать о Соловьеве все, что знал и помнил.

— До революции служил бухгалтером в банке «Юнгерс» и в частных фирмах. Вспоминается — у Севастьянова, Алексеева и еще у кого-то. После революции работал в Моссовете, затем в финансовом отделе ВЦИКа, был общественным контролером Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции. В старости получал пенсию. На похоронах мы узнали, что дед был к тому же и каким-то «внештатным» протодьяконом церквушки в Новинском переулке.

И, как бы опасаясь вопроса об отношении Соловьева к революции, Козлов подчеркнул:

— Одно могу сказать: против Советской власти старик никогда не шел. Когда я уходил добровольцем, дед не ругал меня за то, что иду защищать Советскую власть, он боялся: могут убить, а еще хуже — взять в плен и пытаться.

Случайно коснувшись этого в разговоре, Козлов, пожалуй, и не заметил, как помог возможно лучше охарактеризовать «деда». Он рассказал случай, послуживший поводом к высылке Соловьева в 1905 году:

— Возле дома, где жил дед, была Новинская тюрьма, которую сейчас сломали. Однажды, проходя мимо, старик увидел, что в бане вешают революционеров. Он всполошился весь дом, к тюрьме стал сбегаться народ и требовать прекращения убийств. За это его и арестовали...

Многое из сказанного Козловым и Моравским сошлось, хотя эти люди по-разному смотрели на жизнь Соловьева. Облик этого человека удалось дополнить и другими фактами. Например, библиотека, частично сохранившаяся у наследника, дала представление о круге чтения старика. Рядом с юбилейным изданием сочинений Пушкина здесь оказался журнал «Дело», стояли справочники, книги о путешествиях. Владелец

аккуратно комплектовал «Огонек» — литературное приложение к «Биржевым ведомостям». Пожелтевшие закладки свидетельствовали о том, что заметки по технике, медицине, фотографии привлекали его внимание.

Итак, поиски закончились. Личность подателя докладной записки была выяснена.

Оставался последний вопрос: откуда Соловьев знал об ухтинской нефти?

Просмотр литературы о Печорском крае позволил ответить и на этот вопрос. В одном месте своей рукописи Соловьев воспользовался текстом из книги врача С. В. Мартынова «Печорский край», вышедшей в Петербурге в 1905 году. В другом месте он сам сослался на работы инженера-технолога Тумского и лаборанта Московского университета Беркенгейма, производивших анализы образцов ухтинской нефти. Таким образом, рукопись Соловьева — плод тщательного изучения литературы.

...И вот мы пытаемся представить себе этого человека, идущего торопливой походкой с Новинского бульвара в Моссовет. О многом он раздумывал.

Прошлое стигнуло безвозвратно. Царизм сам расстрелял веру в себя: вспомнились убийства в бане... Пришло новое, но это новое унаследовало разруху. В стране царствовал голод.

...На углу Дмитровки плакат: «Республика нуждается в топливе». Вспомнилась Ухта, о которой в свое время шумели банкиры Москвы и Питера. «А знает ли о ней Ленин?».

И человек решает написать для него докладную записку!..

Самокатчик отвез ее в Кремль. Там поставили входящий номер—16220. Через неделю, 30 сентября 1919 года, рукопись ушла в ВСНХ. Это было очередное ленинское распоряжение, зарегистрированное секретариатом под номером 10562.

Трудно сказать, в тот же день или позже узнал Соловьев о судьбе своей рукописи. Но 30 сентября 1919 года Владимир Ильич, читая записку о северных землях, пожалуй, невольно вспомнил и далекое Шушенское.

II

Когда на топких берегах Ухты еще не существовал нынешний город и не было Печорской железной дороги, сюда добирались кружным путем. От Архангельска парходом плыли до устьев Печоры, затем поднимались вверх до места впадения Ижмы, далее на лодках двигались в глубь тайболов — дремучих северных лесов. Путь был долгий и трудный.

Если в век пара он требовал больших усилий, то каково же было пешим землепроходцам! А ведь о печорских богатствах в Москве было известно еще в XV веке. В более поздние времена в этих краях производилась добыча меди и серебра, вырубался точильный и аспидный камень. Не была забыта и нефть. По распоряжению Петра I нефтеносные породы с Ухты попадали на исследование во Францию и Голландию.

Рудознатцев манила к себе северная земля. В глухую полночь на санном пути горели злые огоньки волчьих глаз, к одинокому жилью кралась, припадая на мягкие лапы, огненная лисица, чутко стерегла таежные понизовья росомаха, украшенная разбойничьими серьгами-кисточками. Лишь сохатый да лопухий не были опасны человеку. Но не столько, пожалуй, вреда причиняли звери, сколько кровосос-комар, властвующий в северных землях и донныне. Стоит на минутку остановиться, как налетают целые рои комаров: одежда становится серой.

В самых что ни на есть дремучих дебрях натолкнулся в 1721 году мезенский человек Григорий Черепанов на чистый нефтяной ключ и отписал о своей небывалой находке в Петербург. Два с половиной десятилетия спустя архангельский купец Федор Прядунов построил на том месте первый «нефтяной завод». С первопутком с Ухты ежегодно уходили в Москву санные обозы, увозившие до тысячи пудов «передвоенной» нефти. Таежный промысел существовал недолго. Федор Прядунов умер в московской тюрьме, посаженный туда за невнос десятинных денег с добытой в 1751 году нефти — 35 рублей 23 копейки¹.

Ухта замолчала на целое столетие. В 1844 году архангельские, вятские и вологодские купцы попытались испросить у архангельского губернатора маркиза де-Тра-

¹ Из экспозиции Сыктывкарского краеведческого музея.

версе дозволение на устройство торгового дома на Севере и порта на реке Печенге, но получили отказ. Титулованная особа наложила на их прошение глубокомысленную резолюцию: «Там могут жить только два петуха и три курицы»¹.

...И все-таки нашелся на Руси человек, который нарушил молчание Ухты. Им оказался страстный ревнитель Севера Михаил Константинович Сидоров. Недалеко от города Ухты и поныне стоит его скважина, пробуренная еще во второй половине прошлого столетия. От снегов и дождей почернели дубовые доски обсадной колонны, выпиленные из целиковых кряжей. По всему видно, деревья выбирались не меньше, как в два обхвата. Закрайны успели протрухляветь и выкрошиться; низ, пропитанный нефтью, еще крепок.

Рядом со скважиной течет ручеек. Время от времени по воде разбегаются синеголубые пленки с красновато-желтыми выпцетами. Глядя на них, невольно вспоминается записка Соловьева, в которой рассказывается, как появляются на воде масляные пятна. Бисеринка за бисеринкой, а то и целая пуговица, выкатываются на поверхность. Пятна, разметнувшись по воде, соперничают в расцветке с радугой...

Одинокое стоит в тайге скважина Сидорова. Давно бы надо огородить ее, как музейную ценность, чтобы ненароком не срубили на костер, да, видно, все несподручно было геологам и буровикам.

До революции ухтинская нефть была лакомой приманкой для многих дельцов и проходимцев. Недаром здесь орудовали целые своры. Так, первыми строителями большака на Ухту были некто Козлов и Парадынский. Один из них беззастенчиво обсчитывал рабочих, другой — очищал земскую кассу. Короче говоря, оба воровали народные деньги. Но это еще ничто по сравнению со спекуляцией нефтеносными землями. Кто-то из ловкачей пустил в русской печати дурное сообщение, поступившее якобы из Перми: на Ухте ударил нефтяной фонтан. Пронырливый камергер его величества граф Канкрин отхватил у министра Витте «под промыслы» сразу всю Ухту. О том, что представляли собой эти «промыслы», можно судить по такому факту: на двух тысячах квадратных верст не было тронута ни одного вершка земли. В 1905 году монополия Канкринина кончилась, и на Ухту двинулись сошки помельче. Они наперебой ставили заявочные столбы. Народ так и окрестил их: «столбопромышленники». Нефтяные «промыслы» их легко укладывались в боковой карман сюртука. Однако, перепродажа дозволенных свидетельств на земельные участки давала немалые куши.

Кое-кто из более честных предпринимателей подумывал о бурении, да хитрее их оказался старый Нобель, глава бакинских нефтяных монополистов. Иностранцы капиталисты Нобели и Ротшильды, прибравшие к рукам всю бакинскую нефть, зорко следили за своими интересами. Появление промыслов на Севере подорвало бы их господствующее положение в России. В ход были пущены испытанные колонизаторские средства: порча оборудования и ложная информация, угрозы и подкупы. Нашлись и услужливые исполнители. Отставной полковник Воронов, слегка поковырявшись в северной земле, громогласно заявил, что Ухта бесплодна. Это подорвало к ней веру. Впоследствии инженер Белобородов публично назвал цену такому заявлению: наличными — 2 тысячи фунтов стерлингов, в акциях — 10 тысяч.

Есть сейчас в Ухте замечательный советский ученый, геолог, доктор наук Андрей Яковлевич Кремс. Он хорошо знает историю Ухты, разведке ее недр посвятил много лет жизни.

...Мы ехали в семиместном «газике» по гравийному тракту от Ухты в сторону Вой-Вожа. Навстречу бежала мелкорослая тайга, над которой клубились уже набравшие силу одиночные кучевые облака. Достав миниатюрный слуховой аппарат, Кремс запахнул свисшую полу видавшей виды горняцкой шинели с синим кантом по воротнику, снял форменную фуражку, обнажил жесткие седые волосы.

— В прошлом Ухты, — заметил он, — можно ценить усилия, пожалуй, только Сидорова и промышленника Гансберга. Эти люди прокладывали прямую дорогу. Особенно интересна судьба Сидорова. Сибирский золотопромышленник, он прибыл на Ухту лет двадцать спустя после того, как архангельский губернатор порадовал купцов своими «петухами и курами»...

¹ Из путевых очерков А. Панкратова «Миллионы в земле».

Кремс минуточку помолчал, собираясь с мыслями.

— В Баку, — продолжал он, — в те далекие времена горным техником Семеновым уже была пробурена первая в мире нефтяная скважина. А здесь только один человек думал о нефти — мезенский лесничий Гладышев. Бедный человек он был, не имел денег даже на рассылку своих писем крупным промышленникам с приглашением заняться Ухтой. Так вот этот лесничий и приманил Сидорова...

Машина шла быстро, насколько позволял тракт. Размашистыми тупоугольными изломами змеился сбoku подвесной газопровод, мелькали сторожившие дорогу обгоревшие ели — жертвы строителей этой магистрали.

Рассказ Андрея Яковлевича был увлекателен, но не менее интересно было смотреть и на эту таежную новь.

— А почему трубопровод ломаный? — спросил Андрея Яковлевича один из путчиков. — Болота виноваты?..

— Ну, болота можно и не обходить, — ответил Кремс, — все равно на болотах стоим. Изломы позволяют эксплуатировать систему без опасения, что она лопнет на морозе, а морозы у нас лютые... Это, если можно так выразиться, своего рода расчлененные стыки рельсов.

Действительно, насколько экономичнее наземный трубопровод!..

Тайга и доныне неохотно подпускает к себе человека. Сколько было в прошлом тщетных попыток прорваться в глубь тайболов! Как еще одно доказательство этому, мне вспомнилась случайно обнаруженная в Ухте рукопись Антонина Георгиевича Вечеслова. Будучи студентом Петроградского технологического института, он в 1908 году принимал участие в экспедиции инженера Попова по изысканию водных путей. Эта рукопись, хранящаяся у сына Вечеслова, во многом характеризует дореволюционный неизведанный и необжитый Печорский край.

Еще и сейчас здесь имеются места, где не ступала нога человека. Тем понятнее нам судьба Михаила Константиновича Сидорова. Жизнь его, безусловно, равна подвигу. Вид замшелых елей, что испокон веков сторожат северную землю и охраняют обветшалую деревянную сваяжину, невольно переносит нас в то давнее время. Вот так же монотонно шумели они, когда здесь впервые появился Сидоров, одетый по-дорожному — в высоких сапогах и брезентовом дождевике. В его кармане, как можно предположить, лежало письмо Гладышева. В тряской телеге и углой плоскодонке не раз, вероятно, перечитывал его золотопромышленник: оно указывало цель поездки.

Сидоров был богат, но не скуп. Щедрой рукой выделил он 160 тысяч рублей на дела народного образования и научные труды по Северу, а затем еще столько же — на приобретение для России коллекций из полярных стран. Уже тогда он состоял членом нескольких научных обществ, а к концу жизни числился уже в девятнадцати таких обществах. Ему принадлежит более 180 научных докладов по вопросам Севера. Конечно, не ради «Владимира четвертой степени», которым его пожаловали «во внимание к особым по развитию русского торгового мореходства заслугам», делал Сидоров так много для России. Он любил ее как истинный патриот, за что и подвергся административной ссылке. На первый взгляд может показаться парадоксальным: из мест ссылки высылать, и кого — богача-золотопромышленника! Дело было, оказывается, проще: губернатор Восточной Сибири просто-напросто не потерпел у себя прогрессиста с беспокойным характером и без суда «определил» его на Север, как «вредящего золотопромышленности человека». Еще бы! Михаил Константинович позволил себе пожертвовать 25 тысяч золотых на открытие университета.

Не суждено было этим деньгам послужить науке. В Енисейском губернском правлении Сидорову учинили унижительный осмотр: «Не скопец ли?..»

Фыркавший губернатор собственноручно убедился, что человек в полной справе. Но и этого оказалось недостаточно. Против Сидорова возбудили уголовное дело: как он смел выправить диплом домашнего учителя, указавши, что учительствовал год, а на самом деле — девять месяцев, ибо в каникулы уезжал на прииски. Следствие с запретом выезда велось четыре года, а от подсудных какие могут быть дары...

Обо всем этом Сидоров горестно поведал миру в своих многочисленных трудах между деловыми рассуждениями о богатстве и одновременной скудости северной

земли¹. Он был образованнейшим человеком своего времени. И, кто знает, может, по его примеру сибирские купцы начали обзаводиться библиотеками и в глухой купеческий быт постепенно проникала культура? Это помогло Ленину в далекой сибирской ссылке работать над вопросами экономического развития России. В Красноярске Владимир Ильич пользовался книгами из личной библиотеки местного купца Юдина², когда работал над своим произведением «Развитие капитализма в России».

Немало трудов стоило Сидорову получить на Ухте версту пустовавшей земли для разбуривания. Она была дана лишь после долгих хождений по чиновникам. Но не от хорошей, видно, жизни Сидоров писал министру: «... Будто бы из распоряжения Вашего высокопревосходительства видно, что Вы предоставляете мне отвести место буквально в 40 верстах от р. Ухты, т. е. где эти 40 верст, по измерению цепью, придется, то тут и сделают отвод, ни шагу далее, и что останется за гранью тот источник, который мной заявлен»³.

Семь лет не мог Сидоров начать работы, а когда начал, уже не было прежних сил и возможностей. Шестьсот тысяч золотых рублей вложил он в скупую северную землю, а она дала ему взамен лишь тощий нефтяной пропласток. А потом стряслось и худшее.

— Пойдем, хозяин, беда! — вбежал однажды к нему перепуганный работник. — Бур сломался...

— И такое ждамо, — тряхнул головой старик. Усталой походкой вышел он из своей избы, на стене которой было выписано древнее латинское изречение: «В великих делах достаточно и одного сильного желания».

В Москве была заказана новая партия оборудования, но оно так и не дошло до Ухты, застряло где-то на полпути.

«Миллионы в земле!» — так охарактеризовал северный край один из очевидцев, побывавший на Ухте незадолго до первой империалистической войны. Русская пресса в это время писала об Ухте: «Она стоит печальная, пустая, заброшенная, как околдованная. Чудится, что никто к ней безнаказанно не подойдет, не подьедет. Старый злой волшебник Нобель знает заговорное слово... И стоят печальные листовенницы, протягивают с мольбой свои черные голые руки, зовут кого-то... Когда придет рыцарь и своей энергией и силой разрушит чары»⁴.

Вещи то были слова. На Ухту явился рыцарь. Он остановился на месте Сидоровой избы с заплочным мешком геолога и мандатом Высшего Совета Народного Хозяйства, выданным во исполнение прямых ленинских указаний.

III

И вот она перед нами, нынешняя индустриальная Ухта! Пожалуй, нигде так осязательно нельзя почувствовать перемены за сорок лет Советской власти, как в бывших «медвежьих» углах.

В. Г. Короленко, будучи сосланным в Вятку, говорил устами своих литературных персонажей, что вятичи «край света живут» и что это о них в иных местах люди бают, будто бабы белье полощут — вальки на небо кладут.

Ухта намного севернее Вятки. Она, если можно так выразиться, за «краем света». Богаты и суровы эти края — ложе древних Тиманских гор, которые намного старше седых Уральских.

За Камой-рекой, за Вычегдой лежат стертые временем кряжи древнего Тимана. Не одно отложение скрыло когда-то могучие хребты и ущелья, и только геологи знают, что Тиман миллионы лет назад был берегом теплого моря. Исчезло древнейшее море, разрушились горы, но ничто не уходит бесследно: между Тиманом и Уралом разведчики недр обнаружили залежи нефти и газа.

До чего же пытливы эти геологи! В непролазных болотах, в таежных чащобах, съедаемые гнусом и комаром, разгадывают они тайны земли. Зато уж никто, кроме

¹ М. К. Сидоров. «Север России», 1870—1871 годы.

² В. И. Ленин. Соч., т. 2, Даты жизни и деятельности.

³ Из книги «Север России».

⁴ «Миллионы в земле», путевые очерки А. Панкратова.

них, да, пожалуй, врожденных охотников, не испытал стольких злоключений. Напротив, убежденный сединой ученый долго просидел в медвежьем капкане. Это не вымысел, а быль, о которой знают в филиале Академии наук СССР в Коми.

Труд геологов — кропотливое, не знающее отдыха исследование, и эти люди не ждут милостей от природы.

Велики просторы Севера. Какие только богатства не скрыты в недрах тайги! На берегах Сысолы лежат нетронутые запасы горючих сланцев, в бассейне Ухты — нефть и газ, на Печоре и ее притоках — уголь. Еще не определены границы, где кончается обширная Тимано-Печорская газонефтеносная провинция и где начинается Печорский угольный бассейн с его знаменитой Воркутинской мульдой.

Все дальше и дальше углубляются в тайгу разведчики недр. По их стопам над лесами и болотами шагают гигантскими «чемкосами» (раньше у зырян назывались так длинноверстные переходы) тонконогие буровые вышки, появившиеся уже в предверховьях Печоры. На Джеболе, этом участке заболоченной тайги, в марте 1956 года с больших глубин ударил газовый фонтан с давлением в 170 атмосфер. В одном кубическом метре газа оказалось до 350 кубических сантиметров высокооктанового бензина, выделяющегося самотеком при понижении давления до 80 атмосфер. Хорош бензин из такого конденсатного газа, а вот шоферы не рискуют заправлять им баки без смеси с обычным бензином: рвет поршни, обаянная сила!..

Знают геологи, что богаты горючим недра северной земли, но молчит угрюмая тайга, не дает ответа на прямой вопрос инженеров: а где же все-таки большая нефть? Дремучим равнодушием веет от хвойной черни, нем говорливый подлесок, зачарованный обилием света приполярного круглого дня.

И вдруг над тайгой раздается тяжелый, раскатыстый, гулкий взрыв. Впереди буровиков идут сейсмоки. Улавливая чуткими приборами отражения волн от земных горизонтов, они как бы простукивают землю — ищут природные клады.

С Джебольским месторождением и Тыбьюским районом нефтяники связывают большое будущее всего Ухтинского промышленного узла. Недаром в нескольких километрах от Джебола, на берегу Печоры, заложен новый город нашей страны — Комсомольск-на-Печоре. Это далеко вынесенный вперед аванпост добытчиков таежных кладов.

Широко, вольно несет свои воды красавица Печора! Каких только перекатов не намывает она на длинном пути к океану! Сердятся плотогоны на своевольный нрав реки, досадуют капитаны, и только прибрежные ели все с тем же равнодушием смотрят с берегов в текущие воды...

На сотни километров распростерлась тайга, усталая мхами, прокрапленная плесами болот, уходящая к горизонту едва уловимыми далями холмистого Тимана. Так и кажется, что эта необозримая ширь лесов — колыбель кочующих туманов.

Прошло почти сорок лет с тех пор, как В. И. Ленин дал указание обратить внимание на Печорский край. И вот за этот сравнительно небольшой промежуток времени край поднялся на высокую экономическую ступень. Еще лет семьдесят назад здесь, в лесных глухомянах, к удивлению царских властей, обнаруживались целые деревни, нигде и никем не зарегистрированные. А теперь стоят величественные города.

Первое, что бросается в глаза на карте Коми АССР, — это железная дорога, проложенная до Большеземельской тундры.

А вот и новые промышленные центры — Ухта, Ижма, Инта, Воркута, — многочисленные рабочие поселки, которые завтра станут городами!..

Ухте как городу — четырнадцать лет. Она поднялась над окружающей тайгой высокими кварталами домов из зеленовато-серого камня. Местные глины позволили создать строительный материал, который как нельзя лучше пришелся по душе архитекторам. Дома гармонично сливаются с белесой изумрудью тайги и густой синевой северных небес. Ижма — младшая сестра Ухты, центр по переработке продуктов газодобычи. Этот город еще моложе. Первоначальное свое название он получил, как Ухта и Воркута, от реки, на которой возник. В канун 40-летия Октября ему дали новое имя — Сосногорск.

В Ухте и Сосногорске живут нефтяники, в Воркуте — угольщики. За полярным кругом, на вечной мерзлоте заложена кочегарка Севера — Воркута. «По метрикам» ей всего четвертый год..

Испещренная озерами и болотами тундра восточнее Воркуты переходит в пологие края Полярного Урала. Даже летом, когда скудные равнины преобразуются, воркутинцы из окон видят синевато-зеленые льды, застывшие в расщелинах горных склонов. В озарении незаходящего летнего солнца безлесные горные хребты напоминают груды драгоценных камней. Северяне образно называют это величественное зрелище короной батюшки Урала.

По данным научного обследования, в Печорском угольном бассейне общие геологические запасы угля почти вдвое превышают залежи Донецкого бассейна!..

Ныне в Печорском крае главенствуют три отрасли промышленного производства: давнее богатство Севера — лес; бурно развивающаяся индустрия — уголь; вступивший в глубокую разведку промысел — нефть. Уже сейчас этот край характеризуется как топливно-энергетическая база севера и северо-запада нашей Родины. Недалеко, пожалуй, и то время, когда печорский уголь и природный газ найдут прямую дорогу к уральской металлургии.

О лесе и говорить не приходится. Он потребляется почти на всей европейской территории Союза. Много леса дает Печора, причем заготовки древесины можно увеличить в несколько раз, и это не повредит тайболом, ибо 85 процентов древостоев — спелые и перестойные леса.

Веками лес рассматривался с точки зрения его пригодности к распиловке. Неведомо было дровосеку-поденщику, что из дерева можно делать одежду и пищу, оболочки воздушных шаров и детали тончайших приборов. Но в таежных лесосеках и поныне оседают миллионы кубометров древесины. Вырубается лишь хлыст, пригодный для трелевки и сплава. А ведь лесохимия известна: тонна сухих опилок, например, может дать 600 килограммов сахарной патоки. Тонна влажных опилок при изготовлении спирта способна заменить 300 килограммов зерна или тонну картофеля. Какие богатые возможности у северян развивать здесь целлюлозно-бумажную, спиртовую, лакокрасочную, мебельную, тарную промышленность, давать стране не только строевой лес и рудничную шрещь, но и многое другое!

Ждут своей очереди миллиардные запасы горючих сланцев, лежащие вдоль обочин Печорской железной дороги. Ценное топливо абсолютно не тронут разработкой, между тем зола сланцев, как это доказано, содержит ванадий и другие редкие металлы в довольно большом количестве.

То, что когда-то было не под силу отважным одиночкам, оказалось по плечу народу, настоящему хозяину земных недр. Не удивительно поэтому, что на Севере встретишь такое, чего не увидишь больше нигде, — например, нефтяные шахты. Они находятся недалеко от съезжины Сидорова. Тяжелая самотечная нефть, собирающаяся в штреках, особыми насосами выкачивается на поверхность. Но сколько еще остается ее в пласте! В кубометре песчаника нефти содержится примерно 140 килограммов, извлекается килограммов 20 — одна седьмая. Остальное — в земле. Значит, надо энергичнее искать способ отмыва нефти водой. Это дало бы не только миллионы тонн нефти, но и большое количество чистого кварцевого песка — основного сырья для стекольной промышленности.

Над этим вопросом вместе со своими инженерами, геологами и новаторами ломает голову начальник Ухтинского комбината Евгений Яковлевич Юдин. Кто-кто, а уж он-то знает, что такое нефтяной пласт! После окончания института ему довелось на шахте № 1 щупать этот пласт руками ежедневно с 1941 по 1949 год — и когда был рядовым горным мастером и когда стал начальником шахты.

Жизнь смело вносит свои коррективы в хозяйственную деятельность. Вот и не стало ведомственных барьеров, которые мешали полнее жить не только людям, но и безобидным северным оленям. Бывало, в трудную зиму найдут эти умные животные корм в обледелой тундре, на угодьях другого ведомства, и заводятся арбитражные дела. Жизнь отмела канцелярскую ветошь... Приходится по-новому организовывать работу, шире планировать, глубже смотреть, дальше видеть.

Комбинат — хозяйство огромное. Одних дорог на его балансе свыше тысячи километров, да такое же число автомашин, а территория — чуть ли не пол-Франции.

Ныне Ухта дает стране больше половины всей газовой сажы для шинного и резино-технического производства, около 10 процентов природного газа, многие тысячи тонн нефти.

— А задача, — подчеркивает Юдин, — выскочить по газу с миллиарда кубов до нескольких миллиардов, по нефти — почти вдвое. И мы одолеем плановое задание.

Ровесник Октября, Юдин, как и множество таких же сравнительно молодых людей, принял от старой гвардии и уверенно продолжает хозяйственное строительство, начатое Лениным. Недаром народ избрал его депутатом Верховного Совета СССР.

Конечно, один человек ничего не сделает в тайге, какими бы талантами и знаниями он ни обладал. Творит масса. Самоотверженно прокладывает она дороги в нехоженую глушь, достигает глубоких земных горизонтов с залежью нефти и газа, строит города. И, надо сказать, хорошие люди трудятся на предприятиях и в конторах Ухтинского комбината! Есть, например, на Жеболе бульдозерист Евгений Иванович Петрович. Всю позапрошлую зиму пробивал он тайгу от трассы Ухта — Вой-Вож до берега Печоры. Три месяца пробыл в лесу, выворачивая и расталкивая вековые кряжи. А когда вернулся, обыденно доложил: «Прошел 170 километров». Посмотрели на машину: новенькая, только башмаки гусениц кое-где поотрывались.

Или начальник второй тракторной колонны Михаил Яловенко. Много приходится ему хлопотать в тайге. Шли, например, минувшей весной в сторону Комсомольска-на-Печоре два трактора с буровым оборудованием. Опытные водители далеко стороной обезжали открытые гати, а вот в самом что ни на есть безобидном месте угостила им тайга сюрприз. Вместе с ледяным настом машины стали проседать, а поверх льда проступила коричневая жижа, поглотившая в конце концов оба дизеля.

Две недели бился Яловенко со своими людьми и тягачами над утонувшими машинами. Выход был один: живой человек должен прицепить тросы к утонувшим тракторам. А ветер, тридцатиградусный мороз, две недели без сна — как тут нырять в болото? Не Балтийский флот: водолазных костюмов нет.

Тогда к костру молча подошел механик Василий Бахтеев, сбросил рукавицы, стал расстегивать телогрейку. Никто не спросил у него ни о чем, и он сам ничего не сказал. Только жарче вспыхнули костры, в которые ведрами лили солянку, да в снег уткнулась пустая бутылка из-под спирта...

Прокопченный до черноты, заросший щетиной человек с веревочным узлом на голой спине решительно поднял с снега стальной трос и вместе с ним беззвучно скользнул с лежащего над прорубью бревна в зияющую прорвину болота. На поверхность выбежала цепочка застойного газа...

Как был вынут трактор, Бахтеев не знает: он проспал под тулупами ровно два дня. За второй машиной нырнул тракторист Николай Быстров.

В тайге о подвигах говорят скромно. Например, нам не удалось заставить комсомолку Марию Груздеву рассказать о том, как она организовала на Жеболе учебу ребятишек. Молодой геолог, недавняя выпускница Свердловского горного института, Мария Груздева добровольно выбрала Север. Узнавши о том, что приехавшие сюда с родителями ребятишки теряют учебный год, а школы, как известно, не кочуют с поисковыми партиями, Маша добровольно и бескорыстно взялась учить сначала Толю Макарова, а затем и других. Как в настоящий класс, приходили вечерами дети в ее маленькую комнатку в насквозь продуваемом сборном домике. Видя это, не остались в стороне и другие комсомольцы. Маше охотно помогла ее подруга Зинаида Феофистова, а затем в это дело включились и пожилые инженеры с «педагогическим» опытом. Когда программа «Арифметик», «Родных речей» и «Букварей» была пройдена, особо важное комсомольское собрание, стараясь соблюдать всевозможные осторожности, устроило «школьникам» испытания. А как же иначе? Ведь на руки выдавались справки, правда, заверенные печатью конторы глубокого бурения, о переводе в следующий класс. Документ подлинный, с государственной печатью...

В жизни людей отдаленных таежных поселков характерна привязанность друг к другу. Многие капризы и условности здесь неуместны, и о них забывают. Чувства взаимной поддержки и солидарности, наоборот, укрепляются. На глубокие раздумья наводит положительный пример жизни и труда покорителей Севера. Здесь особенно полно и действительно проявляются лучшие черты характера советских людей — муже-

ство, выносливость, верность, скромность. Суровые условия Севера формируют сильные характеры.

Молодежь, приезжающая на нефтепромыслы, в шахты, на стройки, проходит школу добротной выучки, после которой уже не страшны трудности и невзгоды обычной жизни. А, надо сказать, едут сюда замечательные люди!

Вот, к примеру, недавнее пополнение коллектива строительного-монтажного поезда № 242. Целый класс приехал — целиком бывший десятый класс Любимовской средней школы Курской области. Северяне нисколько удивились, когда узнали, что среди землякопщиков оказалась и медалистка этой школы Эльвира Голубева. Кто-то попытался было поговорить на необычное продолжение школы, девушка обиделась:

— А кто вам сказал, что мы неудачники? — живо возразила она. — Лично я предпочитаю прийти в институт не со школьной парты, а с переднего края народного хозяйства.

Безусловно, не восторженная романтика повела юношей и девушек в северную тайгу. Это явление глубже. Кто знает, может, нынешняя работница берет разгон для большого будущего. На строительстве нового участка Печорской железной дороги Эльвира Голубева возглавила бригаду, составившуюся из одноклассников. Хочется верить, что обладательница золотой медали в будущем уверенно поведет за собой более крупную силу. Труд на переднем крае — это не только гарантия того, что человек будет иметь диплом инженера, это, пожалуй, начало деятельного проникновения в жизнь с целью ее улучшения. Во всяком случае, это — хорошее начало.

Еще во второй половине прошлого века в правительственных кабинетах России слышались такие патетические речи: «Каким образом заключим мы контракт с природой, чтобы почва, которая там климатическими условиями осуждена на бездействие, сделалась бы лучше, чтобы зима сделалась короче, морозы легче и, наконец, чтобы там можно было водворить какой-нибудь живой элемент. Если бы была малейшая возможность, тогда страна эта не осталась бы пустыней»¹.

Советская действительность опрокинула нелепые представления о Севере.

И вовсе не бесплодна здесь земля. Ныне ухтинский совхоз «Водный» выращивает на гектаре по 650 центнеров капусты.

И не надо «водворять» сюда «живой элемент»: люди едут сами. Одной из первых добровольно прибыла, например, на строительство комсомольского города над Печорой девушка из Краснодарского края Мария Костюк. А когда съездила в отпуск, то привезла с собой сестру Таисию и брата Петю. Так же, как и Мария, Таисия стала маляром, а Пете по душе пришлось сварочное дело. Даже в заполярной Воркуте, где ивы, и те выращиваются в питомниках, две тысячи шахтерских семей нынешним летом строили себе индивидуальные дома, не говоря уже о том, что 200 тысяч квадратных метров жилой площади вводится по плану государственного строительства.

Озарилась огнями немая тундра, глухая тайга. Всегда так было — придет человек на голое место, разведет огонь, а потом он и не гаснет: с костерка перекинется в горы, а затем и в лёгкие заблужет. Живые огни преображенного Севера ярче сполохов полярного сияния.

Ленин давно разглядел индустриальный облик северных земель. Его предвидения сбылись! Бывшая пустыня, возрожденная Октябрем, стала кочегаркой; бескрайние просторы приняли для размещения весомую часть производительных сил страны. Сбылось и другое — дума черносопного зырянина о своей земле, который до революции не имел даже письменности, но который всегда мог с гордостью сказать братьям с Юга: «Я не хлеба у вас прошу, а освоения богатств Севера».

¹ Речь архангельского губернатора, приведенная в книге Мартынова «Печорский край», Петербург, 1905.

В одиннадцатом номере «Октябрь» был напечатан очерк Ивана Винниченко «Время не ждет», посвященный проблеме взаимоотношений МТС с колхозами. Очерк вызвал живой отклик среди работников сельского хозяйства.

Ниже мы публикуем часть этих откликов, поступивших в редакцию журнала.

К. ОРЛОВСКИЙ,

**Герой Советского Союза, председатель колхоза «Рассвет»,
Кировского района, Могилевской области**

ДВА НЕПРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ

Редкция журнала «Октябрь» сделала полезное дело, напечатав очерк И. Винниченко «Время не ждет». Поднятую в нем проблему можно сформулировать по-разному. С точки зрения житейской, чисто практической — это взаимоотношения между МТС и колхозами, а с теоретической — вопрос слияния двух видов собственности: колхозно-кооперативной и общенародной.

В очерке рассматривается как та, так и другая точка зрения. И это хорошо. Философский подход к разрешению сложной экономической проблемы придал очерку не только необходимую остроту, но и убедительность.

Автор вскрывает недостатки существующей системы взаимоотношений между МТС и колхозами. Но за всей критикой стоит большая и верная мысль о нашем росте, который требует уже нового взлета, нового революционного скачка в развитии производительных сил.

Автор как бы говорит: «Да, у нас есть недостатки. Есть и противоречия. Но эти противоречия естественные и отнюдь не антагонистические. И мы не боимся говорить о них. Вскрывая и осмысливая имеющиеся у нас недостатки и внутренние противоречия, мы тем самым способствуем их преодолению. И нас нисколько не смущает то обстоятельство, что эта творческая, созидательная критика приводит иной раз к коренной ломке привычных понятий и представлений».

Следует, однако, сказать, что во всех этих рассуждениях чувствуется вместе с тем и некоторая недоговоренность. Она сказалась прежде всего на оценке возникших в разных концах нашей страны новых форм организации колхозного производства. Тов. Винниченко замечает, что ни одна из них не решает проблемы до конца, но причину этого видит лишь в частных организационных недостатках, присущих каждой форме в отдельности. А между тем причина, на мой взгляд, гораздо глубже.

Возьмем одну из наиболее распространенных в последнее время организационных форм, получившую название объединенной, комплексной тракторно-полеводческой бригады. В очерке указывается на то, что она не устраняет двойственности в руководстве всем колхозным производством, так как и у объединенной тракторно-полеводческой бригады все равно остается два хозяина. Тем не менее автор молчаливо согла-

шается с теми работниками сельского хозяйства, которые считают создание подобных бригад прогрессивным явлением. Я лично придерживаюсь другого мнения.

Что представляет собой комплексная тракторно-полеводческая бригада? Это же, по сути дела, маленький многоотраслевой колхоз, объединяющий не только тракторную и полеводческую бригады, но и животноводческие фермы. Но ведь у нас уже давно произошло укрупнение колхозов! Причем идея этого укрупнения заключалась не в том, чтобы механически соединить карликовые колхозы, а в том, чтобы создать на их основе крупные монолитные хозяйства индустриального типа, то есть такие хозяйства, в которых были бы осуществлены максимальная специализация и разделение труда. Таким образом, создание внутри колхозов маленьких обособленных хозяйств противоречит, на мой взгляд, основным тенденциям нашего развития и является поэтому не шагом вперед, а шагом назад.

То же самое можно сказать и о создании единого руководства МТС и колхозами. Слишком упрощенно, я бы сказал, механистически решается здесь проблема слияния двух видов собственности. Да и нельзя административно подчинять государственное, общенародное предприятие кооперативному, как это сделано, например, в колхозе «Россия», Ставропольского края.

В нашем районе возникла еще одна организационная форма: председатели двух небольших колхозов превращены... в бригадиров тракторных бригад. Надо ли говорить о том, что и это новшество также нельзя признать особенно удачным.

Какой же общий вывод? Я вполне согласен с тем, что самый факт появления новых организационных форм — явление прогрессивное. Согласен также и с тем, что все эти новые организационные формы в какой-то степени помогают делу. Но все это полумеры. И в этом основной, принципиальный их недостаток. Они не только не решают проблемы до конца, но и отвлекают от главной задачи, создавая видимость достигнутого благополучия.

Как же должна быть решена волнующая всех нас проблема?

Прежде всего необходимо ликвидировать двойственность в руководстве колхозным производством. И в этом отношении, мне кажется, не мешает прислушаться к очень простому, но разумному предложению председателя одного из ставропольских колхозов П. Т. Коноплева. В самом деле, раз уж мы убедились в том, что МТС не обеспечивает и не может обеспечить всестороннего руководства колхозами, значит, надо превратить ее в чисто хозяйственное предприятие, а взаимоотношения между ним и колхозами построить целиком на договорных началах. Это позволит передать на тех или иных условиях всю сельскохозяйственную технику МТС в полное распоряжение артелей, что, несомненно, улучшит использование ее в интересах производства и приведет в конечном счете к быстрому подъему экономики всех колхозов до уровня передовых.

Что же касается передовых, экономически сильных колхозов, то им уже сейчас необходимо продать всю сельскохозяйственную технику МТС в рассрочку на два — три года с тем, чтобы в дальнейшем распространить этот опыт и на другие, сейчас еще недостаточно окрепшие колхозы. Только таким путем, как мне кажется, можно решить этот вопрос до конца.

Многие опасаются, как бы продажа колхозам всей техники, сосредоточенной в МТС, не подорвала интересов государства. По-моему, подобные опасения не имеют никаких оснований. Дальнейшее насыщение колхозов собственными средствами производства не только не подорвет интересы государства, но и создаст условия для перехода колхозной собственности в собственность общенародную. Правда, говоря об этом, автор очерка пишет, что все это не имеет отношения к той части средств производства, которая сосредоточена в МТС. «Одно дело, — утверждает он, — насыщение колхозов собственными средствами производства наряду с использованием техники МТС (этот процесс вполне закономерен, и он будет продолжаться), а совсем другое дело — продажа колхозам основных средств производства, сосредоточенных в МТС. Очевидно, решение этого вопроса нельзя отрывать от таких важных народнохозяйственных проблем, как система заготовки сельскохозяйственных продуктов...» Но ведь никто и не собирается отрывать одно от другого. Кому не известно, что в настоящее время основным экономическим рычагом, посредством которого государство получает

от колхозов необходимое количество сельскохозяйственных продуктов, является техника, находящаяся в руках МТС. И совершенно ясно, что, продав ее колхозам, государство лишится этого рычага. Но почему нельзя превратить в такой рычаг... ну, хотя бы снабжение колхозов различными материалами и оборудованием? Ведь так или иначе этот вопрос также надо решать. Ну, а когда мы подойдем к полному слиянию колхозной собственности с общенародной, тогда, естественно, подобные рычаги вообще не будут нужны.

Кстати, об этом самом слиянии.

В самом деле, по какому же пути пойдут наши колхозы к высшей форме социалистического хозяйства? Некоторые нетерпеливые люди считают, что этот процесс можно совершить очень быстро, путем превращения колхозов в совхозы. По-моему, это неправильно. И опыт Ставрополя и ряд других примеров убеждают нас в том, что превращать в совхозы целесообразно пока что только отстающие колхозы. Колхозный строй не исчерпал всех своих возможностей, в нем таятся огромные силы для дальнейшего роста производства. А раз это так, то, несомненно, и переход к высшей форме социалистического хозяйства будет в основном осуществлен путем дальнейшего подъема колхозов.

Постараюсь доказать это положение на примере развития нашего колхоза «Рассвет».

В результате общего подъема артельного хозяйства мы добились небывалого снижения себестоимости продукции. Так, например, овощи обходятся нам по шести копеек за килограмм. Себестоимость килограмма волокна составляет 79 копеек. Килограмм мяса обходится нам примерно в четыре с половиной рубля, десяток яиц — около трех рублей, килограмм яблок — в 50 копеек.

Все это дало возможность довести общий доход колхоза (при площади земельных угодий в 9 тысяч гектаров, наполовину неудобных для пахоты) до 17 миллионов рублей, а денежную оплату трудодня — до 30 рублей. Правда, это не предел.

Недаром молодежь наша распекает такую частушку:

Первенства добились с честью,
Пожеланье лишь одно:
Не стоять, друзья, на месте,
Хоть и первое оно!

Колхоз наш достиг значительных успехов. Но нам необходимо поднять его экономику, а стало быть, и сознание колхозников на новую ступень. И вот тут-то возникает мысль о превращении нашего колхоза в полноценную сельскохозяйственную коммуны. Как это сделать? Не только за счет дальнейшего роста экономики, но и за счет резкого подъема культуры колхозного села, культуры быта, за счет повышения материальных и духовных запросов людей. Так вот, мы и думаем в ближайшие годы наряду с дальнейшим развитием общественного хозяйства развернуть широкое культурное и бытовое строительство. Необходимо построить настоящий сельский театр, колхозный санаторий, завершить благоустройство всего села. Дальнейшим шагом будет ликвидация собственных хозяйств колхозников: в них уже не будет никакой необходимости. Нужны тебе продукты, овощи, фрукты — пожалуйста, бери, получай в колхозе. У нас будет введена исключительно денежная оплата труда, как и в любом государственном предприятии.

И все это мы собираемся осуществить примерно в 6—8 лет.

А теперь представьте себе, что такого уровня развития достигли и все другие хозяйства в стране, как колхозные, так и государственные. Вот тогда мы и подойдем вплотную к превращению колхозно-кооперативной собственности в собственность общенародную.

Но для того, чтобы все это произошло, требуются, по-моему, два неперемных условия: государство должно продать колхозам всю нужную технику и перевести их на полное государственное материально-техническое снабжение.

В. ЗАТРУДИН,
секретарь Палласовского райкома КПСС,
Сталинградской области

НАСТОЙЧИВО ИСКАТЬ

Взаимоотношения между колхозами и МТС — одна из острых и сложных проблем наших дней. То, что сейчас руководство колхозным производством двойственно, волнует и беспокоит тружеников сельского хозяйства. Сложившийся порядок, когда на земле существуют два хозяина, явно несовершенен. Он мешает работе, тормозит наше движение вперед.

Огромные сдвиги, произошедшие в деревне после исторических решений партии и правительства по вопросам сельского хозяйства, невиданный подъем трудовой активности масс настоятельно диктуют необходимость перестройки взаимоотношений колхозов и МТС. Сама жизнь требует того, чтобы все руководство в использовании богатейшей техники на огромных массивах многоотраслевых и сложных коллективных хозяйств было сосредоточено в одних руках.

Главное достоинство очерка «Время не ждет», на мой взгляд, заключается в том, что тов. Винниченко, собрав богатый жизненный материал, отталкиваясь от жизни, поставил ряд насущных вопросов современной колхозной действительности. Читая очерк, я убедился в том, что проблемы, над которыми мы издавна размышляем, также занимают умы тружеников сельского хозяйства Украины, Ставрополя, Кубани и других краев и областей Советского Союза. Все мы в настоящее время заняты поисками эффективных, наиболее соответствующих новым условиям организационных форм.

Помню, несколько лет назад, проанализировав хозяйственную деятельность артели имени Куйбышева, а затем артели имени Ленина, мы пришли к выводу, что целесообразно объединить полеводческие и животноводческие бригады. И хотя тогда приверженцы старых, давно исхоженных дорог протестовали против такого «нарушения устава», у нас были созданы комплексные бригады и упразднена ненужная должность заведующего фермой.

Удачно найденная новая организационная форма позволила коренным образом улучшить хозяйственную деятельность артелей.

Исходя из этого опыта, некоторые товарищи предлагали провести объединение тракторных и полеводческих бригад. Каждую полеводческую бригаду обслуживает тракторная. Казалось бы, проще всего слить их. И все же в нашем районе этого не случилось. Почему? Да потому, что до тех пор, пока бригадир подобной бригады подчинен двум хозяевам — председателю колхоза и директору МТС, — объединение к значительным результатам не приведет. Оно явится лишь малодейственной полумерой.

Правда, тов. Винниченко пишет о том, что в некоторых районах такое объединение кое-что дало. Но это только лишний раз убеждает в необходимости коренных решений. В самом деле, если даже простое объединение полеводческих бригад и механизаторов, да еще в сложных условиях «двойственности» руководства полезно, то

какой огромный выигрыш принесет кардинальное решение проблемы взаимоотношений колхозов и МТС! А оно, по моему глубокому убеждению, заключается в том, чтобы на земле был один хозяин. Только при этом условии наиболее целесообразное и разумное использование техники будет сочетаться с наилучшими способами обработки земли.

К этому, я считаю, ведет один лишь путь — передача в пользование колхоза техники МТС. Это отнюдь не предполагает продажи машин. Напротив, они по-прежнему останутся в руках государства. По моему мнению, машинно-тракторные станции должны приобретать сельскохозяйственную технику и снабжаться в том же самом порядке, что и до сих пор. Их назначение — быть мощными ремонтно-техническими базами переданной в пользование колхозов техники.

В нашем районе мы уже кое-что сделали в этом направлении. Сельскохозяйственная артель имени Калинина раньше обслуживалась Палласовской МТС. Ныне председателем этого колхоза избран тов. Афанасьев, одновременно являющийся и директором машинно-тракторной станции. В результате работа здесь пошла дружно, организовано, без конфликтов и недоразумений, прежде столь часто отрывавших людей от дела и отнимавших немало времени, а ведь оно в сельском хозяйстве так дорого!

Но спрашивается: как быть с другими МТС, обслуживающими не один, а несколько колхозов? Ведь у нас в Палласовском районе имеются также Савинская, Кайсацкая, Гончаровская машинно-тракторные станции, обслуживающие по два колхоза, и Эльтонская МТС, обслуживающая три артели.

Как же поступать во всех этих случаях?

Думается, что тут существуют два выхода. Надо либо объединить несколько колхозов в один, либо просить вышестоящие организации создать дополнительное количество МТС (за счет расчленения имеющих).

Во всяком случае, нам ясно одно: для пользы дела число МТС в районе должно соответствовать числу колхозов.

Я не ошибусь, сказав, что большинство председателей колхозов нашего района едины в стремлении получить в свои руки руководство техникой, сосредоточенной в МТС. С ними согласны и директора машинно-тракторных станций.

Это естественно. Ведь разрешение вопроса о едином руководстве колхозным производством решит и ряд других важнейших проблем. Повысится производительность труда, улучшится использование механизмов и уход за ними. Когда руководитель колхоза будет непосредственно отвечать за выделенную артели технику, он не допустит того, чтобы машины находились без присмотра, стояли под открытым небом, ржавели и портились от непогоды.

Советское государство оснастило и постоянно снабжает наши МТС превосходной техникой, хранится же она порой еще неудовлетворительно. Я сам свыше двух десятков лет проработал в МТС и пришел к выводу, что механизмы машинно-тракторных станций изнашиваются не столько за счет амортизации в процессе производства, сколько за счет небрежности и нерадивости хранения. Приходится сталкиваться с прискорбным явлением: машина, так и не успев по-настоящему поработать, выходит из строя, и подчас совершенно новые механизмы из-за плохого хранения становятся негодными.

Упорядочение отношений между колхозами и МТС, без сомнения, благотворно отразится на сохранности техники. Объединенными усилиями срок ее жизни будет значительно продлен.

Решение вопроса о едином руководстве колхозным производством намного улучшит подготовку кадров и их использование.

В настоящее время в машинно-тракторных станциях имеются главный инженер, главный агроном, главный зоотехник, главный ветеринарный врач. Все эти квалифицированные специалисты получают зарплату в МТС и находятся, по существу, где-то около колхоза, а не живут его интересами. Вместе с тем для пользы дела необходимо, чтобы они постоянно, конкретно отвечали за состояние колхоза, контролировались его правлением.

Ясно, что при новой структуре совершенно изменится положение старших спе-

циалистов МТС, а следовательно, и стиль их работы. Они заживут одной жизнью с колхозом, целиком отдадут ему все свои знания, способности, опыт.

Установление единого руководства поможет решить еще одну актуальную, животрепещущую проблему современной деревни — поможет намного улучшить быт наших механизаторов.

В условиях Палласовского района полевые работы начинаются рано — в начале апреля — и продолжаются до ноября. Весенний сев, уборка урожая, подъем паров, зяби — все это требует определенных и сжатых сроков, а время не ждет. Поэтому в страдную пору нашим механизаторам приходится трудиться напряженно, помногу, иной раз они даже отказываются от выходных дней.

Наступает зима — необходимо производить ремонт машин. И сроки работ тоже очень сжатые. Впору только-только управиться к весне.

Так что понятно, какие при этом трудности возникают в быту механизаторов. Особенно если МТС обслуживает несколько колхозов.

Многие из этих трудностей отпадут, когда механизатор будет работать только там, где он постоянно живет.

Велика заслуга машинно-тракторных станций в становлении и укреплении социалистического сельского хозяйства. Я глубоко убежден в том, что наши МТС далеко не отжили свой век. Им еще предстоит свершить немало славных дел, чтобы с честью выполнить великую задачу, поставленную партией перед тружениками советской деревни, — в ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и молока на душу населения.

Жизнь неуклонно идет вперед. Наша советская жизнь движется вперед семимильными шагами. Поэтому сейчас, когда социалистическое сельское хозяйство находится на крутом подъеме, необходимо найти новые организационные формы взаимоотношений колхозов и МТС, которые соответствовали бы новым условиям современной колхозной действительности. Чем настойчивее и смелее мы будем искать, тем скорее найдем.

П. ПРОЗОРОВ,
Герой Социалистического Труда,
председатель колхоза «Красный Октябрь»,
Куменского района, Кировской области

НАД ЭТИМ СЛЕДУЕТ ПОДУМАТЬ

В очерке «Время не ждет» автор поднял ряд важных проблем, над которыми нам, председателям колхозов, а также директорам МТС, рядовым колхозникам и механизаторам, следует серьезно подумать.

Тов. Винниченко прав, считая, что назрела необходимость в едином руководстве полеводческими и тракторными бригадами. Для этого предлагается передать экономически сильным колхозам всю технику МТС. Что ж, эта мысль заслуживает внимания и детального обсуждения. Однако мы не хотели бы подходить к этому вопросу опрометчиво. Надо продумать, как это сделать.

Допустим, государство передаст всю технику МТС в аренду сельхозартелям или продаст в кредит с рассрочкой на несколько лет. Тогда тракторные бригады перейдут в полное распоряжение колхозов; на полях при этом будет один полномочный хозяин. В этом есть рациональное зерно.

При существующей системе, когда и на полях и на животноводческих фермах сталкиваются интересы двух хозяев — механизаторов и колхозников, — зачастую бывает трудно быстро урегулировать возникающие между ними трения. При едином руководстве полеводческими, тракторными и животноводческими бригадами возможность таких «трений» исключается.

Однако коренная перестройка сельскохозяйственного производства вызовет целый ряд новых затруднений. Вот о них и следует поговорить.

Наш колхоз «Красный Октябрь» имеет четыре собственных трактора, 17 автомобилей, сеялки, плуги и другой прицепной инвентарь. Есть у нас ремонтно-механическая мастерская. В ней работают квалифицированные слесари, токари и другие специалисты.

До укрупнения, когда у нас было 2 500 гектаров земли, мы не обращались за помощью к МТС. Наши колхозные трактористы сами управлялись и с посевом и с уборкой всех культур. На полях был один хозяин — колхоз. Теперь, когда сельскохозяйственная артель укрупнена и имеет 10 тысяч гектаров пахоты, мы, естественно, не можем выполнить все работы своими силами. Приходится пользоваться услугами МТС, делить с ней, как говорится, «бразды правления».

Каково положение с колхозной техникой? Сейчас, как известно, мы не получаем в порядке планового, государственного снабжения ни запасных частей к механизмам, ни горючего: все приходится закупать своими силами, нередко по коммерческим ценам. Выгодно ли это для артели? Нет, не выгодно. Вот и получается, что при сложившихся условиях колхозная техника обходится нам не дешевле, а дороже, чем техника, предоставляемая машинно-тракторной станцией.

Как я уже сказал, мы имеем свою ремонтную базу, есть у нас и помещения для хранения машин. Наш колхоз мог бы взять в аренду или даже закупить в рассрочку

у государства 15—20 тракторов, прицепные орудия. Но кто будет снабжать нас запасными частями, горючим?

В порядке опыта в экономически крепких колхозах, безусловно, можно создать тракторные бригады и полностью отказаться от услуг МТС. Но тогда потребуются плановое снабжение запасными частями, горючим. И не по коммерческим, а по твердым государственным ценам.

В этом случае, думается нам, выиграют и государство и артельное хозяйство. Государству не нужно будет финансировать МТС. Колхозы же сами будут вести все полевые работы, осуществлять механизацию животноводческих ферм. Все это, само собой разумеется, увеличит производительность труда, повысит урожайность, уменьшит затраты. В итоге государство получит от колхозов значительно больше продукции, которая и обойдется намного дешевле.

Автор очерка приводит в качестве примера подобной реорганизации колхозы Ставрополья, где нередко каждое крупное хозяйство обслуживается одной МТС. Там дело проще. Если сельхозартель экономически крепкая, она, конечно, может ставить вопрос о том, чтобы взять в аренду или даже закупить у государства ту технику, которая, по существу, и теперь находится в ее распоряжении. Легче здесь будут решаться и проблемы ремонтной базы, снабжения.

Совсем иное положение у нас, в Куменском районе, Кировской области, где существует несколько машинно-тракторных станций, а колхозы по своим экономическим показателям резко отличаются друг от друга. В наших условиях вопрос о передаче техники сельхозартелям будет решаться, очевидно, иначе, чем в тех районах, где МТС обслуживает один экономически крепкий колхоз.

Допустим, что бригады механизаторов МТС волеются в полеводческие и перейдут в ведение правления сельхозартели. Но ведь в Куменском районе ни в одном колхозе, кроме нашего, нет ни ремонтной базы, ни помещений для хранения техники. Значит, все это надо создавать заново. Сколько же потребуются средств?

Рассмотрим эту проблему с другой точки зрения. Предположим, что на базе существующей МТС мы создадим ремонтные мастерские и заправочную станцию, которые станут обслуживать все шесть колхозов зоны. Но кому эта новая организация должна подчиняться? Всем колхозам или опять-таки государству? Кто будет снабжать эту организацию запасными частями, горючим, как будет она пополняться техникой — по заявкам артелей или по разнарядке Министерства сельского хозяйства?

Думается, что здесь должно сказать свое слово и прийти нам на помощь совнархозы экономических районов. В самом деле, в руках советов народного хозяйства находятся нефтеперегонные и машиностроительные заводы, заводы по производству запасных частей к тракторам, комбайнам и другим машинам. Через свои снабженческие и сбытовые организации совнархозы сумеют наладить плановое обеспечение колхозов горючим и запасными частями. Если даже в каком-либо экономическом районе нет, скажем, горючего или заводов по производству запасных частей к сельскохозяйственным машинам, то и в этом случае совнархозу нетрудно договориться о поставках всего необходимого из соседних экономических районов. Министерство сельского хозяйства, как показала практика, не всегда справляется с этой важной задачей.

Тов. Винниченко высказывает дельную мысль о преобразовании экономически слабых колхозов в советские хозяйства на базе машинно-тракторных станций. Есть в нашей стране артели, где на каждого трудоспособного члена приходится семьдесят, а то и больше гектаров пахотной земли. Возьмем, к примеру, Чкаловскую область. Там встречаются хозяйства, в которых на каждого колхозника приходится до ста гектаров плодородной земли. Сумеют ли такие колхозы своими силами обработать всю землю и собрать урожай? Нет. Кому в данном случае принадлежит главенствующая роль на полях? Конечно, машинно-тракторной станции. Здесь механизаторы поднимают тысячи гектаров земли, сеют различные культуры. На уборку урожая из областного центра и из других городов выезжают рабочие, служащие, студенты. Все приехавшие в колхоз получают зарплату от государства. А убранный ими хлеб государство покупает у колхоза.

Нетрудно подсчитать, что такие артели приносят нашей стране значительные убытки. Обслуживающая их машинно-тракторная станция ежегодно расходует

8—10 миллионов рублей из государственного бюджета. Рабочим и служащим, едущим на уборку урожая, государство выплачивает средний заработок. Это опять миллионы рублей. Уборку всех культур ведут механизаторы МТС и многие горожане, доходы же поступают на банковский счет колхоза.

Вот и получается, что государственный сектор произвел посев культур, убрал урожай в закрома колхоза, а затем из этих же закромов вынужден закупать хлеб. Выгодно ли это? Разумеется, нет.

На какой же базе здесь наиболее рентабельно создавать единое управление сельским хозяйством? Нам кажется, что в данном случае на базе МТС, как главного производителя всех сельскохозяйственных работ, следует создавать совхоз.

Тов. Винниченко в своем очерке утверждает, что работники нашего сельского хозяйства главное внимание сосредоточили на агротехнике, на передовых методах обработки почвы и упустили из поля зрения вопросы экономики. С этим положением согласиться нельзя.

Внедрение передовой агротехники развивает экономику сельхозартели и в конечном счете помогает решать ряд важнейших организационных и культурно-бытовых вопросов. Ни в коем случае нельзя забывать простую истину: богатство колхоза — в урожае, в том, сколько получено с каждого гектара зерновых, овощей, льна, картофеля. Как раз именно это и является одной из решающих проблем колхозной экономики.

Нам кажется, что автор, вероятно, хотел развить несколько иную мысль. Она заключается в том, что наши артели при существующей системе не всегда могут экономично использовать технику, принадлежащую МТС. Речь идет о создании тракторных бригад непосредственно в колхозах. Это, безусловно, даст большой экономический эффект. Все машины по воле правления колхоза — единого хозяина — будут использоваться только по прямому назначению. Колхоз будет принимать в свое ведение только ту технику, которая ему необходима. А сейчас (что греха таить!) в наших МТС не используются десятки машин, присланных сюда без учета местных нужд и требований и так необходимых в других районах.

Во всяком случае, по моему мнению, каждая область, каждый район, перестраивая руководство сельским хозяйством, должны исходить из своих специфических условий.

В очерке тов. Винниченко много дельных предложений, но вместе с тем мы не видим конкретного решения вопроса о реорганизации технического обслуживания сильных и слабых сельхозартелей. Наш колхоз «Красный Октябрь», например, мог бы приобрести всю необходимую технику и рационально ее использовать. Это значительно упростило бы планирование, высвободило бы много рабочей силы. Правлению колхоза тогда не пришлось бы строить свою деятельность в зависимости от планов и условий машинно-тракторной станции, тогда тракторный парк использовался бы не сезонно, а круглый год.

Однако нельзя закрывать глаза и на тот факт, что большинство артелей еще не подготовлено к такой перестройке. Одни слабы экономически, другие не имеют ни парка, ни ремонтной базы. Здесь правление каждого колхоза должно взвесить и учесть все свои возможности.

Вот те мысли, которые возникли у меня по поводу очерка «Время не ждет». Я надеюсь, что и другие председатели колхозов, механизаторы и специалисты сельского хозяйства выскажутся по этому важному государственному вопросу.

П. ГВОЗДКОВ,
Герой Социалистического Труда,
директор Деминской МТС,
Ново-Анненского района, Сталинградской области

ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Вопросы взаимоотношений колхозов и МТС, поднятые И. Винниченко в очерке «Время не ждет», не могут не волновать тружеников сельского хозяйства страны. Ведь только правильно организовав земледелие и животноводство, мы сможем достигнуть изобилия.

Волнуют эти вопросы и работников Деминской МТС. Правда, такого положения, как в колхозах, возглавляемых гг. Посмитным и Ведутой, владеющих чуть ли не большим числом тракторов, чем обслуживающие их МТС, у нас нет. В зоне нашей МТС пять укрупненных колхозов с общей площадью 26 755 гектаров пахотной земли. Это довольно крепкие хозяйства, уже в течение двух — трех лет выдающие колхозникам 1,5 — 2 килограмма зерна и 5 — 6 рублей деньгами на трудодень. Они имеют по 6 — 10 автомашин, зерноочистители, кормозапарники, механизированные фермы. Но тракторов нет ни в одном колхозе. Нет там пока и людей, хорошо знающих технику. Потому, должно быть, и содержатся колхозные машины хуже наших и выходят из строя скорее, чем эмтээсовские. Так что нам просто трудно даже представить себе, чтобы собственная колхозная техника использовалась на полях эффективнее техники, принадлежащей МТС.

Вообще тов. Винниченко, хотя и приводит в своем очерке разные точки зрения, смотрит на поставленную проблему глазами очень крупных и очень богатых колхозов и, может быть, глазами слабых, захиревших по какой-либо причине машинно-тракторных станций. Но ведь таких артелей, как руководимая тов. Посмитным, сравнительно немного. Да и МТС тоже бывают разные.

У нас, в Деминской МТС, сосредоточены основные средства производства. Машинами не только пахут, сеют, убирают урожай, но и очищают семенное зерно, подвозят корма и стройматериалы, заготавливают силос и даже трамбуют силосные ямы, стригут овец, проводят распиловку леса, вывозку навоза и удобрений, размалывают и дробят корма. Словом, выполняется множество необходимых колхозам больших и маленьких дел. А насчет того, что МТС в погоне за выполнением собственных планов в гектарах мягкой пахоты будто бы не всегда удовлетворяют нужды колхозов, то это бывает лишь там, где механизаторы забывают об интересах государства, о главной, общей задаче колхозов и МТС — об увеличении производства зерна и продуктов животноводства.

Наша МТС безотказно предоставляет колхозам машины для любого дела (в том числе и для очистки дорог от снега, для ремонта и прокладки новых дорог в летний период и т. д.). Теперь, как известно, сельхозартели сами планируют свою работу. Это дает им возможность глубже вникнуть в свое хозяйство, вскрыть все имеющиеся резервы. Составленный план передается в МТС, и она совместно с председателями и агрономами артелей вносит в него необходимые коррективы, имея при этом в виду лучшее обеспечение колхозов машинами. Поскольку же все заранее предусмотреть

Невозможно, в производственно-финансовый план МТС включается графа «прочие и нераспределенные работы» — на 10—15 тысяч гектаров мягкой пахоты. За счет этой графы в производственно-финансовый план МТС вносятся дополнительно те виды работ, в которых у колхозов возникает необходимость.

Тем не менее проблема «двух хозяев» на полях тревожит и нас. Больше того, подобная двойственность для нас особенно нетерпима. Наши земли плодородны, но сложные климатические условия, частые засухи требуют проведения сельскохозяйственных работ в очень точные и сжатые сроки. От малейшего промедления или неразберихи, вызванных разногласиями между хозяевами, может зависеть судьба урожая.

Не случайно в Ново-Анненском районе уже лет пятнадцать сочетают работу тракторных и полеводческих бригад, раскрепляя их попарно за определенными севооборотными участками. Два года назад мы попробовали поставить во главе тракторных бригад агрономов МТС, что привело к созданию объединенных тракторно-полеводческих бригад. А теперь у нас в трех колхозах — Деминском, имени Сталина, имени XVII партсъезда — наряду с обычными тракторными и производственными работают три комплексные бригады под руководством бригадиров тракторных бригад. И не тракторно-полеводческие, а тракторно-полеводческо-животноводческие.

Как это получилось? И хорошо ли это?

Тракторно-полеводческие бригады под руководством агрономов заметно повысили агротехнику и за полгода своего существования добились немалых успехов. Но потом решением Совета Министров агрономы и зоотехники МТС были переведены в колхозы, причем в ведение этих специалистов попало больше чем по одной бригаде. Агрономам, недостаточно хорошо знавшим технику, трудно было руководить работой многочисленных машин и механизмов. В то же время многие наши механизаторы за 15—20 лет работы на колхозных полях приобрели немалый агрономический опыт. Поэтому и оказалось возможным поставить их во главе комплексных бригад.

Включая в сферу деятельности этих бригад и животноводство, мы выполняли требования жизни и указания партии о том, что МТС должны обеспечить дальнейший мощный подъем всех отраслей колхозного производства. Обычно, когда в населенном пункте были полеводческая бригада во главе с бригадиром и животноводческая ферма во главе с заведующим, каждый из них отвечал лишь за свой определенный участок работы. Бригадир-полевод не интересовался тем, что делается у животноводов, не вникал в их нужды. А поскольку в его распоряжении находился весь транспорт и рабочая сила, чего не имел заведующий фермой, то сплошь и рядом возникали неувязки в заготовке и подвозке кормов, в ремонте животноводческих помещений и т. д. Тут особенно ярко проявлялась проблема «двух хозяев», и согласовать их действия подчас было нелегко. Все эти недоразумения были устранены путем организации комплексной производственной бригады колхоза во главе с одним руководителем, который отвечает в равной степени как за полеводство, так и за животноводство. Таковую комплексную производственную бригаду обслуживала тракторная бригада МТС. За обеими бригадами был закреплен один и тот же севооборот. Но и у них часто случались нарушения: со стороны полеводческой бригады — в подвозе воды, горючего, семян, обеспечения прицепщиками и т. д., что влекло за собой простой и низкую производительность машин, несвоевременное проведение агротехнических мероприятий. В тракторной же бригаде не использовались тракторы для подвозки кормов, а сами трактористы не участвовали в заготовке кормов и в механизации трудоемких работ в животноводстве. В связи с этим возник вопрос о создании комплексной тракторно-полеводческо-животноводческой бригады с единым руководством. В нашей МТС были организованы три такие бригады. Новая форма организации труда полностью себя оправдала.

В ближайшее время у нас будут, по всей вероятности, созданы еще две комплексные бригады — в колхозе «Искра». Этого добиваются трактористы. Да и сами колхозники не возражают.

Объединение бригад значительно упростило руководство, поскольку теперь все хозяйство подчинено одному человеку. И еще одно пришлось по душе колхозникам: удешевилась оплата тракторных работ. Колхоз сейчас начисляет бригадиру комплексной бригады 40 трудодней, а прежде руководителю производственной начисляли 90. Остальную зарплату бригадир получает сделанно от МТС.

Но такая форма организации труда имеет и существенные недостатки. Прежде всего это перегруженность бригадиров. Вот, например, комплексная бригада в колхозе Деминский, ядро которой составила 2-я тракторная бригада МТС. За плечами возглавившего ее Филата Ефимовича Губанова двадцатилетний опыт работы бригадиром. Сейчас в руках этого механизатора сосредоточено 2 460 гектаров земли, семь тракторов с необходимым прицепным сельскохозяйственным инвентарем, молочнотоварная ферма со 140 коровами, овцеводческая и птицеводческая фермы, отъормочный пункт свиней.

Губанов — один из лучших бригадиров Деминской МТС. Его бригада по урожаю всегда занимает первое место во всей зоне, вовремя и в кратчайшие сроки проводит сельскохозяйственные работы. За двадцать лет работы на полях бригадир сам превратился в агронома-практика, знатока агротехники в местных условиях (к тому же и агроном всегда может прийти ему на помощь: в колхозе один агроном на две производственные бригады), но с животноводством ему справляться значительно труднее. Колхозы нашей МТС не укомплектованы кадрами зоотехников. Главный зоотехник МТС физически не в силах обслужить 5 сельхозартелей, а бригадир комплексной бригады не является специалистом в области животноводства. Поэтому комплексные бригады пока что отстают по животноводству, хотя они должны быть передовыми по всем показателям. Конечно, это — явление временное, и в недалеком будущем у нас появятся необходимые кадры.

Бригадир комплексной бригады сейчас подчинен председателю правления колхоза и директору МТС. Но в данном случае никакой двойственности в руководстве нет. Если в колхозе возникает необходимость перебросить тракторы на какие-либо работы, председатель и директор МТС, согласовав между собой этот вопрос, дают распоряжение бригадиру. И в ряде других случаев председатель колхоза и директор МТС действуют согласованно.

Конечно, наши комплексные бригады, руководимые лучшими механизаторами, — дело новое, и трудностей у них немало. Но мы считаем это начинание правильным и прогрессивным. Эти бригады несут дисциплинированность, поднимают сознательность колхозников. Думается, что через такие бригады пролегает путь к высшей форме организации социалистического сельского хозяйства — совхозам.

Меня спросят: почему же тогда из 12 тракторных бригад нашей МТС пока лишь только три реорганизованы в комплексные? Да потому, что нелегко подобрать людей, которые взяли бы на себя ответственность за большое и сложное хозяйство комплексной бригады и справились с ним. Ведь каждая такая бригада по существу — целый бывший колхоз. И тут совсем не так уж важно, кто именно ее возглавит — бригадир тракторной с заместителем по животноводству или агроном, при условии, если он обслуживает одну эту бригаду (с заместителем из механизаторов). Был бы хороший организатор, достойный, надежный человек.

Вот как обстоит сейчас дело в зоне Деминской МТС. Но, возможно, такая форма организации труда приемлема лишь на данном этапе развития наших колхозов.

Что касается технического оснащения наших сельхозартелей, то оно за последнее время значительно улучшилось. Два года назад колхозы на токах не имели ничего, кроме старых веялок. А теперь у них есть новенькие зерноочистители. И было бы совсем неплохо, если бы колхозы имели 1—2 легких трактора для транспортных нужд вместо тяжелых тракторов МТС, которые в аналогичных случаях работают с далеко не полной нагрузкой.

И, пожалуй, со всех точек зрения было бы неплохо, если бы наши колхозы обзавелись собственными легкими тракторами. У колхозников стал бы полновесней трудодень, механизаторы освободились бы от некоторых мелких работ. И водители для этих простых, легких тракторов у колхозов найдутся: там живет немало бывших трактористов, по разным причинам переставших работать в МТС.

Но основные средства производства, по нашему мнению, должны остаться собственностью государства. Их можно сдавать в аренду, раз уж такая необходимость возникла в некоторых местах, но отнюдь не продавать: в этом случае МТС превратились бы в ремонтные базы. Как мне кажется, следует по-прежнему всемерно укреплять МТС. Это, думается нам, будет самое правильное.

И. БУЯНОВ,
дважды Герой Социалистического Труда,
председатель колхоза имени Владимира Ильича,
Московской области

РАБОТАТЬ ДРУЖНО, СООБЩА

Труженики советской деревни с огромным воодушевлением встретили призыв Коммунистической партии — в ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения. Во всенародное соревнование вступили как колхозы, так и машинно-тракторные станции страны.

Взять, к примеру, колхоз имени Владимира Ильича. Мы взяли обязательство уже в этом году получить на сто гектаров земельных угодий 1 000 центнеров молока и 100 центнеров свинины. Итоги прошедших десяти месяцев наглядно показывают, что слово, данное Родине, будет выполнено с честью.

По урожайности полей, по продуктивности животноводства наш колхоз может смело соревноваться с любым хозяйством страны. Но было бы нечестно приписать все эти успехи только колхозникам. Без огромной помощи машинно-тракторной станции мы не добились бы этого. В дружной и согласованной работе с МТС — наша сила.

Я, конечно, не утверждаю, что во взаимоотношениях между колхозами и машинно-тракторными станциями нет никаких шероховатостей. Нам хорошо известны слабые стороны МТС. В их работе еще немало канцелярщины, бюрократизма. Руководители МТС не всегда чутко относятся к нашим требованиям. Есть большие недостатки и в планировании тракторных работ. МТС почти не помогают колхозам ни в строительстве, ни в реализации колхозной продукции, ни в обеспечении колхозного автопарка. Не совсем ладно и положение механизаторов. Они действительно до сих пор не поймут, кто же они — колхозники или рабочие.

Очерк И. Винниченко «Время не ждет» правильно ставит вопрос о том, что взаимоотношения между МТС и колхозами должны быть упорядочены. А вот как именно? Это в очерке не совсем ясно.

«Нельзя дальше терпеть двух хозяев на одном поле», — эту фразу автор очерка услышал из уст первого секретаря Березовского райкома партии Одесской области Петра Арсентьевича Хомко, стоило только затронуть вопрос о взаимоотношениях между колхозами и МТС. И дальше секретарь райкома говорит, что сложившаяся система взаимоотношений между МТС и колхозами становится тормозом в развитии сельского хозяйства. Но и он не отрицает того, что «МТС преобразили всю нашу жизнь». В самом деле, если бы не МТС, то вряд ли смогли так интенсивно развивать все отрасли производства колхоз имени Буденного и колхоз имени Сталина, расположенные в том же самом Березовском районе. Поэтому, мне кажется, речь должна идти только о том, чтобы всемерно укреплять наше деловое сотрудничество с МТС. Во имя общего дела мы должны работать дружно, согласованно.

Тов. Винниченко в своем очерке приводит пример того, как председатель колхоза настойчиво требовал гусеничный трактор для расчистки дорог от снега, а стар-

ший агроном Шевченковской МТС, ссылаясь на запрет высшего начальства, категорически ему отказал. Можно посочувствовать председателю колхоза, который из-за снежных заносов не может выполнить план мясоставок. Но не мешает посмотреть на дело и с другой стороны.

Как-то в беседе со мной бригадир тракторной бригады Старо-Бешевской МТС Прасковья Ангелина сказала: «Плохо отремонтированный в зимнее время трактор летом приносит трактористу несчастье. И наоборот, трактор, отлично подготовленный с зимы, приносит нам всем и счастье и радость».

Очень толково сказано!

Конечно, и для расчистки снега, и для перевозки сена, и для доставки удобрений на поля в зимнее время легче и удобнее всего приспособить трактор. Но мы не должны забывать о наших обязанностях перед МТС. Ведь если тракторы не будут хорошо подготовлены к весенним полевым работам, это в конечном счете отразится на интересах колхозов.

Во всяком случае из этого вовсе не следует вывод, что подобные разногласия между МТС и колхозами нельзя разрешить по-хозяйски и что мы вообще должны отказаться от «второго хозяина» на нашем поле.

Мы, например, в своем колхозе никогда не ставили ~~так~~ вопрос. Правда, у нас в Подмосковье несколько иные условия, чем в других районах страны. Земли у нас немного, главными отраслями хозяйства являются животноводство и овощеводство. Может быть, потому мы и не ощущаем так остро противоречий во взаимоотношениях с МТС, как ощущают их в тех районах, где полеводство является основной отраслью хозяйства. Как бы то ни было, я не знаю случая, когда механизаторы нашей Ленинской МТС действовали бы во вред колхозу, не выполняли бы наших законных требований. Если бы было иначе, вряд ли колхозники мирились с таким ненормальным положением. Директор МТС Илья Федорович Будапов, как правило, не отдает бригадиром работающей в колхозе тракторной бригады Виктору Тулисову ни одного распоряжения через голову председателя правления, бригадира полеводческой бригады или агронома.

Не знаю, как в других местах, а у нас «хозяин» на поле председатель колхоза. Он сам (разумеется, не без помощи бригадиров и агрономов) распоряжается механизаторами. А МТС обеспечивает бесперебойную работу всех тракторов, комбайнов. Такое содружество колхозников и механизаторов и позволяет успешно справляться со всеми работами. МТС оказывает колхозу большую помощь и поддержку в развитии решающих отраслей артельного производства.

Это не значит, конечно, что мы не должны думать о новых, более совершенных формах организации колхозного производства. Но ни в коем случае не следует слепо подражать другим районам, не учитывая наших местных условий работы.

Во многих районах страны созданы комплексные тракторно-полеводческие бригады. Эта новая форма организации труда, разумеется, вполне применима в тех сельхозартелях, где тракторная бригада обслуживает только одну полеводческую бригаду. Но можем ли мы механически копировать этот опыт? Конечно, нет: ведь в нашем колхозе одна тракторная бригада обслуживает четыре полеводческих.

В 1956 году мы создали на участке в Белеутове комплексную полеводческо-животноводческую бригаду. Но просуществовала она недолго. Оказалось, что бригадир не может одновременно руководить и полеводством и животноводством. Тогда по инициативе коммунистки Софьи Камшилиной здесь вместо комплексной была организована хозрасчетная полеводческая бригада. И она себя вполне оправдала. За один год белеутовская бригада сэкономила до двух тысяч трудодней. По такому же принципу решено организовать хозрасчетные полеводческие бригады в Горках, Калиновке, Коробове.

Автор очерка, ссылаясь на опыт Латвии и Эстонии, ставит вопрос о том, чтобы МТС заключали договоры и передавали колхозам в аренду на определенный срок всю свою технику. Не берусь говорить от лица всех председателей подмосковных колхозов, но я лично такой договор с МТС не заключил бы. Что значит передать колхозам в аренду всю технику МТС? Это значит снять с руководителей МТС всю ответственность за положение дел в колхозах. Так можно дойти до того, что я, председатель колхоза, приду к директору МТС тов. Будапову и скажу:

— Давай поменяемся ролями. Бери у нас в аренду землю, а мы поглядим со стороны, как ты станешь хозяйничать.

На мой взгляд, на таких началах трудно строить взаимоотношения между МТС и колхозами еще по одной важной причине. Вот, скажем, колхоз имени Владимира Ильича заключил договор с МТС на передачу десяти тракторов. И случилось так, что наши механизаторы раньше других хозяйств справились с полевыми работами. Как же в таком случае должен поступить директор МТС? Сможет ли он перебросить освободившиеся тракторы в соседний колхоз? Безусловно, нет! Директор вынужден будет прийти на поклон к председателю: выручай!

Еще в позапрошлом году директор МТС предлагал нам взять в аренду десять тракторов и один комбайн. Мы отказались заключить такой договор, ибо он колхозу невыгоден. В данном случае МТС лишь снимала с себя ответственность за руководство техникой, а все прочие порядки оставались прежними. Другое дело, если бы можно было изменить порядок расчетов с МТС, чтобы мы могли платить за технику аккордно, получили в свое распоряжение не только машины, но и механизаторов, а МТС обслуживала бы не только принадлежащую ей технику, но и всю технику колхозов.

И вот тут-то, думается, необходимо поставить один очень важный вопрос. Речь идет об обеспечении всей техники сельхозартелей запасными частями, горючим и смазочными маслами. Существующий порядок материального снабжения колхозов устарел. Взять хотя бы нашу артель. Мы не только интенсивно строимся, но и с каждым годом умножаем свою собственную технику. Если в Ленинской МТС, обслуживающей 17 колхозов, всего лишь девять грузовых автомашин, то в нашем хозяйстве — двадцать. У нас имеется также около пятидесяти электромоторов, всевозможные сепялки, жатки, сенокосилки, триеры, молотилки, короткоструйные дождевальные установки. У соседней борисовской артели, которой руководит талантливый организатор колхозного производства Митрофан Захарович Захаров, автомашин еще больше. Владеет превосходной техникой и колхоз имени Горького, где председателем много лет работает Виктор Федорович Исаев.

Что и говорить, техникой мы богаты. А вот в запасных частях испытываем острую нужду.

Нельзя сказать, что мы сами очень бережно относимся к автомашинам и другой колхозной технике. Не перевелись еще у нас бракоделы, по вине которых раньше срока выходит из строя то одна, то другая деталь. Конечно, с таким нерадивым отношением к технике мы ведем настойчивую борьбу.

Но так или иначе, вопрос обеспечения сельхозартелей запасными частями, горючим и смазочными маслами стоит весьма и весьма остро. Когда в нашем колхозе была одна-единственная автомашина, то мы кое-как выходили из положения. Теперь наступили другие времена. Пришла пора установить такой порядок, при котором колхоз мог бы получать все запасные части к автомашинам, горючее и смазочные масла планоно, по государственной цене, может быть, даже в обмен на сельскохозяйственные продукты.

Напоследок мне хотелось поговорить еще об одном важном вопросе, который поднимает тов. Винниченко. Говоря о том, что процесс укрупнения и экономического роста колхозов продолжается, автор очерка спрашивает: «Не приведет ли это, в конечном счете, к коренному изменению в соотношении сил между колхозами и МТС? А может быть, МТС вообще отомрут? В самом деле, разве такие экономически сильные колхозы, как имени Буденного и имени Сталина на Одесщине, не смогли бы уже сейчас сконцентрировать у себя все основные средства производства, то есть попросту купить их и отказаться от услуг МТС? Конечно, смогли бы! Но возможно ли это? И целесообразно ли?»

Думается, что и возможно и целесообразно. Такое время наступает.

Могут сказать: «А не противоречишь ли ты, товарищ Буянов, сам себе? Ведь ты же сам только что говорил, что не мыслишь дальнейшей работы без такого сотрудничества с МТС, а теперь заявляешь, что согласен с тем, чтобы вообще продать всю технику колхозам!» Но в этом нет никакого противоречия. Ведь речь идет пока что только о крупных, экономически сильных колхозах, так как далеко не все сельхозартели в ближайшие два — три года настолько окрепнут, чтобы вести хозяйство

самостоятельно, без помощи МТС. Кроме того, прежде чем ставить вопрос о продаже (а о безвозмездной передаче я и не мыслю) главных орудий производства МТС колхозам, надо основательно, по-хозяйски решить многие проблемы. Скажем, кто будет вести капитальный и текущий ремонт тракторов и комбайнов? Может быть, надо превратить МТС в механизированные ремонтные предприятия? А может быть, лучше строить крупные механические мастерские в колхозах? Как будет с натуроплатой? Через какие каналы приобретать новые тракторы, комбайны и сельскохозяйственный инвентарь? Кто должен следить за техническими новинками? Как оплачивать труд механизаторов?

Как видите, проблемы принципиальные и важные. Без их разрешения нельзя всерьез ставить вопрос о передаче всех средств производства МТС колхозам. А пока эти вопросы решатся, надо и дальше заботиться об улучшении организации производства. Надо так построить взаимоотношения между МТС и колхозами, чтобы они не тормозили нашей работы, а давали возможность идти вперед еще более быстрыми темпами.

Таким образом, я далеко не во всем согласен с тов. Винниченко. По-моему, он еще многих вопросов не додумал до конца. И, тем не менее, я считаю, что обсуждение его очерка на страницах журнала «Октябрь» принесет пользу.

В заключение хочу сказать:

— Давайте, товарищи земледельцы, продолжим разговор, начатый журналом «Октябрь», давайте советоваться, спорить, дерзать и находить новые, более совершенные формы организации управления колхозным производством, чтобы они не сковывали наших сил, чтобы мы могли по зову нашей родной Коммунистической партии в ближайшие годы не только догнать, но и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения!

Б. БЯЛИК

«К ЖИЗНИ, К ЖИЗНИ!»

(О литературно-критической деятельности М. Горького)

1

Призыв, с которым Коммунистическая партия обратилась к деятелям литературы и искусства в выступлениях Н. С. Хрущева — еще теснее связать свое творчество с жизнью народа, — имеет прямое отношение и к нашей литературной критике. Можно даже сказать, что перед нею этот призыв ставит особенно большие задачи. Нельзя закрывать глаза на то, что среди критиков (это в первую очередь относится к историкам и теоретикам литературы) чаще, чем в других отрядах литературы, встречаются люди, недостаточно глубоко знающие текущую действительность. А стоит вспомнить, что боевая публицистическая критика революционных демократов никогда не была оторвана от живой жизни, не была — в узком смысле этого слова — «академической». Об этом забывают иногда даже те наши критики, которые работают на современном материале: обращаясь к фактам действительности, они берут их из вторых рук, так что факты эти оказываются такими же цитатами, как и ссылки на чужие авторитеты. Читая иные критические статьи, начинаешь думать, что авторы их исходят из убеждения: художник не имеет права ограничиваться готовыми выводами, почерпнутыми из книг, художник должен все брать из самой гущи жизни, все ощупывать собственными руками; критик же может на все взирать с высоты «теории». Между тем такого рода пороки особенно нетерпимы именно в области критики, поскольку необходимо — это с полным правом утверждал Горький, — чтобы критик «знал историю и быт своей страны лучше, чем знает писа-

тель». Иначе что давало бы ему право судить о работе писателя и что побуждало бы писателя прислушиваться к его мнению?

Горький упрекал некоторых советских критиков в плохом знании действительности. Их столь частые и столь однообразные высказывания об отставании советской литературы от жизни не удовлетворяли его, потому что в этих высказываниях не было попыток объяснить причины отставания и потому что в них не было конкретных указаний на те явления действительности, на те ее новые факты, события, идеи, о которых не успела или не сумела рассказать литература. «Критики и литераторы должны понимать, — говорил он на пленуме Правления ССП 7 марта 1935 года, — почему отстаем, от чего отстаем, от каких явлений. Не по силе чего, а от чего? Почему надоели современные стулья и на каких стульях хотелось бы сидеть в будущем? То же самое с идеями». Об этом замечании Горького следует чаще вспоминать. В самом деле, как усилилась бы жизненность и действенность нашей литературной критики, если бы рассуждения (часто справедливые) об отставании литературы от действительности всегда сопровождались конкретным и обстоятельным анализом тех сторон действительности, тех проблем и идей, до которых еще не дошли по-настоящему руки наших писателей.

Горького тревожило, что наши критики не занимались постоянным изучением процессов, происходящих в промышленности и сельском хозяйстве, в области экспериментальных наук. Ссылки на то, что писатели прошлого за этими областями следили мало или не следили совсем, он решительно отвергал,

указывая на те коренные изменения, которые произошли с тех пор в жизни, особенно в условиях советской действительности. Никогда еще жизнь не изменялась так быстро и никогда еще подобные изменения не охватывали до такой степени всех сторон материального и духовного бытия людей. В советской действительности все, что происходит в индустрии, в сельском хозяйстве, в науке, в технике, в культуре, в искусстве, глубоко интересует многомиллионные массы народа, ставшие сознательными творцами истории, и должно так же глубоко интересовать деятелей науки и искусства. Горький не устал говорить о необходимости постоянных встреч писателей с учеными — физиками, математиками, биологами, а также с инженерами, изобретателями, рационализаторами производства, рядовыми рабочими и колхозниками. Он остро ощущал приближение грандиозных технических и научных переворотов, которые позволят человеку проникнуть в глубинные тайны материи, обогатить землю новыми видами энергии и достигнуть других планет. Почитатель Мичурина и Циолковского, как радовался бы он сегодня победам советских хлеборобов, какую гордость вызвал бы у него полет искусственных спутников Земли! Вне постоянного живого интереса ко всем сторонам, ко всем процессам непрерывно меняющегося бытия людей Горький не представлял себе советского писателя, советского критика.

Понятно, почему Горький с таким осуждением писал о тех критических статьях, в которых «почти не чувствуется живой плоти, не слышно властного глагола истории, нет освещения фактов». Обвиняя такого рода критику в том, что она «схоластична и малограмотна по отношению к текущей действительности», Горький указывал: «Не имея, не выработав единой руководящей критико-философской идеи, пользуясь все одними и теми же цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина, критика почти никогда не исходит в оценке тем, характеров и взаимоотношений людей из фактов, которые дает непосредственное наблюдение над бурным ходом жизни. В нашей стране и работе есть много такого, чего, конечно, не могли предусмотреть Маркс и Энгельс. Критика говорит автору: «Это сделано неверно, потому что наши учителя говорят по этому поводу так-то». Но она не может сказать: «Это — неверно, потому что факты действительности противоречат показаниям автора». Из всех мыслей, которыми пользуются критики, они, видимо, совершенно забыли ценнейшую мысль Энгельса: «Наше учение — не догма, а руководство к действию». Критика недостаточно действительна, гибка, жива». Великий знаток жизни, Горький был одним из самых страстных и непримиримых врагов начертничества и догматизма.

Полезно напомнить о том, как пони-

мал задачи литературной критики основоположник советской литературы. Еще полезнее присмотреться к тому, как применял он это понимание на практике — в собственной литературно-критической деятельности, как сопоставлял он литературу, это зеркало жизни, с самой действительностью. Конечно, вопрос этот очень широк: речь идет о главном критерии всех горьковских литературно-критических оценок, о важнейшей особенности всех его выступлений о литературе. Но мы остановимся лишь на отдельных моментах, связанных с этим большим и сложным вопросом.

Сделаем одно предварительное замечание. Обращаясь к таким видам творчества, как литературная критика и публицистика, Горький рассматривал их как формы все большего сближения литературы с действительностью. 15 марта 1928 года, приступая к работе над третьим томом «Жизни Клима Самгина» и предполагая, что этим томом завершится эпопея, он сообщал в одном из писем: «Закончив третий том моего романа, я, наверно, займусь журналистикой, чтоб встать теснее к жизни, главное — к молодежи». Горький так и поступил, и поступил еще задолго до завершения «Жизни Клима Самгина»: последнее десятилетие его жизни стало периодом его самой интенсивной публицистической и литературно-критической деятельности.

2

Одним из важных последствий настойчивого стремления Горького сопоставлять факты литературы с фактами действительности явился его постоянный интерес к такой стороне литературы, как тематика. Горький часто сопоставлял друг с другом произведения, посвященные одной и той же теме, стараясь выяснить, что внесено каждым из этих произведений в общую ее разработку. Он нередко освещал в своих статьях эволюцию отдельных тем в литературе. Его всегда волновали вопросы: не задерживается ли литература на устаревших темах, не прошла ли она мимо новых тем, не сосредоточено ли ее внимание на темах маловажных? Следя за первыми успехами советской литературы в 20-е годы, он с особенным удовлетворением отмечал тот факт, что «расширяются темы, становясь разнообразнее», что появляются новые темы, которые находятся «вне старых традиций», прежде всего тема созидательного социалистического труда, которую осветил Ф. Гладков в романе «Цемент». Характерно, что в горьковских заметках плана преподавания в Литвузе (ныне Литературный институт имени А. М. Горького) говорилось о необходимости «читать историю литературы как историю тем». Характерен и тот совет, который Горький настойчиво повторял в адрес нашей критики и который не реализован по сей день: давать читателю ежегодные обзоры литературы по темам.

Известно, что Горький вкладывал в слово «тема» очень глубокий смысл, имея в виду не только жизненный материал, но и ту проблематику, которую этот материал породил у писателя, став душой его художественного произведения. Например, касаясь того изменения, которое претерпел «литературный портрет мужика» в произведениях Чехова, Бунина и других писателей, отказавшихся от народнической идеализации крестьянства и переставших изображать его «светлыми и нежными красками», Горький делал следующую оговорку: «Я не склонен думать, что такое изменение типа совершилось в действительности, но в литературе начала XX века оно — налицо». Горький относил к темам «сквозные» линии развития какого-либо типа, например, типа «лишнего человека». Наконец, Горький относил к области тематики и «так называемые «вечные» вопросы: смерть, любовь... ревность, месть, скудость и т. д.». Темы этого рода брались Горьким (если речь шла о литературе реалистической, тем более о литературе социалистического реализма) не изолированно, а как составные части иных тем, обладающих конкретным социально-историческим содержанием.

Какой глубокий смысл имело у Горького слово «тема», лучше всего поясняют два его тезиса, раскрывающие сущность главной темы классической литературы XIX века, с одной стороны, и главной темы советской литературы — с другой. «Основная тема европейской и русской литературы XIX столетия — личность в ее противопоставлении обществу, государству, природе... — говорил Горький в докладе на I съезде советских писателей. — Повторяю: основной и главной темой деревенской литературы служит драма человека, которому жизнь кажется тесной, который чувствует себя лишним в обществе, ищет в нем для себя удобного места, не находит его — и страдает, погибает, или примиряется с обществом, враждебным ему, или же опускается до пьянства, до самоубийства». Как раскрывал Горький эту тему на конкретном историко-литературном материале, показывают его многочисленные высказывания об «истории молодого человека XIX столетия».

Главную тему советской литературы Горький определял следующим образом: «Основная тема всесоюзной литературы — показать, как отвращение к нищете перерождается в отвращение к собственности. В этой теме скрыто бесконечное разнообразие всех иных тем подлинно революционной литературы, в ней заключен материал для создания «положительного» типа человека-героя, в ней заключена вся «историческая правда» эпохи...». В этих определениях основных тем советской литературы и литературы XIX века важны две особенности. Во-первых, эти определения строго историчны: исходным пунктом в каждом из них является социальная

сущность действительности. В свете этих определений понятно, какую грубую, непростительную ошибку допускают те писатели, которые в изображении советской действительности пытаются продолжить старую тему: человек в его противопоставлении обществу. Во-вторых, в этих определениях выдвигается на первый план история становления героя эпохи, формирования его отношения к миру. В этом ярко проявилось горьковское понимание литературы как «человековедения».

Выше говорилось о совете Горького давать ежегодные обзоры литературы по темам. Сам он такого рода обзоров не писал, но тематический аспект присутствовал во многих его критических статьях, помогая определить значение того или иного произведения в истории литературы и в ряду других литературных явлений современности. Характерны в этом отношении те экскурсы, которые Горький делал в своих доктринальных статьях в область отображения русскими писателями жизни крестьянства. Он касался этой темы в «Заметках о мещанстве», в статье «Разрушение личности», в каприйских лекциях о литературе и т. д. Здесь были и спорные оценки и выводы, но несомненно верной была борьба Горького против «слащавых сказок» народнической литературы о деревне, верным было его стремление выделить из народнической литературы таких правдивых художников, как В. Г. Короленко. Оправданным было и его восхищение чеховским реализмом. Когда Горький создавал в советские годы критические портреты писателей, работавших на деревенском материале, рамой для этих портретов почти всегда служил краткий обзор развития крестьянской темы в литературе прошлого. Возьмем, например, предисловие Горького к книге С. П. Подъячева «Жизнь мужицкая» (1923). Чтобы определить значение творчества С. П. Подъячева (а попутно и Ивана Вольнова), Горький вспоминает, как изображали деревню писатели-народники, рисовавшие мужика существом особого типа, «богоносцем», как раскрыл новые отношения в деревне великодушный наблюдатель деревенской жизни Г. И. Успенский; как было сказано новое и веское слово о мужике В. Г. Короленко; как вслед за названными писателями стали изображать деревню «мрачными красками» А. П. Чехов и И. А. Бунин. Это историческое отступление понадобилось Горькому для вывода, составившего ядро его статьи, что «всего красноречивее и убедительнее» в пользу правдивого, не подслащенного никакими утопиями изображения жизни деревни «говорит сама деревня устами писателей-мужицков: подмосковного мужика Семена Павловича Подъячева и орловского — Ивана Егоровича Вольнова...».

В иных пределах рассматривает Горький крестьянскую тему в 1928 году в

своей рецензии на первую книгу стихотворений М. Исаковского «Провода в соломе». Эта рецензия является замечательным образцом критического мастерства: на двух неполных журнальных страницах Горький показал идейное и художественное новаторство первой книги молодого, тогда никому еще не известного автора. Свою рецензию на стихи М. Исаковского Горький начинает с кратких замечаний об «отличном поэте» Сергее Есенине, который писал «милые стихи» на родную ему деревенскую тему, но оборвал и творчество свое и жизнь, не сумев «понять, почувствовать глубокое и всем ходом истории обусловленное значение того, что называется «смычкой» города и деревни». Главный смысл поэзии молодого Исаковского Горький видит именно в том, что он «хорошо понял необходимость и неизбежность «смычки», хорошо видит процесс ее и прекрасно чувствует чужда будних дней». В рецензии целиком приводится одно из стихотворений Исаковского, где отчетливо проявилась та особенность, которую всегда ценит Горький и которая была в высокой степени присуща его собственному творчеству: умение показывать сказочность «будних дней», величие «маленьких» простых людей. Приводятся здесь и отдельные строки из других стихотворений Исаковского, причем Горький не забывает указать на одно, с его точки зрения, неточное выражение поэта («навсегда останусь деревенским»), противоречащее главному пафосу его творчества — стремлению слить силы города и деревни в «одну, необоримую творческую силу».

Значение этой маленькой рецензии станет более ясным, если мы поймем ее место в развитии литературно-критической мысли Горького, в его размышлениях об отношении литературы к процессам исторической ломки деревни. Не случайно Горький вспомнил в начале этой рецензии о Сергее Есенине: его глубоко взволновала смерть поэта, в личной драме которого он увидел отражение исторических процессов широкого значения. У него возникла потребность сказать об этом во всеуслышание — раскрыть сложный социальный смысл есенинской поэзии, есенинского отношения к действительности. Переписка Горького показывает, что он тщательно собирал и читал все отклики на смерть Есенина, все, что писалось об его творчестве в те дни. В марте 1926 года Горький в письме к Ромену Роллану делает попытку объяснить «драму Сергея Есенина». В июне 1926 года он пишет А. П. Чапыгину: «...прочитал я первый том стихов Есенина и чуть не взвыл от горя, от злости. Какой чистый и какой русский поэт». Горький протестует против искажения облика Есенина в писаниях некоторых литературных друзей поэта, против нападок И. А. Бунина на Есенина. В то же время он далек от какой-либо идеализации поэта:

главную причину его драмы Горький видит в том, что Есенин не смог понять до конца исторический смысл процессов, совершавшихся в советской действительности, великое спасительное значение всего, что нес в деревню социалистический город. Горький не осуществил своего замысла: статья о творчестве Есенина не была им написана. Но этот пробел отчасти восполняет горьковский мемуарный очерк «Сергей Есенин» (1927), запечатлевший образ «своеобразно талантливого и законченно русского поэта» во всей его внутренней противоречивости, во всей трагической путанице его настроений, порывов, поступков.

Не все, что говорил Горький о Есенине, было бесспорным. Сегодня нам многое лучше известно, яснее видно, и мы уже не считаем конец поэта столь неизбежным, как это иногда представлялось Горькому. Но и с такого рода спорными моментами горьковские суждения об Есенине гораздо более верны и глубоки, чем высказывания тех критиков, которые рисуют Есенина неузнаваемо приукрашенным, лишенным острейших внутренних противоречий. Горький не допускал и не мог допустить такой ошибки, ибо вопрос о Есенине, как и все вопросы литературы, ставился им в связи с вопросами самой жизни, с задачами самой действительности. Он ждал от советской поэзии разработки тех проблем, мимо которых прошел Есенин. Именно поэтому он с таким удовлетворением отметил появление молодого поэта, который не отдалился от родной ему деревенской стихии, а продолжал быть неразрывно связан с нею и поэтому оказался способен понять и почувствовать всю глубину и всю животворную силу происходящих в деревне перемен. Именно поэтому Горький так радостно приветствовал поэта, для которого «провода в соломе» были символом обновления и возрождения деревни.

Пристально следя за процессами, происходившими в советской деревне, Горький и в дальнейшем горячо откликнулся на творчество писателей, разрабатывавших эту тему. В 1929 году он заметил в одном из своих писем: «Вы не правы, говоря, что «нет ни одного писателя, который писал бы о деревне наших дней». Они — есть, я могу назвать Вам десятка два, начиная с Вольнова и кончая недавно изданной книгой Кочина «Девки». А нашумевшие «Вруски» Панферова? О деревне пишут много и не плохо...» В том же году Горький написал рецензию на первую книгу молодого писателя К. Горбунова «Ледолом». Это еще раз показывает, что Горький был неустанным открывателем новых творческих сил и талантов и нередко выступал первый с рецензиями на книги никому не известных авторов. Свой вывод, что книга «Ледолом» «хороша и своевременна как нельзя более», Горький делает прежде всего на том основании,

что К. Горбунов изображает «Октябрь в деревне», что он удачно подошел «к этой жгучей теме».

Эти замечания Горького раскрываются в своем истинном значении, если мы поставим их в связь со всем тем, что он говорил о процессах, происходивших в советской деревне. В 1930 году Горький отмечал: «Главнейшее и самое значительное, что произошло за истекший год,— геологическая встряска, которую пережила деревня. Очевидный, неоспоримый поворот деревни от древнего зоологического индивидуализма к работе коллективной знаменует собой широкий и решительный шаг передового крестьянства по пути к социализму». Слова Горького о «геологической встряске», пережитой деревней, свидетельствуют о глубоком понимании им того великого перелома, который происходил тогда в жизни советского крестьянства. Горький имел основание писать в своей рецензии на повесть «Ледолом»: «Молодые наши литераторы могут хорошо понимать действительность и не отстают от нее. Могут — когда они этого хотят».

3

Горький был неустанным борцом за расширение горизонта литературы, за постоянное обновление и углубление ее тематики. Это сказалось уже в его критической деятельности дооктябрьской поры, например, в тех его выступлениях, где он с упреком и болью отмечал уход некоторых писателей—«знаниевцев», вчерашних демократов и реалистов, от боевой социальной проблематики в область «загадок индивидуального бытия». Как пропагандист новых тем, Горький поднялся во весь рост в советские годы, развернув один за другим широкие планы творческой деятельности писателей, требовавшие коллективных усилий многих из них. Первый из этих планов, разработанный им в 1919 году,— план серии инсценировок в театре и кинематографе по истории культуры — еще не касался современной тематики и получал лишь частичное осуществление. Иначе обстояло дело позднее, особенно после поездок писателя по СССР в 1928 и 1929 годах, давших Горькому богатый приток непосредственных впечатлений от развернувшейся по всей стране грандиозной стройки. Отмечая «ограниченность тематики» старой литературы, которая прошла (иногда вынуждена была пройти) мимо ряда важнейших тем, Горький говорил: «Есть опасность, что и мы что-то пропустим, а этого нельзя пропускать».

Глубоко изучая новую действительность, Горький выдвигал перед литературой целый ряд задач тематического порядка. Особенно большое значение имела его инициатива в создании «Истории гражданской войны» и «Истории фабрик и заводов», к ним можно еще добавить «Историю деревни». Замыслы

эти принесли серьезные результаты, но далеко еще не исчерпаны. Недаром все чаще и чаще звучат в нашей печати пожелания, чтобы работа по их осуществлению была возобновлена и чтобы ей был придан новый размах. Важные сами по себе, по тому познавательному материалу, который они должны дать многомиллионному читателю, эти замыслы имеют еще то значение, что они активизируют работу художников слова над материалом промышленности и сельского хозяйства, над темами из жизни рабочего класса и крестьянства, усиливают внимание писателей к вопросам науки и техники. Замечательны эти замыслы и в том отношении, что они настоятельно требуют брать каждое явление как звено всего исторического процесса, рассматривать каждый частный факт в свете того всемирно-исторического значения, какое имеет строительство новых форм жизни в нашей стране. Наконец, осуществление этих замыслов объединяет мастеров слова с начинающими литераторами и просто «бывальными» людьми — такое объединение Горький считал необыкновенно плодотворным и для тех и для других.

Выдвигал Горький и ряд тем и сюжетов более частного порядка. От драматургии Горький требовал отражения самых острых конфликтов современности, которыми в тот исторический период являлись конфликты между победоносно наступающим по всему фронту социализмом и отчаянно сопротивляющимися, чувствующими свою близкую гибель и прибегающими к крайним средствам борьбы остатками эксплуататорских классов. В 1930 году, желая помочь работе импровизационного театра ЛАППа (подобно тому, как он помогал в 1912—1913 годах студии Художественного театра, предпринимавшей опыт коллективного создания пьес), Горький предложил тему о вредительстве на фабрике, дав намечки характеров основных персонажей. Несколько позднее Горький сам взялся за разработку этой темы, создав пьесу «Сомов и другие». В 1935 году, говоря в связи с оценкой современной драматургии о необходимости «расширения и углубления тематики», Горький обратил внимание на то, что не изображен еще «в одном типе, в крупном образе» кулак, яростно сопротивлявшийся «фантастическому прыжку» крестьянства из XVI—XVII веков в XX век, к социализму. Это предложение Горького было тоже связано с его собственной творческой деятельностью: материалы архива писателя свидетельствуют о том, что он сам работал в ту пору над пьесой о колхозной деревне (эта пьеса должна была завершить или продолжить цикл, начатый «Булычовым» и «Достигаевым»).

Ряд тем выдвинул Горький и перед поэтами. Он говорил: «Наши поэты должны ввести в работу свою новые темы» — и подчеркивал важность одной из них, «совершенно новой», — темы

«борьбы коллективно организованного разума против стихийных сил природы и вообще против «стихийности» воспитания не классового, а всемирного Человека человечества...». В этой связи Горький требовал от советской поэзии и пересмотра старых, «вечных» тем — любви и смерти.

В своих указаниях, относящихся к области тематики, Горький не ограничивался материалом советской действительности, а настойчиво призывал советских писателей обращать свои взоры за рубежи родной страны — внимательно всматриваться во все то, что происходит в капиталистических странах, и подниматься до огромной темы соровования двух социальных систем. Исключительный интерес представляет в этом отношении его письмо к А. Н. Тихонову, написанное в январе 1932 года и содержащее целую программу расширения тематики драматургии и репертуара театров. Об этом он говорил и в статье «Равнодушие не должно иметь места», где он обвинял европейскую буржуазную литературу в равнодушии к таким темам и «героям» современности, как банкир, взорванный кризисом капитализма и издыхающий «под тяжестью золота, накопленного им»; как интеллигент, который осознает неизлечимость капитализма, но продолжает, «насилуя свою совесть и разум свой, служить больному разбойнику». «Жизнь непрерывно создает множество новых тем для трагических романов и для больших драм и трагикомедий,— писал Горький,— жизнь требует нового Бальзака, но приходит Марсель Пруст и вполголоса рассказывает длиннейший, скучный сон человека без плоти и крови — человека, который живет вне действительности».

Советы Горького продолжают сохранять свою актуальность и в настоящее время, в частности, его замечание, сделанное в одном из последних его писем, о необходимости «разоблачения фашистских поджигателей». Особенную актуальность продолжают сохранять те его советы, которые обращали внимание писателей на факты героической борьбы рабочего класса в современных капиталистических странах, напоминали о великих интернациональных задачах советской литературы. Положительно оценивая проникнутое пафосом интернационализма стихотворение М. Светлова «Гренада», Горький с упреком писал о некоторых других поэтах: «Интернационалисты, а жизнь соседнего пролетариата не волнует их, не возбуждает ни гнева, ни радости, ни ненависти? Очень странно! Однако — время еще не потеряно, и, может быть, найдутся поэты, которые заполнят этот постыдный пробел». Сегодня мы можем с удовлетворением отметить, что нашлось немало поэтов, прозаиков, драматургов, которые откликнулись на этот призыв Горького. И все же нельзя сказать, что указанный им пробел уже восполнен.

Огромное поучительное значение имеет для нашей критики пример, показанный ей Горьким, — пример постоянной заботы о том, чтобы ничто существенное и важное, возникающее в жизни, не оказалось вне поля зрения литературы.

4

Есть литературные критики, которые полагают, что вопросы тематики не имеют прямого отношения к области художественного мастерства, что они связаны лишь с «что», а не с «как». Горький думал совершенно иначе, относя вопросы тематики к вопросам профессиональным. То, что писатель берет ту или иную тему, в горьковском ее понимании, уже означает отбор материала, уже предполагает определенный угол зрения, определенное видение мира. Художник постольку художник, постольку он открывает в действительности нечто новое — новые явления или новые стороны явлений. Исходя в своих оценках произведений прежде всего из фактов действительности, Горький мерил каждого писателя мерой тех художественных открытий, которые он сделал в общем процессе познания жизни. Известно, что так поступали и великие русские критики Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Известно, что и Лев Толстой считал первым необходимым условием художественного совершенства новизну и важность содержания творчества. У Горького критерий действительности приобрел новое значение. Как было сказано в его докладе на Первом съезде советских писателей, наши писатели могут и должны быть не только критиками действительности, но и непосредственными участниками всех процессов ее изменения, всех процессов созидания новых форм жизни.

Если мы учтем, что значение писателей определялось для Горького главным образом их способностью открывать с помощью специфических средств искусства новые стороны, качества, черты действительности, нам не покажется странным одно «противоречие» в его подходе к литературе. С одной стороны, Горький в своих оценках писателей ставил во главу угла их своеобразие, те их неповторимые особенности и им одним принадлежащие открытия, которые дали этим писателям право на место в литературе и на внимание читателей. С другой стороны, он решительно протестовал против понимания литературы как простой суммы отдельных художественных индивидуальностей и против понимания литературного процесса как результата художественных открытий, делаемых одними великими писателями. Горький понимал литературный процесс как результат усилий многих писателей — от гениальных реформаторов литературы, накладывающих свой отпечаток на целую художественную эпоху, до «малых богатей»,

подготавливающих эпохальные достижения гениев, и даже до массы начинающих писателей, вносящих в литературу свой опыт и становящихся иногда первыми предвестниками важных литературных сдвигов. Горький всегда стремился охватить взором весь горный кряж литературы — от вершин до подножия, до той почвы, из которой поднимается этот кряж. Глубоко изучая действительность и внимательно вчитываясь в то, что приносил с собой повседневный массовый литературный поток, Горький заранее чувствовал приближение важных литературных сдвигов и предугадывал появление новых больших художников.

Одним из показателей величия русской литературы XIX века Горький считал присущую ей разность лиц, приемов творчества, линии мысли, богатства языка. «Где и когда,— спрашивал он,— работали в одно и то же время такие несоединимые, столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Шедрин и Тютчев?» Его волновало не только обилие талантов, рожденных Россией XIX века, но и поразжающее разнообразие их — разнообразие, которому не всегда отдают должное историки литературы. Обилие своеобразных дарований отмечал Горький и в советской литературе. Он испытывал огромное удовольствие, когда, например, мог сказать, что «Леонов — человек какой-то «своей песни», очень оригинальной». Вообще Горький обладал крайне важной для критика способностью сразу улавливать и отмечать мелодию каждой новой «песни», будь то творчество Алексея Толстого или Сергеева-Ценского, Пришвина или Чапыгина, Федина или Тренева, Афиногенова или Павленко.

Но, оценивая индивидуальное своеобразие писателя, Горький никогда не открывал его творчество от литературного процесса в целом; собственно, он и не мыслил оценки художественной индивидуальности вне ее связи с этим процессом и прежде всего с процессом развития самой действительности. «Существует литература древних греков и римлян, итальянского Возрождения, елизаветинской эпохи, литература декадентов, символистов, но никто не говорит о литературе Эсхила, Шекспира, Данте и т. д., — указывал Горький. — Несмотря на изумительное разнообразие типов русских литераторов XIX—XX столетий, мы все-таки говорим о литературе как об искусстве, отражающем драмы, трагикомедии и романы эпохи, а не как о литературе единой — Пушкина, Гоголя, Лескова, Чехова». Горький считал большим недостатком критики, что она обычно оперирует отдельными писателями и отдельными книгами, «хирургически» отрезая их от литературы в целом, а значит, и от всего сложного и многообразного процесса развития самой действительности.

Таким образом, по Горькому, излишнее «индивидуализирование» писателя столь же мешает правильному его пониманию, как и недооценка его индивидуального своеобразия. Противопоставляя буржуазной литературе годов реакции писателей-реалистов XIX века, Горький считал равно важным напомнить и о том, что отличало последних друг от друга, и о том, что их объединяло: «В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле». И если Горький отмечал, что в русском искусстве «в одном и том же поколении встречаются люди как бы разных веков, до того они психологически различны, неслиянны», то здесь крайне важна была эта оговорка: «как бы». Для Горького суть дела состояла в том, что писатели, каждый по-своему, решали задачи именно данного века, именно данной эпохи и что в отрыве от этих задач непонятно их значение для последующего времени, необъяснимо даже само их своеобразие. С этим была связана и замечательная особенность Горького-критика: сочетание постоянного интереса к творчеству выдающихся художников, наиболее глубоко и ярко освещающих действительность, со столь же постоянным интересом к литературной молодежи, идущей из глубин жизни и несущей с собой новый опыт и зерна новых открытий.

Известно, что Добролюбов указал в свое время на исторически возникшую потребность в поэте, который соединил бы некоторые важные особенности пушкинского и кольцовского творчества, и что вскоре после этого он смог приветствовать появление такого поэта в лице Некрасова. Нечто подобное произошло и с Горьким. Прислушиваясь к новым нотам, зазвучавшим в годы революционного подъема в стихах молодых поэтов из демократической и пролетарской среды, Горький пришел к следующему выводу: «...нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт-демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая». Потому-то он и встретил с такой радостью молодого Маяковского, что увидел в его поэзии залог осуществления этих чаяний.

Другой пример. Прочитав еще в годы реакции несколько сот рукописей, в которых звучал «непосредственный голос массы» и в которых в отличие от творчества многих писателей (даже вчерашних реалистов и демократов) настроение было «активно и бодро», Горький пришел к выводу, что литература скоро возродится, станет здоровее и мощнее. Для этого она должна была «снова коснуться земли, народа, демократии». Делая этими мыслями в 1911 году в статье «О писателях-самоучках», Горький оговаривался: «Очень может быть, что

в моем очаровании бодрими песнями, которые начинает петь русский народ, я и преувеличиваю значение этих песен, если это так — строгий и неподкупный общий наш судья — завтрашний день — разочарует меня». Завтрашний день не разочаровал, а оправдал ожидания Горького, который смог вскоре отметить подъем творчества ряда писателей, прямо или косвенно отразивших новую историческую полосу (о том же подъеме говорилось в 1914 году на страницах большевистской «Правды» в статье «Возрождение реализма»).

Еще больше примеров такого рода дает литературно-критическая деятельность Горького в советские годы: почти все темы, сюжеты, проблемы, освещение которых он ждал от советской литературы, легли в основу появившихся позднее произведений, во многом определивших общее художественное развитие. Так постоянное внимание к «фактам действительности» и умение всегда слышать «властный глагол истории» позволяли Горькому глубоко оценивать все достигнутое литературой и ставить перед ней новые дерзновенные задачи.

* * *

Говоря в повести «В людях» о том, что искусство не имеет права прятать правду жизни в «пестрых словечках красивенькой лжи», Горький восклицал: «К жизни, к жизни! Надо растворить в ней все, что есть хорошего, человеческого в наших сердцах и мозгах». Призыв «К жизни!» означал у Горького: быть ближе к главным процессам действи-

тельности, к тем процессам, в которых решаются судьбы миллионов людей. В одном из своих рассказов, «Пузыри», Горький изобразил писателей, которые любили повторять: «Мы отражаем жизнь... мы отражаем жизнь...». Но у героя этого рассказа резонно возникал вопрос: «Однако где же жизнь? То есть как же они видят жизнь?». Ведь вокруг изображенных в рассказе писателей была одна только муть, только одну ее они и могли видеть, только ее и отображали. От настоящей жизни эти писатели-натуралисты были бесконечно далеки.

Через все горьковские оценки литературы проходит стремление уяснить, насколько глубоко проник тот или иной писатель сквозь внешнюю кору явлений в их внутренний смысл, насколько зорко разглядел он в них типическое, «общезначимое», насколько стали ему ясны и насколько его вдохновили те силы истории, которые двигают ее через все преграды «вперед и выше». Социалистический реализм потому и стал наиболее действенным творческим методом, что он позволяет открывать главное в действительности — позволяет открывать в ее прошлом и настоящем все то, что делает неотвратимым ее движение к коммунистическому будущему. Крепить связь с жизнью — значит крепить связь с народом, с его борьбой, с его героической созидательной деятельностью. Раскрывать правду действительности — значит освещать жизнь светом идей марксизма-ленинизма, светом идей Коммунистической партии. «К жизни, к жизни!» — этот призыв Горького во весь голос звучит в наши дни.

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ МАСТЕРСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

I

Творчество Льва Толстого явилось закономерным продолжением русской литературы предшествующего периода. Со свойственной ему масштабностью и демократизмом Л. Н. Толстой поставил в своих произведениях самые существенные, самые острые социальные и этические вопросы русской жизни своего времени, в особенности вопрос о положении народа, его роли в истории, его моральном облике, о дворянской интеллигенции и отношении ее к народу.

В русской литературе первой половины XIX века, а также у лучших представителей западноевропейского искусства слова накопился богатый опыт писательского мастерства — в средствах создания образа, строения сюжета, композиции и т. д.

Изображение нравственного облика героя через его поведение, взаимоотношение с окружающими, через поступки, действия, столкновения в самые различные минуты жизни — одно из извечных средств, которыми пользуются все писатели, создавая характер. Но есть область, без раскрытия которой герой в художественном произведении не будет жить полной жизнью: это сфера мыслей и чувств, внутренний мир героев во всем его своеобразии, глубоко различный у каждого из них. Средства раскрытия душевной жизни человека у писателей многообразны.

Проза Пушкина представляет в этом отношении особый интерес. Совершенная ясность, отчетливость и правдивость образов пушкинской прозы при необыкновенной лаконичности, сжатости стиля — до сих пор явление удивительное.

В 1853 году Толстой в своем дневнике, в записи от 1 ноября о прозе Пушкина, заметил, что преобладающим в ней является «интерес самих событий», но нет интереса «подробностей чувства». Это замечание Толстого очень точно характеризует важнейшую особенность стиля

пушкинской прозы, пути создания образов в ней. Жизнь героев в большинстве случаев разворачивается у Пушкина в событиях остродраматических, нередко чреватых трагическими последствиями («Пиковая дама», «Дубровский», «Капитанская дочка»). В поведении героев, в их поступках, в действиях, которые всегда закономерно вытекают из особенностей характеров и обстоятельств, раскрываются образы, становится ясным нравственный облик героев.

Нигде не раскрывая подробно душевную жизнь своих героев, останавливаясь на изображении их чувств лишь мельком, намеком, Пушкин достигает самого важного: по отдельным жестам, порывам, движениям его персонажей мы понимаем, что происходит с ними в ту или иную минуту, что они думают и чувствуют. Порой какая-нибудь выразительная деталь озаряет всю сцену, и мы со всей отчетливостью видим, ощущаем все тревоги и радости пушкинских героев.

В нашей памяти невольно всплывает картина первой дуэли Сильвио и графа в повести «Выстрел». Пушкин ни слова не говорит о том, что происходит с его героями в минуты перед дуэлью, — он сразу подводит их к барьеру. Сильвио видит своего противника, который вместе со своим секундантом подходит к месту дуэли. Он замечает, что граф держит в руках фуражку, наполненную черешнями. В следующей непосредственно за этим сцене дуэли эта деталь сыграла очень важную роль. «Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокорства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушные взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, ка-

жется, теперь не до смерти,— сказал я ему,— вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать»... «Вы ничуть не мешаєте мне,— возразил он,— извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам».

В этой краткой сцене не только поведение, но и душевное состояние каждого из противников очерчено со всей ясностью. С одной стороны, Сильвио — его ощущение: «...я жадно глядел на него... его равнодушие взбесило меня... Злобная мысль мелькнула в моем уме...». Уже в этих немногих словах выражены чувства Сильвио в эти минуты, его реакция на происходящее. Но еще более интересно раскрыто поведение и состояние графа — его бесстрашие, беспечность, презрительное равнодушие к смерти. Все это подчеркнуто одним жестом, одной деталью: он спокойно ест спелые черешни и отбрасывает косточки, стоя под дулом пистолета. Этот момент врезывается в память, с необыкновенной остротой видишь обоих противников, всю разницу их душевных состояний — мстительного и злобствующего Сильвио и его рыцарски спокойно настроенного противника. Моральный перевес в этой сцене явно на стороне последнего. Эпизод с черешневыми косточками сыграл немалую роль в художественной конкретизации всей сцены.

Замечательно, что Пушкин эту деталь — черешневые косточки — не оставляет: она снова всплывает в момент второй дуэли. Последняя дана полнее первой, ибо в этой сцене и раскрывается со всей очевидностью разница характеров обоих героев повести, подлинная сущность каждого из них. По-пушкински лаконично, отдельными броскими мазками обрисовано и душевное состояние противников перед второй дуэлью. О Сильвио, о чувствах, владевших им перед этой дуэлью, мы узнаем из нескольких строк: «...Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!»

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке».

Волнение и жажда мести, владеющие Сильвио, отражены в его резких, порывистых движениях, и мы вправе рассчитывать, что дуэль окончится трагически для его противника. Однако дело принимает совершенно иной оборот.

Увидев Сильвио, рассказывает граф, «...я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом». «Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута!». В этих коротких ударных фразах словно слышно учащенное биение сердца, ощутимы страх и смятение, охватившие противника Сильвио.

Но совершенно другое происходит в эти минуты в душе Сильвио. Он убеждается, что враг его морально повер-

жен, в нем не осталось и следа от его бывшего спокойствия и мужества перед лицом смерти. И жажда мести гаснет в Сильвио. «Жалею,— сказал он,— что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела». Он предлагает бросить жребий. Первый выстрел снова достается графу; он стреляет.

Замечательно, что деталь, игравшая столь видную роль во время первой дуэли, снова всплывает здесь, но назначение ее в момент второй дуэли уже совершенно другое; в устах Сильвио эта деталь — черешневые косточки — звучит как напоминание о прошлом, как укоризна, как указание автора на изменение ролей обоих участников дуэли. Если прежде моральный перевес был на стороне графа, то теперь положение изменилось. И Сильвио удовлетворен, он отказывается от мести, от выстрела, принадлежавшего ему по праву дуэли.

Таким образом, в самом сжатом виде, в поведении обоих противников, в отдельных деталях раскрываются характеры и душевное состояние героев повести. При этом, как видим, события, в которых разворачивается сюжет повести, и здесь отличаются особой остротой.

Нередко Пушкин, чтобы обрисовать своего героя в самую драматическую минуту, ограничивается немногими словами, одним намеком, заставляя читателя самому догадываться о состоянии его. В одном из таких эпизодов мы видим Германа из «Пиковой дамы»: «Он сидел на окошке сложа руки и грозно нахмурился. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона». Этой последней деталью сказано многое, очень многое о личности Германа, о страстях и чувствах, владеющих им.

Чтобы изобразить внутренние устремления своего героя, Пушкин нередко идет путями околными.

Образ Пугачева в «Капитанской дочке» дан Пушкиным многосторонне — в нем вмещаются черты разнообразные: жестокость и великодушие, ум и лукавство, суровость и веселый нрав; он то скрытен, то прямодушен. И в то же самое время во всех своих действиях, поступках, взаимоотношениях с окружающими Пугачев предстает перед нами как характер истинно народный, как глубочайшее явление народного духа. Его моральный облик раскрывается постепенно — в поведении, проявляющемся часто в событиях грозных, когда он выступает как вождь повстанцев, как руководитель народного движения. Мы нередко видим его в эпизодах и происшествиях, где особенно ощутимы его простые человеческие свойства.

Но перед Пушкиным стояла еще и другая задача — раскрыть те чувства Пугачева, те внутренние побудительные мотивы, которые руководили им в его действиях как вождя повстанцев, объяснить то бесстрашие, которое он и его соратники проявляли в столь опасной, гибельной борьбе. С этой целью Пушкин

создает несколько сцен, где эта задача решается художественно.

В задушевной беседе с Гриневым по дороге в Белогорскую крепость Пугачев иносказательно — через сказку о вороне и орле — раскрывает свои мысли и чувства о самом сокровенном — о своей деятельности и своей судьбе. Не только содержание, мораль сказки, но и сама интонация, с какой она рассказана Пугачевым («с каким-то диким вдохновением»), и ее народный язык способствуют тому, что мы чувствуем: его Пугачев выразил что-то глубоко важное, о чем он не раз думал, тот большой смысл, который он придавал риску и борьбе. Сказка эта — восторженный гимн дерзости и презрению к «мертвечине».

Как это не раз делает Пушкин в особо важных моментах повествования, он завершает и эту беседу Пугачева с Гриневым краткой лирической концовкой, еще более подчеркивающей значительность всей сцены: «Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затаил унылую песню. Савельич дремля качался на облучке...».

И во второй раз прибегает Пушкин к народному творчеству, чтобы с его помощью — окольным путем — раскрыть чувства Пугачева и его соратников: они распевают народную песню о виселице. Рассказчик Гринев говорит о впечатлении, которое произвела на него эта песня в устах повстанцев:

«Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».

Бесстрашие, мужество и подлинный трагизм судьбы этих людей рисует Пушкин в этой краткой сцене. Пугачеву и его соратникам народное творчество бесконечно близко по духу, и Пушкин через него и стремится выразить те грозные, трагические чувства, которые владеют ими в определенные минуты.

Так разнообразны средства, которыми пользуется Пушкин, выражая внутренний мир своих героев. В большинстве случаев это опосредствованный путь. Подробностей раскрытия мыслей и чувств героев мы в прозе Пушкина почти не встречаем. Это было делом дальнейшего развития художественной литературы.

В «Герое нашего времени» Лермонтов сделал новый шаг вперед в художественном воплощении душевной жизни героя. Характер Печорина с его постоянной склонностью к рефлексии, к самоанализу полнее всего раскрывается в высказываниях героя о себе, в монологах, раздумьях. Форма дневника облегчала эту задачу. Таким образом, центральное лицо произведения показано автором не только через взаимоотношения с други-

ми, через восприятия окружающих, но и непосредственным раскрытием изнутри. Таких эпизодов в «Герое нашего времени» немало:

«И долго я лежал неподвижно, и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие, — исчезли как дым; душа обессилела, рассудок замолк, и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся».

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться».

Этот рассказ Печорина о самом себе, как и многие другие наблюдения его над собственными чувствами, над своей раздвоенностью, его размышления о своем месте в жизни — все это исполненное глубокого драматизма самораскрытие означает начало того пути, по которому пойдет Толстой, открывая новую страницу в истории мировой литературы.

В прозе Лермонтова природа неотделима от души человеческой. Часто пейзаж даже синтаксически, по самому строению фраз связан с высказываниями героя: «...Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежeminутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горечь ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес».

Как и все в прозе Лермонтова, пейзаж в большинстве случаев не является моментом объективным — изображением природы вне героя; это пейзаж насквозь субъективный, к нему наиболее применим крылатый афоризм: «пейзаж — это состояние души».

И «субъективность» пейзажа, и внимание к вопросам этико-философским, и многие другие особенности роднят прозу Лермонтова с русской литературой последующих десятилетий, с творчеством Толстого в особенности.

Все то, что было завоевано русской и западноевропейской литературой в сфере раскрытия внутреннего мира героев, нашло себе блестящее и необыкновенно тонкое применение в творчестве Тургенева. Здесь мы чаще встречаемся с внутренними монологами (то есть с непосредственным выявлением чувств и

мыслей). Особенно наглядно мы наблюдаем их в тех случаях, когда речь идет о героях с развитым интеллектом, в минуты трудные, когда они пытаются осмыслить свое место в жизни (Лаврецкий, Литвинов и др.) Однако следует сказать, что раздумья героев, самораскрытие отнюдь не являются у Тургенева доминирующим средством: оно лишь одно из многих в его произведениях. И жест, и движение персонажа, и его взгляд, и выразительная деталь — всем этим пользуется Тургенев, чтобы привлечь читателя к внутреннему миру своих героев, к их чувствам, переживаниям, мыслям. Своеобразие Тургенева прежде всего в том, что все это насыщено в его произведениях глубочайшей эмоциональностью, необыкновенным лиризмом, поэзией чувства. Вспомним эпизод в «Дворянском гнезде», эпилог, где изображена последняя безмолвная встреча Лаврецкого с Лизой: «...только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, — и пальцы сжатых рук, перепутанные четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти мимо».

Как мало слов и как сильно их эмоционально-эстетическое воздействие! Недосказанность, намек, вопрос, несколько скупых движений лица и рук героини — и какой богатый, глубокий подтекст в результате, подтекст, заставляющий читателя вступать в контакт с существом. Тургенев был великим мастером таких лирических подтекстов. В рассказе «Ася» мы встречаем нечто аналогичное:

«— Ася, — сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, этот взгляд женщины, которая полюбила, — кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались...»

Это тургеньевское — «кто тебя опишет?» — как и в эпизоде романа — «Кто узнает? Кто скажет?» — так же, как и раскрытие чувства любви взглядом, — одно из характерных проявлений глубокого лиризма, большой эмоциональной волны, которую создает Тургенев самыми различными средствами, описывая внутренний мир своих героев. И мы, не видя этот мир в непосредственном раскрытии, все же остро ощущаем его.

Для этой цели Тургенев очень часто пользуется лирическим пейзажем. Пейзаж в роли эмоционального рупора для изображения настроений и чувств героя был распространяем явлением издавна. Но тургеньевский лирический пейзаж как одно из средств изображения душевного мира героя интересен своей утонченностью, разнообразием оттенков и звучаний в различных случаях.

Особенно сильное впечатление создается, когда эту роль выполняет не пейзаж, а музыка, звуки, с помощью которых раскрывается внутреннее состояние героев, значение чувств, наполняющих их. С этой целью в романе «Дворянское гнездо» и дана музыка Лемма (непосредственно после сцены свидания Лаврецкого с Лизой в саду ночью):

«Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотой; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле — дорогого, тайного, святого: она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впились в его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью».

Музыка здесь — момент не случайный. Она как нельзя лучше олицетворяет собой одухотворенную, возвышенную натуру Лизы. Для музыканта Лемма музыка и Лиза — понятия одного и того же ряда («Он стал говорить о музыке, о Лизе и потом опять о музыке», — пишет Тургенев.) Совершенно естественно, что не пейзаж, а звуки торжественной красоты привлечены писателем для изображения пафоса, чистоты и поэзии любви Лизы и Лаврецкого. Описание характера, особенностей этой музыки и замечает собой непосредственное раскрытие внутреннего мира героев в эти минуты, освещая чувство любви, которое Тургенев всегда изображает в особом ореоле.

Порой Тургенев для выражения душевного состояния своих героев привлекает не пейзаж, не звуки, а художественное произведение, которое в этих случаях является и лирическим комментарием и подтекстом, помогающим нам глубже проникнуть в душу героев. Так происходит в удивительной тургеньевской повести «Фауст», где в такой роли выступает знаменитое произведение Гете.

Само заглавие тургеньевской повести и все содержание ее говорят о том, что гетевский «Фауст» играет здесь очень важную роль. И воздействие этого произведения на центральное лицо повести, Веру, и ее гибель из-за любви — все это дает основание автору привлечь «Фауста» как подтекст и комментарий к наиболее драматическим сценам. Так, при последнем свидании героя повести с Верой, когда он видит ее умирающей, из ее уст он слышит слова из «Фауста»:

«Чего хочет он на освещенном месте,
Этот... вот этот...».

Здесь, как и в других случаях, путями окольными — через что-то другое, заменяющее собой непосредственное раскрытие внутреннего мира героев (через пейзаж, музыку, произведение искусства и др.), — приобщает Тургенев читателя к душевной жизни своих героев.

Даже из этого краткого обзора разнообразных художественных средств, которые мы наблюдаем у великих русских мастеров прозы, предшественников и современников Толстого, можно убедиться, насколько велики были завоевания русской литературы в области раскрытия внутренней жизни человека. Все это нашло продолжение в литературе последующих лет, преломляясь у каждого писателя по-разному.

Лучшие мастера русской и западноевропейской литературы уже почти вплотную подошли к разработке средств и приемов для непосредственного раскрытия внутреннего мира человека искусством слова; почва была разрыхлена. Необходим был новый смелый сдвиг, совершенный писателем-гением, чтобы проблема художественного воплощения душевной жизни человека была разрешена со всей глубиной и полнотой.

Уже первые произведения молодого Толстого возвестили о приходе такого художника в литературу.

II

Те большие проблемы, которые поставил Толстой в своих произведениях, могли быть им воплощены в образах лишь благодаря особенностям его творческого метода. Художественными средствами, которыми ограничивались писатели до Толстого, вряд ли он был бы в состоянии в полной мере эстетически выразить свои замыслы. Это могло произойти лишь благодаря подлинному художественному новаторству в раскрытии внутреннего мира человека, который наилучшим образом был определен Чернышевским известным термином «диалектика души». Не менее важными оказались и новые принципы изображения событий у Толстого — общественных, исторических.

Каждый большой писатель, писатель-новатор, расширяет сферу искусства слова, вводя в литературу новые темы, новые проблемы, новых героев. Все это уже в очень большой мере было сделано великими предшественниками Толстого в русской литературе. Продолжая начатое, Толстой не только углубил и расширил ее возможности постановкой величайших проблем своего времени, своеобразием и сложностью человеческих характеров, но и проник в такие сферы душевной жизни человека, которые до того были недоступны перу писателей.

В середине XIX века, когда во всю силу развернулось творчество Толстого, важнейшие социальные проблемы, задававшие всю народную жизнь, естественно, стали в центре внимания крупнейших художников слова. Обязательство это как бы диктовало необходимость отыскания новых путей для раскрытия внутреннего существа человека, без чего художественная литература вряд ли была бы в состоянии поставить и воплотить в полноценных художе-

ственных образах существеннейшие вопросы своего времени.

Индивидуальные особенности Толстого — его пристальное и страстное внимание к внутренней жизни человека и постоянный углубленный самоанализ — были порукой тому, что в его творчестве новые проблемы найдут свое решение.

Дневники тех лет, когда Толстой только что вступил в литературу, с достаточной ясностью свидетельствуют об этой доминирующей его черте. Привычка следить за собственным «я», за каждым поступком и чувством, недовольство собой и постоянное стремление к нравственному совершенствованию, необыкновенный и беспощадный критицизм по отношению к самому себе — все это мы видим в его дневниковых записях той поры. Вот одна из таких характерных записей от 7 июля 1854 года:

«Посмотрим, что такое моя личность.

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован... Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр... Я умею, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан... Я честен, т. е. я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них».

Пройдет лет десять, и о том же — о честолюбии, о страсти к славе, о готовности отдать за нее все — заговорит в «Войне и мире» Андрей Болконский.

В апреле 1855 года Толстой — в Севастополе, в самом опасном месте, но здесь он уже наблюдает не только за самим собой. Здесь есть уже другой очень важный объект — масса солдатская. Он записывает в своем дневнике 13 апреля 1855 года:

«Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил Севастополь днем и ночью и немного написал Юности. Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет».

Так вырастают «Севастопольские рассказы». Но не только они. Знание «образа» войны, психологии солдатской массы, ее чувств, ее отношения к окружающему окажет немалую услугу Толстому в ту пору, когда он возьмется за роман о 1812 годе.

Чернышевский, знавший в 1856 году лишь первые произведения Толстого, с большой точностью определил основную его особенность в отличие от других рус-

ских писателей. Он указал, что в произведениях этих писателей изображается то или иное чувство, возникшее в результате определенных событий, столкновений, иначе говоря, раскрывается определенный момент душевной жизни человека; Толстого интересует и самый процесс этой жизни, само внутреннее движение чувств, их изменчивость — весь сложный рисунок, все многообразие оттенков их, что дает возможность отображать душевную жизнь человека во всей полноте, к чему и стремился Толстой.

Чернышевский, так тонко проанализировавший своеобразие художественного метода Толстого и предсказавший писателю великую будущность, все же в ту пору еще не мог предвидеть, как значительны будут результаты этого открытия для литературы всего мира, до какой степени увеличатся возможности писателя в самой важной области — в раскрытии душевной жизни человека.

У Толстого всегда были сложные счета с искусством. Оно во многом не удовлетворяло его — прежде всего тем, что в нем он не находил отражения полноты жизни в той степени, какая ему представлялась необходимой. Чтобы устранить это зло, он всемерно расширял возможности литературы, охватывая все новые и новые, не изведенные искусством слова стороны человеческой психики, человеческих чувств и взаимоотношений, вводя темы и характеры, через которые эти взаимоотношения выступали сурово-обнаженно.

Немало изменений претерпел нравственный облик Анны Карениной, прежде чем приобрел глубоко реалистическое, художественное оформление. Характер центрального лица в романе не только на ранней стадии создания произведения, но и в течение значительно времени оставался еще незавершенным. Со всей очевидностью свидетельствуют об этом многие эпизоды в черновых вариантах. По этим вариантам и можно судить, как постепенно повышался этот характер, освобождаясь от всех мельчивших и огрублявших его черт.

Один из таких эпизодов в черновых вариантах — посещение Анной театра. В окончательном тексте в этой сцене подчеркивается гордая красота Анны, ее сдержанность и внешнее спокойствие, несмотря на унижение, испытываемое ею. В черновом же варианте интонация дружная.

Вместо Вронского здесь Удашев; Анна состоит с ним в законном браке; знакомая им чета не отвечает на поклон Анны. Оскорбленный Удашев подчеркивает, что Анна — его законная жена.

«Анна все видела, все поняла, но это как бы возбудило ее, она не положила оружия, и, вернувшись в ложу, она стала еще веселее и блестяще. Толпа стояла у рампы. Она смеялась, бинокли смотрели на нее. Удашев был в первом ряду, говорил с дядей генералом и, вдруг, оглянувшись, увидав бинокли

дам, блестящее лицо Анны, мужчин против нее, он вспомнил такие же ложи дам голых с веерами, m-me Nina, и, когда он вернулся, он не разжал губ, и Анна видела, что он думает. Да, это становилось похоже на то, и он и она знали это. Она надеялась, что он пощадит ее, не скажет ей этого, но он сказал.

— Ты скучен отчего? — сказала она. — Я? Нет. — А мне весело было, только... — Она хотела сказать, что не поедет больше в театр; но он вдруг выстрелил. «...Женщины никогда не поймут, что есть блеск неприличный. ...Губа ее задрожала. Он понял, но не мог ее успокоить».

Вся эта сцена еще очень далека от того мастерства, от той художественной отделки, какие мы находим в окончательном тексте. Однако существенно здесь другое — само отношение автора к Анне, резко отличное от того, которое отчетливо видно в окончательном тексте. Сравнение Анны с женщинами в ложах и слова Удашева о «неприличном» блеске — все эти моменты, чрезвычайно снижающие образ героини.

В дальнейшем процессе работы, по мере того, как вызревал общий замысел и характер центрального лица стал вышаряться, такие эпизоды должны были либо отпадать, либо видоизменяться вследствие полного несоответствия их целому.

И в черновых вариантах сцены свидания Анны с сыном встречаются эпизоды, аналогичные предыдущему, вульгаризирующие образ ее. Чрезвычайно интересно проследить, например, как показано поведение и отношение к происходящему губернера Сережи в черновом варианте и в окончательном тексте. В последнем Толстой рисует то смятение, которое охватывает в доме и слуг и губернатора, их сочувствие матери, ее желанию увидеть своего ребенка, с которым она разлучена, и в то же время сознание, что невозможно допустить встречу бывших супругов в детской. Все это усиливает напряженность всей сцены.

Василий Лукич знает, что ему нужно быть около Сережи, и он подходит к двери детской с намерением войти. «Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, — все это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еще десять минут», — сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы».

Так выглядит этот эпизод в окончательном тексте. Совсем иным показан он в черновых вариантах.

Василий Лукич «был в сомнении, войти ли ему или нет, или сообщить Алексею Александровичу. Сообразив все дело, он решил, что его обязанность состоит в том, чтобы поднять Сережу в определенный час, и потому ему, не обращая внимания на мать или кто бы это ни был, нужно исполнять свою обязанность. Поэтому он оделся, переменяв только галстук, надел синий, более шедший к нему, и употребляемый для

прельщения дам. С дамой этой, как с дамой легкого поведения, мог возникнуть роман, и потому Василий Лукич, устроив галстук и причесавшись особенно авантажно, решился войти, подошел к двери и отворил ее. Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, совершенно изменили настроение духа Василия Лукича. Он вздохнул, покачал головой и затворил дверь».

Представление гувернера об Анне как о «женщине легкого поведения» явно перекликается с мыслями Удашева-Вронского о ней в предыдущем эпизоде, когда он сравнивает ее с m-me Nina. Характер этих эпизодов свидетельствует о том, что в то время, когда писались эти варианты, образ Анны, с ее глубиной и человечностью, еще не вызрел в сознании Толстого, представлялся ему еще совсем другим.

Из всего эпизода с Василием Лукичем уцелели для окончательного текста только последние строки, причем Толстой усилил их, прибавив несколько слов: «откашляваясь и утирая слезы».

Характерно была изменена и реплика старого слуги Капитоныча в этой сцене. В черновой рукописи она была такова: «Да вот ты бы раньше вставал, да двери отворял. Да ту самую барыню, у которой 10 лет служил, кроме милости ничего не видал, вытолкал бы взапашу, как шлюху, твою жену. Ты бы про себя помнил, как барина обирать, да енотовые шубы таскать».

Вульгаризмы в реплике Капитоныча изъяты из окончательного текста. В последнем варианте реплика выглядит так: «Да вот бы ты не пустил! Десять лет служил, да кроме милости ничего не видал, да ты бы пошел теперь да и сказал: пожалуйста мол вон! — ты политику-то тонко понимаешь! Так-то! Ты бы про себя помнил, как барина обирать, да енотовые шубы таскать!»

Замечательно, что в черновых вариантах сцен и картин, где показаны последние дни Анны, еще встречаются отдельные эпизоды, по характеру аналогичные, приносящие образ Анны. Таков именно эпизод, где дан ее разговор с товарищем Вронского — Грабе, с которым она едет на цветочную выставку: «Анна заипрывает с Грабе, пытается вызвать его на объяснение в любви; Грабе замечает это и дает ей понять, что с женой своего друга он не намерен вести такую игру. Анна старается переменить тему разговора и «заглушить чувство не только стыда, но и разочарования в том, что она не может уже нравиться, которое тяжелым гнетом легло ей на сердце».

Несомненно, что легкомыслие, выраженное в этом эпизоде, так мало вяжется с образом Анны, что все это не могло дойти до окончательного текста.

Работая над образом Анны, в особенности на более поздних стадиях, Толстой откидывал все, что снижало этот образ. Это относилось в равной мере как к внешнему облику Анны, так и ко внутреннему. Все, что в какой-либо ме-

ре ослабляло красоту и духовную силу этого образа, не доходило до окончательного текста. Причины тому были, несомненно, весьма серьезные. Кроме мотивов чисто художественного порядка, здесь были и другие.

Если бы образ Анны и в окончательном тексте оставался на таком же невысоком моральном уровне, каким он неоднократно рисуется в черновых вариантах, то трагизм ее судьбы был бы до чрезвычайности снижен. В этом случае Толстой не смог бы нанести и столь чувствительного удара той сановной бюрократии, против которой в романе направлены все его стрелы. Процесс постепенного возвышения характера Анны, центрального лица в этом произведении, очень тесно связан с общими тенденциями Толстого в романе, со стремлением его показать подлинное лицо той социальной среды, которая ополчилась против Анны, и где разыгралась драма, приведшая к ее гибели.

Задуманный вначале как житейский, с некоторыми мелкими, малопривлекательными чертами облик Анны постепенно, по мере расширения всего замысла романа, очищался, облагораживался и был наконец поднят на ту высоту, на какой мы видим его в окончательном тексте. Несмотря на всю глубокую правдивость этого характера, на нем печать величайшей поэтизации.

Толстой изображал в процессе, в постоянном движении не только человека, его внутреннюю жизнь, но и события — общественные, исторические — в их потоке, в столкновении различных сил. Безграничное многообразие жизни, вся пестрота и ширь ее, участие людей в этих событиях, противоречивость их интересов, устремлений, желаний — все это находит место и отражение в творчестве Толстого.

Изображать все в движении — и внутренний мир человека и жизнь, его окружающую (в переплетении самых различных изменчивых явлений и обстоятельств), — стало основой творческого метода Толстого. Все это снимало привычные покровы, привычные условности и открывало перед литературой широкую дорогу. Именно поэтому Толстой и мог создать «Войну и мир» — произведение, вместившее народную жизнь целой исторической эпохи в ее движении, противоречиях и сложности.

Стремление добираться во всем до «корня», до основы основ характерно для Толстого на всем его творческом пути. Изображая чувства человеческие, он не ограничивается лишь теми из них, которые освещены сознанием, поддаются его контролю. Показать человеческие ощущения в их первозданном виде, уловить в каждом чувстве его многоликость и то неясное, что в нем таится, — все это он считал доступным искусству слова, и все это он воплощал в своем творчестве.

«Главная цель искусства, — писал Толстой 17 мая 1896 года, — высказать прав-

ду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом... Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем людям тайны».

Он постоянно и раскрывал эти тайны, рисуя душевную жизнь своих героев в самые различные мгновения, на самых различных этапах их бытия.

Андрей Болконский — характер глубоко интеллектуальный. Он постоянно анализирует все происходящее вовне и в себе самом, его чувства всегда многосложны.

Болконский — в доме Ростовых, Наташа поет, и вот что происходит с ним в эти минуты:

«Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее?.. Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живосознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно-великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противоположность томил и радовала его во время ее пения».

«Да и нет» одновременно, быть может, и есть самое характерное для толстовского изображения чувств героя. Он счастлив, и ему хочется плакать; одно и то же чувство его и томит и радует.

У Наташи Ростовой на балу взгляд выражает «отчаяние» и «восторг», испуг и счастье; на лице ее улыбка «из-за готовых слез». И все это одновременно, и все это различные оттенки чувств, все сложная «диалектика» их.

В каждом из чувств своих героев Толстой видит множество разнообразных, порой противоречивых сторон, отображающих в своей совокупности всю сложность, тонкость и многообразие человеческой психики. Таким образом Толстой внутренний мир своих героев — в его бесконечном движении, стремясь этим путем добраться до подлинной «правды» чувства.

«...Он — синий, темно-синий с красным», — говорит Наташа Ростова о Пьере Безухове, столь своеобразно выражая свое восприятие. Толстой не находит в этом ничего необыкновенного, оно естественно и закономерно в ее устах.

Известно, с какой полнотой, выразительной силой и почти клинической точностью Толстой изображает чувства и ощущения своих героев в моменты смертельной болезни, бреда, потери сознания.

Для изображения момента бессознательного или полусознательного Толстой в числе других средств нередко пользуется очень тонким приемом — привнесением в общий поток видений героя неясных и бессвязных звуков; это при-

дает особый оттенок чего-то исключительного и необычного внутреннему монологу, и в то же время не только нравственное, но и физическое состояние человека в эти минуты становится остро ощутимым (к чему всегда стремится Толстой, раскрывая внутренний мир героя).

Князь Андрей, то бредящий, то приходящий в сознание, слышит звуки: «И пипи-пипи-пипи и потом и-ти-ти ...Тянет-ся! тянется! растягивается, и все тянется».

Его отец, умирающий старый князь Болконский, силясь что-то сказать дочери, произносит: «Гага-бои... бои...». И княжна Марья угадывает смысл этих звуков: «Душа, душа болит».

Однако не во всех таких случаях прибегает Толстой к аналогичному приему. В зависимости от обстоятельств и характера действующего лица средства воссоздания состояния героя видоизменяются. С необыкновенной силой выразительности дана Толстым картина болезненного состояния в «Анне Карениной» (Анна в момент смертельной болезни после родов). Изображение ее внешнего облика в эти минуты, резкие переходы от сознания к бреду, переживания окружающих (Каренина и Вронского), их реакция на слова и поведение Анны во время этой сцены — все вместе взятое и дорисовывает картину.

По-другому — целым рядом деталей — изображает Толстой состояние смертельно больного Ивана Ильича (повесть «Смерть Ивана Ильича»).

Очень большое место у Толстого занимает и противоположный полюс — сфера мысли, интеллекта, поисков смысла жизни, и все это неотделимо от множества чувств в одном и том же существе.

Ставя перед собой задачу изображения внутреннего мира человека в движении, в постоянной изменчивости, Толстой придавал особое значение мотивированности, закономерности поведения героя, каждого шага его, что мы и наблюдаем в истории жизни любого из них.

Пьер застает князя Андрея в Богучарове в состоянии безнадежности и суровой замкнутости (после Аустерлица и смерти жены). Через некоторое время мы видим Болконского в Петербурге оживленным, деятельным и счастливым. Если мы вспомним, однако, что произошло в промежутке между этими двумя периодами, между Богучаровом и Петербургом, то убедимся, что художником были построены своего рода ступени для медленного восхождения героя, преодоления им душевного кризиса. Ступени эти — ряд эпизодов: приезд Пьера и разговор с ним князя Андрея на пароме, поездка в Отрадное и встреча с Наташей, размышления при виде распустившегося дуба и чувства после этого. Каждый из этих эпизодов — этап и страница душевной жизни героя на пути к обновлению.

Чтобы с достаточной полнотой и художественной убедительностью раскрыть

этот период внутренней жизни Болконского, Толстой в процессе работы неоднократно отбрасывал и создавал новые промежуточные эпизоды, пока не нашел то, что его наконец удовлетворило. Так после многих поисков был создан один из наиболее поэтических эпизодов «Войны и мира» — ночной разговор Наташи с Соней, ее мечты о том, чтобы полететь, — разговор, который слышал князь Андрей и который вызвал в нем целый рой новых мыслей и чувств. Многократно переделывался в композиционном и стилистическом отношении эпизод с дубом, играющий столь важную роль в процессе душевного возрождения героя.

Тот же сложный путь мы наблюдаем и в жизни Пьера. Дуэль с Долоховым, разрыв с женой, увлечение масонством, мысли об убийстве Наполеона, Платон Каратаев, женитьба на Наташе — это не только события, это прежде всего стадии его внутренней жизни, раскрытой перед нами на всех ступенях своего развития, в длительном процессе, так что ни один момент не останется неясным, непонятным или необъяснимым. Происходит, как всегда у Толстого, терпеливая «пахота» творческого поля, тщательная работа над каждым эпизодом и каждой сценой; все это и дает возможность художественно воссоздать столь полную картину душевной жизни человека в ее трудностях и противоречиях и добиться воплощения той подлинной правды чувств, к которой постоянно стремится Толстой.

В целом ряде случаев как непосредственная речь героев, так и «внутренние монологи» представляются Толстому неподходящими средствами для раскрытия душевной жизни героев. Не всегда человек выражает себя словом. Очень часто, в особенности в минуты наиболее серьезные и трудные, он проявляет свои чувства иным путем.

Мария Болконская приезжает в Ярославль, где находится в это время смертельно раненный князь Андрей. Она входит в дом к Ростовым, встречает Наташу и хочет спросить ее о состоянии брата. «Что...» — начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже».

И Наташа на ее немой вопрос отвечает соответственно: «Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарывав, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла все».

В определенных случаях жизни лицо и глаза человека оказываются несравненно более правдивыми и выразительными свидетелями всего происходящего с ним, нежели слово. Толстой в этом уверен и, изображая внутреннюю жизнь своих героев, то и дело прибегает к этим неизменным свидетелям.

Наташа Ростова в Ярославле ухаживает за смертельно раненым Андреем Болконским:

«Она сидела на кресле боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок... Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье — клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулось, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было после этого движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье».

Толстой дал нам возможность не только ощутить чувства Наташи и отношение ее к князю Андрею, но и «увидеть» это — точно так, как если бы весь эпизод был показан на сцене или экране.

Очень большое значение Толстой придает облику и второстепенных персонажей, которых он сравнительно редко изображает изнутри. Герои второстепенные показаны в меньшем количестве сцен и эпизодов. Поэтому, рисуя их, Толстой прибегает часто к дополнительным средствам, чтобы и эти персонажи, менее активно участвующие в событиях, все же ничего не потеряли бы в своей рельефности и художественной конкретности.

Облик маленькой княгини Лизы Болконской не раз привлекал внимание многих, писавших о «Войне и мире», тем, что в ее лице выделена и акцентирована своеобразная черта — короткая верхняя губка.

Подчеркивание одной какой-либо физической особенности в облике героя — прием, широко применяемый Толстым. Однако губка Лизы Болконской — более активная деталь создания образа, чем другие детали портрета у Толстого. Вся суть здесь в той психологической функции, которую выполняет эта выделенная черта, придавая всему образу полноту жизни, выражая в нем самые разнообразные чувства — и грусть, и радость, и страдание.

Когда маленькая княгиня весело, губка «порхает», то поднимаясь, то опускаясь («...на мгновение слетала вниз, притрогивалась, где нужно было к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестящая зубами и глазами улыбка»).

В другой сцене Лиза огорчена, тон у нее ворчливый: «...губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье». Через минуту выражение лица Лизы уже другое, и показано оно опять-таки все той же деталью. Маленькая княгиня обижена холодностью, которую почувствовала в словах Андрея Болконского, — она «ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала».

Предстоящих родов Лиза Болконская ждет со страхом и трепетом, словно предчувствуя их трагический исход. Когда княжна Марья в разговоре напомнила ей о них, то «губка Лизы опустилась. Она приблизила своё лицо к лицу зюловки и опять неожиданно заплакала».

Короткая губка Лизы Болконской то «порхает», то дрожит, то печально опускается, каждый раз выражая различное душевное состояние ее, становясь, таким образом, вернейшим зеркалом внутреннего мира героини в различные минуты ее жизни. Именно поэтому так эффективно работает этот своеобразный штрих; в результате персонаж, показанный в немногих сценах, все же живет в романе полной человеческой жизнью.

III

Портрет героя в подлинно художественном произведении — рисунок лица, фигуры, всего внешнего облика его — ключ к раскрытию характера, но у различных писателей портрет строится различным образом. Вспомним замечательный портрет Печорина в «Герое нашего времени». По тонкости красок, совершенному соответствию внешнего облика Печорина всему его нравственному существу этот портрет напоминает классическую портретную живопись. В нем дано детальное изображение фигуры, телосложения Печорина, его одежды, походки, лица, и нельзя не отметить, что в каждом штрихе его внешнего облика запечатлена та или иная черта его внутреннего существа. Особенно подробно останавливается Лермонтов на выражении глаз своего героя, как на моменте исключительно важном для характеристики его основного свойства — глубокой разочарованности.

...«О глазах я должен сказать еще несколько слов,— говорит Лермонтов, особенно выделяя их на фоне всего облика Печорина...— ...они не смеялись, когда он смеется! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полупушечных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного, или играющего воображения; то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый — оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если бы не был так равнодушно-спокоен».

Таковы глаза Печорина, вернее, таково выражение их.

Каковы же художественные особенности этого портрета? Прежде всего — его детальность, авторское стремление сразу компактно показать внешний облик своего героя. Портрет Печорина дан Лермонтовым не в начале нашего знаком-

ства с героем, а гораздо позже — после истории Бэлы, когда мы уже изрядно много знаем о нем (это объясняется тем, что вначале рассказывал о нем не автор, а Максим Максимыч). Создав этот портрет, Лермонтов словно дает нам новое, дополнительное представление о характере Печорина, характере, который раскроется глубже и полнее в последующих новеллах, являющихся частями всего романа.

Тенденция давать по возможности полное и детальное изображение внешнего облика героя была явлением обычным для того времени, но особенно важно, что Лермонтов стремится в чертах Печорина подчеркнуть и его внутреннюю противоречивость, и грусть, и равнодушие, и душевную усталость («глаза его не смеялись, когда он смеялся», в улыбке его есть что-то детское,— при общей сумрачности и скрытности; взгляд, тяжелый, пронизательный, в то же время равнодушно-спокойный»). Во всем этом уже частично дана разгадка характера Печорина.

В этой особенности портрета у Лермонтова (в его стремлении во внешнем облике героя — в выражении глаз, улыбке — сделать портрет подлинным зеркалом души персонажа) уже заложена некая основа для портретной живописи в творчестве Толстого. Но перед Толстым стояла и другая задача — отобразить в телесном облике своих героев те мгновенные, подчас едва уловимые, но бесконечно важные для художника-психолога изменения их духа, настроений, состояний. Иначе говоря, Толстой, следуя своему творческому методу, стремится создавать портрет, в особенности центральных героев, в динамике, в постоянном движении. На лицах героев «Войны и мира», «Анны Карениной» и героев других его произведений волнения мысли, взлеты и падения, все борения духа человеческого, отраженные в телесном облике — во взгляде, улыбке, движениях.

Таким путем мы вместо портрета статического, где отмечены постоянные черты и особенности персонажа, имеем портрет в динамике — бесконечное множество зарисовок, и в каждой из них виден одновременно и физический и моральный облик героя в самые различные — и трудные, драматические, и радостные — минуты его жизни. В конечном итоге облик героя встает перед нами с необычайной конкретностью.

Портрет Анны Карениной, жизнь и судьба которой полны глубокого драматизма, дан Толстым теми же средствами. Анну мы встречаем во множестве сцен, и каждый раз она иная, оставаясь одной и той же в своей нравственной сущности. В одной сцене она «умышленно» тушит свет в глазах, в другой — в них «неудержимый дрожащий блеск», в третьей — глаза ее светятся то нежностью, то восторгом, то загораются злой насмешкой. В момент смертельной болезни мы видим ее воспаленное лицо, ее

горячие руки, она то в бреду, то в сознании.

Все эти словно мгновенные зарисовки одного и то же прекрасного лица бесконечно приближают весь образ Анны к нам, наполняя его подлинным теплом человеческого дыхания.

В тех сценах и картинах, где Толстой подробно останавливается на внешности Анны, это сделано с одной определенной целью — подчеркнуть ту или иную душевную черту ее.

В картине бала Толстой дает всем памятное описание костюма Анны: «Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своеобразные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчуга...» Кити «теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная».

Уже в самом изображении туалета Анны, в особенности в авторской психологической интерпретации его, подчеркнуты черты ее личности, индивидуальные особенности, присутствующие ей: в незаметности костюма на ней — богатство ее внутреннего существа, как и в простоте и естественности ее внешнего облика. В сцене бала наряду с Анной дана и Кити. С большой поэзией изображен и бальный туалет Кити, но во всех деталях его как бы подчеркнута «заметность» костюма на ней, и, таким образом, особенно выделяется превосходство Анны, ее внешности и внутреннего существа.

Вот почему в сцене бала Толстой останавливается на туалетах своих героинь, — они здесь важны как одна из ярких деталей психологического портрета каждой из них.

Таков облик Анны в начале романа; но вскоре мы видим ее во множестве сцен, где она в тревоге, в смятении, в борьбе с окружающими и с самой собой. Одна из таких сцен — задушевный разговор Анны с Долли в имении Вронского:

«Ты говоришь, выйти замуж за Алексея и что я не думаю об этом. Я не думаю об этом! — повторила она, и краска выступила на ее лице. Она встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула и стала ходить своею легкою походкой взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь. — Я не думаю? Нет дня и часа, когда я бы не думала и не упрекала себя за то, что думаю... потому что мысли об этом могут с ума свести. С ума свести, — повторила она».

Долли говорит о необходимости добиваться развода.

«...Мне унизиться писать ему... Ну, положим, я сделаю усилие, сделаю это. Или я получу оскорбительный ответ, или согласие... — Анна в это время была в дальнем конце комнаты и остановилась там, что-то делая с гардиной окна. — Я получу согласие, а сын... сын? Ведь они мне не отдадут его. Ведь он вырастет презирая меня, у отца, которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоих больше себя, два существа — Сережу и Алексея.

Она вышла на середину комнаты и остановилась пред Долли, сжимая руками грудь. В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и исподлобья смотрела сияющими мокрыми глазами на... всю дрожавшую от волнения Долли».

В этой сцене, как и в ряде других, каждое душевное движение Анны, трагизм чувств ее отражаются в частой смене выражения лица, фигуры.

Душевные движения героев Толстого мгновенно отражаются вовне — в жесте, выражении лица, в интонации голоса — во всех телодвижениях их. Именно поэтому персонажи произведений Толстого так полны жизни, человеческого тепла, так зрительно ощутимы. Эта «диалектика души» в ее внешнем, телесном проявлении — одно из самых могучих орудий в руках Толстого в деле создания характера.

Обычно, когда говорят о раскрытии душевной жизни героев Л. Н. Толстого, чаще всего имеют в виду «внутренние монологи» — размышления героя наедине с самим собой. Но у Толстого и в диалогах, то есть в эпизодах и сценах, где персонажи встречаются и сталкиваются друг с другом, наблюдается то же самое — та же борьба чувств, их изменчивость, множество оттенков в каждом из них.

Французский писатель Роже Мартен дю Гар говорит о Толстом: «Когда живешь в мире, им созданном, наблюдаешь, как он всматривается в самую глубину человеческого существа, и следуешь за ним в его упорных поисках сокровенного в каждом человеке, вечных поисках того незаметного жеста, который вдруг раскрывает всего человека, тогда и наше зрение становится зорче, обостряется наблюдательность».

Все то, что было завоевано художниками слова до Толстого, нашло свое продолжение в создании его, но это наследие было им колоссально обогащено глубинной разработкой принципа диалектики — изображения человеческого существа, его душевной жизни в противоречивости, в потоке, что сказалось во всех компонентах образа — портрете, бытовых сценах, пейзаже. Все это впоследствии сделалось достойным литературой всего мира.

ЭТО РУССКАЯ СТОРОНКА...

Дни стоят знойные, вечера прохладны, а на молодежь и ночью устали нет — сторожат село от пожара, песни поют. Первая запевала Любка Смолякова — высокая, гибкая, лоб в венчике черных завитков, а глаза синие, и в глазах тоска. Второй год тоскует она: Антон Пьянков и не заметил, как из голенастой девчонки Любаша выровнялась в ладную девушку. Уехал на курсы трактористов да городскую жену и привез.

Не сразу нашла свое счастье и Маринка Замятина (Любина землячка), скуластая девушка, в труде красивая, как птица в полете; и Никита Векшин, труженик, умелец, не вдрут сроднился со всем новым в жизни села, но выбрался все же своей тропочкой на общую ясную дорогу. Рядом с этими душевными людьми живет в книге рассказов уральской писательницы Ольги Марковой* и окостеневший в бездушии бухгалтер Златоустов, мутит людские судьбы Славка Слепынин — трутень в семье и колхозе. Что поделаешь! Не одних богатырей родит и наша земля.

Все мы привыкли слышать, чаще — читать примелькавшееся определение: наш простой человек, простая девушка...

А ведь люди наши много размышляют, работают напряженно и трепетно творят, хотят быть счастливыми и добиваются счастья. Ведь как ни трудно идем, как ни больно ушибаемся мы на никем еще не пройденных путях, а все-таки это он — наш советский человек — первым прокладывает дорогу в будущее. Второму всегда легче шагать. Так неужели же все это так «просто»?

Так ли проста Любка с ее большой, трудной любовью? Да нет, если б по простоте, ей бы обрадоваться, что семья у Антона не задалась, а Любка вспыхивает гневом, услышав шепоток: прибил Пьянков свою жену — лентяйку, никудышницу.

Ей бы обрадоваться, по простоте, что жена Антона не хочет жить в деревне, бежит, а Любка плачет от обиды, нанесенной не одному Антону, — колхозу, всему, что с детства кровно дорого.

«— Уезжай. Бросай нас! Купишь в городе булку хлеба — кушай на здоровье! — с поклоном говорила Любка. — Но с каждым куском пусть тебя думка тревожит: это мы для тебя кусок вырастили!»

...Словно встав после тяжелой болезни, плелась Любка обратно к селу.

Дорога еще курилась легким парком. Солнце отражалось в стеклах домов, слепило глаза, печной дым выдувался из труб и белыми трепещущими столбиками подпирал небо, брякали скобки ворот, то и дело отчаянно перекликались петухи — все было дорого сердцу Любки. Девушка еще раз обернулась вслед тележке, искренне жалея Клавдию: та пропустила мимо себя такую красоту и цель и такой мир».

Нет, совсем не прост, а многогранен, многодумен и чувствами глубокими богат мир, куда вводит нас Ольга Маркова в своей книге, посвященной жизни большого колхозного села.

Без личного счастья трудно жить человеку, а без любимого дела нельзя. И в этом, думается, смысл открывающего книгу рассказа о судьбе мельника Никиты Векшина. Потеряв любимую, оставшись бобылем, Векшин бывал все-таки по-своему счастлив мельницей, теплой мукой, движением колеса и жерновов, в котором билось для него сердце всей земли. А замолчала мельница — замолкло и сердце...

Велико горе очерстевшей матери Максимки, вдовы Ефросиньи, и потерявшей любимого мужа бездетной Катерины Измоденовой. И все-таки хорошо делает автор, не давая героям своим жить лишь отравным счастьем воспоминаний, не восхваляя псевдорадостей аскетизма.

Человек должен стремиться к счастью полному, должен всячески добиваться

* Ольга Маркова. Рассказы. «Советский писатель». 1957.

этого счастья. мудро и просто говорит умирающий Есееич своей знатной в работе, но еще бессемейной дочке: «...Заводи внука... Все испытай, не пустоцветом же жить... Пустоцветом жить будешь, так и работа тоску нагонит. Во всем повянешь! Котора курочка яичко несет, у той и гребешок-то красненький...»

Забота о счастье людском кровно близка и тебе Васе. У нее сына унесла война, но женщина не ожесточилась, не высохла. На всех живых хватает у нее умной заботы и ласки. К ней, только к ней прибегает мальчик в слезах, впервые столкнувшийся с недетским горем, с одиночеством. Приютив, убавокав ребенка, тетя Вася выговаривает не отцу — его нет, не матери — та сама, говорят, горем подковы у лошадей растопила, а приехавшему на стан председателю колхоза Илье Назарычу, человеку умному и сердечному, который и по должности и по совести за всех своих людей в ответе.

«— А дите виновато? Ему что? Раз такая кличка — кроши, ломай... в хулиганство ему теперь легко уйти, если вовремя не пригреем. Прибежал, дрожит, как листочек. Меня даже залихорадило. Думала, вздохом небо подожгу... И должен ты, Илья Назарыч, внимание ему оказать и людей к тому настроить. Поговори с людьми, Назарыч, слово-то всюду доступ имеет, где и ногам не пройти. Для нас незаконных нет! Кто это в колхозе кадит? Только встарь, бывало, сердце ребячье с малых лет жалили...»

Живые, очень человеческие люди населяют книгу. Особенно хороши у Марковой женщины. А как не похожи их характеры и судьбы: властная, умелая председательница Ульяна и Анфиса, которая еще терпит побои пьяного мужа; обаятельная в своей сдержанности Лена — несчастливая жена Славки Слепынина и зазнававшаяся красавица Настя.

Серьезно, уважительно и удивительно душевно описывает Маркова детей. Какие они все разные и какие настоящие, эти маленькие люди! Осиротевший в войну Максимка, который с ребячьими слезами и отцовской настойчивостью тянет к людям, к труду, к жизни отошедшую от колхоза мать; подросток Павлик, такой трогательный в своей полудетской безнадежной влюбленности в зоотехника Зою Степанову; маленький подпасок Санька с поляны «Солнышкова стойка» В напарники к пастуху Павлику он сам напросился, да — беда! — в лесу по маме заскучал.

«В золотом воздухе носился запах меда. Коровы равнодушно и тупо жевали, отдыхая после дойки. У самых ног мальчиков проворно пробежала мышь.

— Мышка, мышка, сбегай к маме... — шептал Санька, — поклончик ей передай».

Десятилетнего Саньку не нужда-горе выгнало в лес: ему хочется, чтоб и он при деле был, и в Панькиных диаграммах чтоб разбирался, и о нем бы сказали, отметили его. С любовью, с глубоким знанием пишет Маркова о крестьянском труде, будь то работа комбайнера, прополка посевов или ловля рыбы в колхозном пруду.

Повествование течет неторопливо и поэтично, как проселочная наша дорога с прозрачными березовыми рощами, стойкой прохладой елового бора, просторными полями, нехитрыми цветиками картошки и ромашки, нежно вянущими в свежей кошанине.

Живой, нередко афористичной, подлинно народной речью говорит тетя Вася и ее односельчане. Не хочется, право, называть их по-книжному — действующие лица, персонажи, — так живы они и весь их быт, знакомый, родной их автору.

На Солнышковой поляне дождь... «недолгий и теплый, пошел сразу, стекал с коров струйками, размывая на шерсти канавки».

На реке ребята видели, как «длинная прямая щука плыла в глубине, шевеля прозрачными плавниками; наталкиваясь на солнечные пятна на дне, как на камни, останавливалась и медленно поворачивала в сторону, в тень».

«Верхний сноп, тяжелый и трепетный, как ребенок», — всего этого не придумаешь, не видя, не заметишь, не любя.

Говорят, недостатки суть продолжение наших достоинств. Одаренность писательницы — языковая щедрость — толкает ее иногда к мотовству. В отдельности все сцены маленькой повести о Никите Векшине хороши, но слишком их много, и создается впечатление растянутости: столько раз чувствует себя Никита безнадежно одиноким, что в конце концов перестает ему сочувствовать.

Растянут и рассказ «Меж крутых бережков», а иные истории легковесны до крайности. «Встречу» и «На посту» вообще не хотелось бы видеть в книге.

Недостаточная жесткость отбора сказывается подчас и во фразе:

«Река выпирала, напрягалась, со стоном кидалась на берег, дыбилась дикой силой, крошила и била лед, рвалась, гремела».

Восемь глаголов на одну реку в одном предложении. Не много ли?

...Как поэтичны заглавия многих рассказов Ольги Марковой — «Половодье», «Солнышкова стойка», «Хмель», «Меж крутых бережков»!..

Хорошо бы одно из них вынести на обложку. Это позволило бы сразу открыть читателю дверь в жизнь людей, нарисованных писательницей, людей нелегкого, большого труда, людей интересных, сердечных, думающих — наших современников.

ПЕРВАЯ КНИГА

Со стихами Анатолия Левушкина мне довелось познакомиться года четыре тому назад в комиссии по работе с молодыми авторами. Среди обильного поэтического «самотека» вдруг обнаружись стихи, подкупающие своей искренностью, свежестью наиболее ярких образов и строк. Эту самостоятельность поэтического почерка тем отраднее отметить и после выхода в Москве первой книги молодого поэта*. Ведь Левушкин — рязанец, и стихи, включенные им в книгу, посвящены главным образом природе приокского края. После есенинской, хватающей за сердце «печали полей» писать — и где? — там же, на Рязанщине, о тех же белоствольных чащах и пойменных лугах и не поддаваться обаянию есенинской лиры, согласимся, молодому поэту довольно трудно. И все-таки такого прямого влияния в сборнике «Приокские рассветы» нет.

Далеко ушла вперед рязанская деревня с той пореволюционной поры, когда по ее пыльным дорогам шел со станции Дивово светловолосый юноша в костюме «нездешнего», городского покроя и жадно вдыхал запахи родных полей. Изменился ныне не только пейзаж Рязанщины — шагают с берегов Волги к Москве высоковольтные мачты, белеют здания новых поселков, на десятки километров тянутся пахотные поля, — изменились люди. Далеко за пределами области гремит слава рязанских животноводов.

Около полутора тысяч лучших колхозниц, колхозников, партийных и советских работников были награждены орденами и медалями Советского Союза в феврале месяце этого года. И среди награжденных был один поэт — литсотрудник газеты «Приокская правда» — Анатолий Левушкин. За активную общественную и журналистскую деятельность ему была вручена медаль «За трудовую доблесть». Для биографии начинающего литератора обстоятельство до-

вольно-таки знаменательное! Сборник «Приокские рассветы» составлен автором гораздо раньше. В него не вошли многие поздние стихотворения и стихотворные очерки Левушкина. Вместе с тем будем надеяться, что этот сборник будет и тем трамплином, который даст возможность молодому стихотворцу почувствовать счастье творческого взлета.

Активное участие в жизни своей области, новый, более учащенный трудовой ритм этой жизни, всюду наблюдаемые перемены: и в быту и в труде земляков-рязанцев — все это помогает молодому поэту преодолевать властную и терпкую силу есенинского лиризма и есенинской образности. А отсюда и умение сказать по-своему, найти свои образы для выражения любви к родному краю, родной земле. Хорошо, например, сказано о лесном родничке: «Родник, словно голубь весенний, в ладонях моих ворковал». Или другой пример:

Светлая березка у обочины,
Да проселок в отгисках подков,
Да вдали зарею оторочена
белая пушнина облаков.
А вокруг равнина неоглядная,
вспаханые вешние поля.

Описание сделано со вкусом, добротно, но пока что ничем особо поэтическим не отличается. И вдруг интонация стиха меняется, и поэт с законной гордостью заканчивает:

Это не курортная, нарядная —
Это, брат, рабочая земля.

Жаль, что последняя строфа не развивает эту прекрасную мысль о «рабочей земле»; мысль как-то сходит на нет.

Чувство природы органически присуще человеку. И хотя одни воспринимают природу ярче, богаче, красочнее, другие — суше, равнодушнее, спокойнее, в целом современному человеку, в том числе и горожанину, красота родной земли, вид ее просторов и богатств говорит несколько не меньше, чем нашим предшественникам. Конечно, наши восприятия природы изменились, измени-

* Анатолий Левушкин. Приокские рассветы. «Советский писатель». 1956.

СВОЯ ТЕМА

Когда начинающий писатель идет в литературу от жизни, он непременно приносит с собой и свою тему. Голос его в первой книге может быть еще не вполне окрепшим, но многое в его повествовании предстает как лично пережитое, перечувствованное, а следовательно, как художественное открытие. И этим приобщением читателя к новому в жизни ценна прежде всего и больше всего такая книга.

Именно эти мысли возникли у меня при чтении романа молодого прозаика офицера Советской Армии Геннадия Семенихина «Летчики».

Первую книгу этого романа — «Испытание» — Г. Семенихин выпустил в 1954 году в Воениздате, вторую — «Линия жизни» — два с лишним года спустя в «Молодой гвардии». И хотя обе книги отныне существуют нераздельно, мне представляется целесообразным поговорить о каждой в отдельности.

«Испытание»... Где-то далеко на юге страны, вблизи государственной границы, находится небольшой авиационный гарнизон, городок Энск. Сюда на должность командира эскадрильи из академии приезжает майор Сергей Мочалов. В гарнизоне он встречает старого фронтового товарища — капитана Кузьму Ефимкова. Они большие друзья, и дружба их скреплена кровью: не раз выручали они один другого в минуты, когда смерть казалась неотвратимой. И вот возник вопрос: как же теперь, не в бою, а в мирную пору, суждено развиваться их отношениям, особенно когда один из офицеров непосредственный начальник другого? Выдержит ли старая дружба новое, не менее сложное испытание — испытание учебными буднями? И потом: какой должна быть дружба не на войне?

Писать о людях военных вне войны трудно. Трудно хотя бы потому, что мирные будни воинов по сравнению с их боевой страдой, естественно, менее богаты драматическими событиями, в которых душа человеческая раскрывается и ярче и полнее. Но человек все-

де остается человеком, а творчество — творчеством. Для писателя важно увидеть, понять мятежный, беспокойный ум, сердце человека... И тут у Г. Семенихина есть удача. В труде, в боевой учебе своих героев он находит увлекательное, романтическое.

По опыту многих писателей, пишущих об армии в мирное время, я знаю, как нелегко бывает создать конфликт, способный стать основой движения характеров действующих лиц. Мне доводилось читать рукописи, так и не дошедшие до печати лишь потому, что столкновение героев в них строилось на таких мелочах, как непришитая пуговица на шинели солдата, слабо поданная команда офицера и т. п. Конечно, и подобные мелочи в жизни военнослужащих играют не последнюю роль, но основу противоречия художественного произведения они все же составить не могут. Нужно привести в действие более глубокие, «человековедческие» пружины.

В выборе конфликта Г. Семенихин проявляет известную смелость. Не отступая от правды жизни, он сталкивает два мнения, два отношения к воинской службе — Ефимкова и Сергея Мочалова. Кузьма Ефимков на фронте стал Героем Советского Союза. Но на «мирном положении» к нему постепенно пришло убеждение, что, пройдя огни и воды, выдержав самую жестокую проверку на войне, он в своем деле уже постиг все. Уверенность эта крепнет еще и потому, что рядом с Ефимковым проходят службу преимущественно молодые авиаторы, которые с искренним восхищением глядят на бывшего летчика, как на «бога воздуха». В отличие от Ефимкова Мочалов хорошо чувствует тенденцию непрерывного развития и совершенствования военной техники и военного дела. Окончив академию, он и сам стремится идти в ногу со временем и требует этого от своих подчиненных, в том числе и от Ефимкова. Такова основа конфликта, богатая по своим внешним и внутренним возможностям.

Однако конфликт этот Г. Семенихин использовал далеко не полностью. Он словно бы пощадил Кузьму Ефимкова. Лишь один раз, на разборе учебного полета, в котором Ефимков допустил ошибку из-за незнания прибора, помогающего вести самолет в облаках без наземных ориентиров, Мочалов резко критикует своего фронтового друга. После этого Ефимков сравнительно быстро исправляется. Это уже облегченный выход из трудного положения, от такого решения до схематизма один шаг. Конечно, нельзя посягать на право писателя поступать с персонажами так, как он считает необходимым. Но в пределах авторского замысла существуют объективные законы, без соблюдения которых характер героя лишается объемности, многогранности, достоверности, что идет во вред художественности. Все, что произошло с Ефимковым, следовало сделать тоньше, филиграннее и не так вдруг.

По личному опыту я достаточно хорошо знаю военных людей той поры, к которой относится действие романа. В моем представлении капитан Ефимков, дорогой ценой познавший значение боевого мастерства, не может так легко, из одной «блажи» не идти в ногу с развитием техники. Без объяснения причины зазнайства Ефимкова образ его неполон.

Впрочем, художественной обоснованности недостает не только в действиях Ефимкова, а и некоторых других персонажей. Чрезвычайно упрощен, например, мотив перевоплощения Валерии Цыганковой: рвалась из Энска в Москву, почти презирала его людей и вдруг — горячая патриотка этого далекого гарнизона. Конечно, читатель не может удовлетвориться подобным облегченным показом жизни.

Но содержание первой книги романа далеко не исчерпывается лишь конфликтом между Ефимковым и Мочаловым. Книга охватывает более широкий и разносторонний жизненный материал. В один из дней самолет иностранной державы нарушил нашу государственную границу. На перехват его вылетели Мочалов и молодой пилот Борис Спицын. Они сбили нарушителя, не захотевшего выполнять приказание советских истребителей, но и сами были вынуждены пойти на посадку в горах, без горячего, без продовольствия, без радиосвязи (рация вышла из строя в момент тяжелой посадки). Поиск пропавших, в котором с большой силой выявились положительные стороны характера Ефимкова — его гуманизм, чувство воинского братства, — написан остро, динамично и относится к лучшим страницам романа. Автор держит читателя в постоянном напряжении, заставляет его неослабно следить за каждым шагом двух людей в горах, на неприступном пятачке.

Здесь нельзя не сказать об умении Г. Семенихина писать ярко о самом

главном в работе летчиков — о полетах. Это, бесспорно, одна из наиболее сильных сторон авторского дарования. В небо, вслед за героем, в полном смысле слова «в полет» зовут многие картины романа.

«Чудесное, непередаваемое чувство охватывает пилота, когда его машина, оторвавшись от земли, с ревом устремляется в голубое небо. Сколько радости испытывает человек за штурвалом! Вот он потянул ручку управления на себя, и зазвенел истребитель, как туго натянутая струна. Острые ребра серебристых крыльев разрезали поплывшее на пути облачко. И уж ничего нет вокруг: ни красных кирпичных домиков авиационного городка, ни сереющих на снежном покрове деревень, ни темных лесных массивов у подножья гор».

В другом месте:

«Ровно и ободряюще гудит мотор. Но вот резкое движение ручки управления, и остроносый истребитель послушно срывается в крутое пики. Летчик ощущает, как неведомая сила прижимает его к спинке сиденья. Нарисовав в небе невидимую дугу, он выводит истребитель из пикирования в линию горизонтального полета, и взору предстает заснеженная земля. Она будет мчаться навстречу снижающемуся самолету, смутная и неясная в своих очертаниях. Разве можно рассказать о том, как свистит за фонарем кабины ветер и мимо белыми хлопьями проносятся обрывки облаков. Нет, не может летчик говорить о высоте равнодушно, ему хочется петь это слово!»

Г. Семенихин пишет не просто о самолете, о технике пилотирования, он как бы очеловечивает их. Техника и человек в подобных эпизодах и сценах сливаются воедино, но на первом месте человек. И это хорошо. И это правильно.

Не только на службе, в полете показывает молодой автор своих героев. Многие страницы первой книги посвящены изображению жизни героев дома, в быту.

Но тут у Г. Семенихина меньше удач. О личной жизни героев, об их интимных чувствах он пишет тускло. Можно еще, например, мириться с обыденностью отношений Кузьмы Ефимкова и его жены Галины Сергеевны: оба они уравновешенные люди, да и острота чувств их несколько притупилась за годы супружества. Но уж никак нельзя признать нормальным сдержанность и скованность в чувствах молодых людей Бориса Спицына и Наташи Большаковой. Г. Семенихин может возразить, что по замыслу романа Борис не Ромео, а Наташа не Джульетта. Но именно замысел я и имею в виду. Что мешало писателю построить замысел так, чтобы любовь его героев была, говоря словами Маяковского, «пограндизнее онегинской любви»? По-видимому, мешала недооценка силы чувства в жизни людей и отсюда недостаточное понимание этой области человече-

ских отношений. И, конечно же, недостаток мастерства, умения проникнуть в самую сокровенную область человеческих чувств.

А владеть диалектикой человеческой души, диалектикой его чувств писателю совершенно необходимо, и особенно писателю, создающему роман, который предполагает разносторонний, глубокий показ характера героя. Это та большая художественная высота, которую Г. Семенихину, как, впрочем, и многим молодым писателям, предстоит взять в будущем.

За «Испытанием», как было отмечено, появилась «Линия жизни», составившая вторую часть романа. В ней Г. Семенихин продолжил рассказ о судьбах своих героев. Перед читателем вновь предстали Мочалов, Ефимков, Спицын и другие персонажи «Испытания». Прошло три года, но многое изменилось в их судьбах. Читая вторую книгу, нельзя не заметить, что почерк автора стал увереннее, язык более экономным и точным. Многие страницы второй книги по-настоящему волнуют.

За несколько лет, отделяющих жизнь героев романа от одной книги до другой, гигантский успех сделала советская авиация: на аэродроме Энска мы встречаем уже реактивные самолеты. Эпизоды отражения «вражеских» бомбардировщиков нашими реактивными истребителями, испытания новых машин на большой высоте, выполняемые Мочаловым и Ефимковым, производят большое впечатление; хороша и содержательна сцена разговора генерала Осипова с зазнавшимся полковником Шиханским; тоньше, чем в первой книге, вскрыты движения души жены Мочалова Нины... Однако, как мне кажется, по сравнению с первой книгой «Линия жизни» в сюжетном отношении менее динамична.

В самом деле, автор строил повествование на столкновении характеров Мочалова и Кузьмы Ефимкова. Но уже в первой книге определилась и утвердилась полная победа передового начала не только в тенденции, но и в конкретном проявлении: Ефимков понял свое заблуждение и делами исправил его. Завершенность же характеров действующих лиц по сути дела и есть завершенность сюжета. Во второй книге

не только пути Мочалова и Ефимкова, но и других героев, переселившихся в нее из первой, идут не по спирали, а по кругу. По-прежнему часто появляется, например, на страницах «Линии жизни» Ефимков, но никаких существенных изменений в его духовном облике не происходит.

По мысли автора, движение образу главного героя, как и дальнейшее движение всему повествованию, должны были придать две новые трудности, возникшие на пути Мочалова,— столкновение с полковником Шиханским и поведение Нины. Полковник Шиханский — непосредственный начальник Мочалова — во время войны был боевым и заслуженным командиром. После войны он окончил две академии, но вдруг начал «стареть», превращаться в обывателя. Безусловно, конфликтная линия Мочалов — Шиханский могла бы сыграть существенную роль в дальнейшем развитии характера Мочалова. Но беда в том, что столкновения между этими героями, способного организовать важнейшие события с участием других персонажей, не произошло. В сюжете романа образ Шиханского оказался обособленным. Конфликт же между Ниной и Мочаловым получился мелким и неправоммерно затянутым. Он выглядит скорее не конфликтом, а житейским недоразумением, обретшим, как это и бывает в таких случаях, счастливый конец.

Вместе с тем следует отметить, что сильную сторону второй книги составляет рассказ о героическом будничном труде летчиков реактивной авиации, о творческом горении советских офицеров, овладевающих высотами боевого мастерства.

Роман «Летчики» — первое крупное произведение молодого прозаика. Не всегда с одинаковым мастерством, но всегда правдиво и страстно повествует писатель о судьбах своих героев — военных летчиков. И не случайно поэтому книга была тепло встречена читателями. Десятки читательских конференций прошли по роману «Летчики», и на каждой вокруг книги разгорались горячие споры. А это значит, что, решая трудную, ответственную тему, автор добился определенных успехов, что книга нашла дорогу к сердцу читателя.

Содержание журнала «Октябрь» за 1957 год

	№	Стр.		№	Стр.
Н. ХРУЩЕВ. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа	IX	3	ШУЛЬГИН В. Незабываемые встречи	XI	77
ПАРТИЯ И НАРОД ЕДИНЫ. Советские писатели одобряют решения июньского Пленума ЦК КПСС. М. ИБРАГИМОВ. По ленинскому пути. А. ПЕРВЕНЦЕВ. Всенародное одобрение. С. МУКАНОВ. Незыблемая прочность	VIII	3	ПЬЕСЫ		
ШЕЙНИН Л. Сорок лет	XI	3	СОФРОНОВ А. Человек в отставке. Драма в четырех действиях .	XI	102
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ			ПОЭМЫ и СТИХИ		
АСАНОВ Н. Угол чужой стены. Рассказ	VI	3	АГЕЕВ Н. Вороний брод. Таежная станция. Стихи .	IX	142
ГОНЧАР О. Перекоп. Роман. Перевод с украинского И. Карабутенко и А. Островского	IX	22	АГЕЕВ Н. Огни над Чусовой. Поэма	XI	59
ЗАМОЙСКИЙ П. Восход. Повесть	I	3	АСТАФЬЕВА Н. Четыре стихотворения	I	115
ИСБАХ А. Путешествие в юность. Рассказ	XII	139	БОКОВ В. Застольное слово. Олень. Песенник. Стихи	I	93
КАЗАКОВ Ю. Голубое и зеленое. Рассказ	VI	88	БОКОВ В. Два стихотворения . . .	VI	28
КИРИЛЛОВ Г. На Ильмень-озере. Повесть	XII	70	БРИТАНИШСКИЙ В. Строка. Стихи	VII	155
ЛЕБЕРЕХТ Г. Под одной крышей. Повесть	VII	3	ВАСИЛЬЕВ С. Из осенней тетради. Стихи	XII	132
МОЖАЕВ Б. Власть тайги. Рассказ	VIII	110	ВИНОКУРОВ Е. Огонь. Широко глаза расставлены. Стихи	VI	85
НИКОЛАЕВА Г. Битва в пути. Роман	III	3	ВИНОКУРОВ Е. Море. Нары. Сколько раз от неловкого слова. Стихи	X	153
	IV	3	ГОГОЛЕВ И. Матери. Легенда о песне. Стихи. Перевод с якутского И Варавы	XII	136
	V	13	ГОНЧАРОВ В. Птичий перелет. Стихи	I	117
	VI	34	ДЕХОТИ А. Вечно живой. Стихи. Перевод с таджикского В. Бугаевского	IV	126
	VII	63	ЕВТУШЕНКО Е. Два стихотворения	V	120
ПАНФЕРОВ Ф. Сказание о Поволжье	XI	21	ЖУРАВЛЕВ В. Беспокорство. Поэма	X	3
ПАНОЮШКИН В. Вышли мы все из народа	XII	11	ИСХАК А. Люблю я тот миг... Стихи. Перевод с татарского М. Львова	V	116
САРТАКОВ С. Горный ветер. Повесть	II	3	КОРЕНЕВ А. Земля и звезды. Стихи	VIII	89
СОЛОВЬЕВ Л. Одна любовь. Рассказ	VIII	93	КОРНЕЕВ Н. Недосол. Ты все роднее. Ворон. Стихи	VI	30
ТИХОНОВ Н. Возвращение. Рассказ.	I	95	КОРНИЛОВ В. Начало Стихи	II	109
ФАИЗУЛИН К. Сверстники. Рассказ	XI	152	КОРНИЛОВ В. Отрада. Стихи	VII	59
			КОРОЛЕВА Н. Слова. Стихи	VI	87
			КУСТОВ П. В далеком заповеднике. Стихи	II	108

ЛЕОНИДЗЕ Г. Страна солнца. Поэма. Перевод с грузинского М. Светлова	XI 143
ЛУГОВСКОЙ В. Пир. Из книги «Синяя весна». Стихи	III 70
ЛУГОВСКОЙ В. Тревога. Стихи	V 118
МАКАРОВ Д. Белошейка. Стихи	XII 135
МАМАКАЕВ М. Дружба. Ласточка. Стихи. Перевод с чеченского Н. Асанова	VIII 108
МАРТЫНОВ Л. Бауманский район. Хор Рыбинское море. Стихи	IV 127
МАРТЫНОВ Л. Свобода. Стихи	IX 138
МОЧАЛОВ Л. Старинный вальс. Стихи	III 130
НАЗАРОВ Х. Свободное перо. Стихи. Перевод с таджикского В. Бугаевского	IV 124
НЕЙМАН Ю. Беспечными, суровыми... Стихи	III 131
НЕКРАСОВА К. Люба. Стихи	I 118
ОРЕШИН П. Смерть Чапаева. (Из поэмы)	VII 151
ПРОКОФЬЕВ А. Слышу песню о братстве... Первопутек. Дорожная. Сорок второй... Где казачья лава... Яблоня. Стихи	II 48
ПРОКОФЬЕВ А. Соловьи в садах отголосили... Мой лазоревый цветок... Когда бушевала... Стихи	IX 136
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И. Вечно живое сердце. Стихи	XI 10
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Р. Товарищу. Стихи	X 155
РУМАРЧУК Л. Руки. Стихи	VI 32
РЯДЧЕНКО И. Когда ты лгал... Стихи	VII 62
РЯДЧЕНКО И. Большое ленинское дело. Сын. Вокзал. Мудрость. Стихи	XII 66
САННИКОВ Г. В пустыне законы жестоки... Стихи	III 129
СУРКОВ А. Шотландские мотивы. Стихи	IV 121
УРИН В. Баллада о железных сердцах. Стихи	XI 150
ФЕДОРОВ В. Бессмертие. Поэма	V 3
ФЕДОРОВ В. Дуся Ковальчук. Поэма	XII 3
ХАКИМ С. Фархинур. Стихи. Перевод с татарского М. Львова	V 117
ХАН ЮН ХО. Юг. Стихи. Перевод с корейского А. Леднева	VIII 91
ЧИКИН Л. Уезжала в село коммуниста семья. Стихи	II 110
ЩИПАЧЕВ С. Жена. Стихи	II 47
ЩИПАЧЕВ С. Стихи разных лет	III 67
ЩИПАЧЕВ С. Два стихотворения	IV 123
ЩИПАЧЕВ С. Стихи о сыне	IX 140
ЮСУФИ Х. Пейзаж южной осени. Стихи. Перевод с таджикского А. Ойслендера	IV 125

ПУБЛИЦИСТИКА

КРЕСТЬЯНИНОВ В. Требования жизни	V 122
ЛАПИН К. Разговор о любви и семье	II 111
ЛОВЕЙКО И. Облик новой Москвы	VI 104

ОЗЕРСКИЙ А. Кемеровский совнархоз действует	IX 144
ПИСАРЖЕВСКИЙ О. Слезы дерева	X 156
РОЖИН В. Важное звено	VIII 130
СЕДИН П. Развешенные иллюзии	III 132
СУСЛОВ В. На крутом подъеме	I 119

СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ

АНДРИАНОВ И. Красное знамя над Москвой	IX 151
ПОДВОЙСКИЙ Н. Ленин в 1917 году	IV 129 V 129
ПРОНИН А. Бурные годы. Литературная запись П Капицы	VIII 144
СУЛИМОВА М. Начало грозы	II 188

ОЧЕРКИ

АРТИЩЕВ В. Моральный износ	V 169
АРТИЩЕВ В. Лава	X 171
БЫЛИНОВ А. Заминка	I 178
ЗЕЛЕНСКАЯ Л., ЧЕЛЮБЕЕВ П. В добрый путь	VI 113
НОВОСЕЛОВ Вл. Край печорский, приполярный	XII 163
САГАЛОВИЧ М. Строгая душа	III 172
СУРОВ А. На поднятой целине	XII 152
ЧЕРКАСОВА М. Половодье	VII 156

НАУКА

ВОВСИ М. Болезни сердца	I 189
РАДУНСКАЯ И. Человек и машина	VI 154
ЧУМАКОВ М. Полиомиелит	IV 191

НОВОЕ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

АРЦИМОВИЧ Л., академик. Пути управления термоядерными реакциями	VII 167
БУРОВ А. Алмазы Якутии	VII 167
ГОЛЬДИН М. Второе рождение вирусных частиц	VII 167
КЕДРОВ Ф. Фотонная ракета	VII 167
НОВОСЕЛОВА А. Редкие элементы	IX 177
ПОБЕДОНОСЦЕВ Ю. Разведка космических пространств	IX 177
РАДУНСКАЯ И. Всевидящее око	IX 177
ФАЙНБОЙМ И. Античастицы и антимир	IX 177

ЗА РУБЕЖОМ

МАЕВСКИЙ В. На Японских островах	VI 123
ПОЛЕВОЙ Б. 30 000 ли по Китаю	I 128 II 123 III 142 IV 145

ДНЕВНИК ЖУРНАЛИСТА

ИРОШНИКОВА И. На заводе в Энске	IX 161
НИКИТИН П. Норвежские впечатления	VII 179
ПАНОВ В. В степях Заиртышья	X 191

ПЕРЕЖИТОЕ

ТРИНДА А. Мужество. Литературная запись Д. Лучанинова . . . VIII 157

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Письма А. А. Фадеева . . . VI 165
ИЛЬФ И. Из записных книжек . III 194
ВОЛКОВ А. Школа эпического мастерства . . . VII 189

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ЗЕЛИНСКИЙ К. Павел Васильев . IV 198
ИСБАХ А. Дмитрий Фурманов . V 193
ЧАРНЫЙ М. Артем Веселый . IX 188

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

АНДРЕЕВ В. Заря Октября . X 187
ЛИНДСЕЙ Д. У истоков творчества . . . II 200

ИСКУССТВО

ЗАПОРОЖСКИЙ Ф. В театре Кабуки . . . VIII 180

ЗА ТЕСНУЮ, НЕРАЗРЫВНУЮ СВЯЗЬ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
С ЖИЗНЬЮ НАРОДА

АЛЕКСЕЕВ М. Рожденная бурей . XI 165
ЖУРАВЛЕВ В. Сороковые именины . XI 172
КУНГУРОВ Г. Необозримые горизонты . XI 200
ЛИСОВСКИЙ К. Молодость великой реки . XI 192
НИКОЛАЕВА Г. Живые голоса . XI 182
САЯНОВ В. Путь в будущее . XI 169

Трибуна жизни

БУЯНОВ И. Работать дружно, сообща . XII 187
ВИННИЧЕНКО И. Время не ждет . XI 205
ГВОЗДКОВ П. Волнующие вопросы . XII 184
ЗАТРУДИН В. Настойчиво искать . XII 178
ОРЛОВСКИЙ К. Два неперемненных условия . XII 175
ПРОЗОРОВ П. Над этим следует подумать . XII 181

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

АБАЛКИН Н. Содержание темы . VIII 188
АГАБАБЯН С. Поэзия, рожденная революцией . X 202
БАСКАКОВ Вл. О смелости подлинной и мнимой . I 196
БАСКАКОВ Вл. Картины истории . V 211
БАСКАКОВ Вл. Лицом к лицу . X 219
БОГУСЛАВСКАЯ З. Нас водила молодость . III 212
БОЧАРОВ А. Люди сложной судьбы . II 214
БЯЛИК Б. «К жизни, к жизни...» . XII 191
ВЕНГРОВ Н. Образ поэта . VI 221
ВИНОГРАДОВА К., ПОПОВ П. Новый труд об А. П. Чехове . I 222

ВОРОНОВ В. Душа народа . VII 212
ГРОМОВ Н. Продолжая разговор . IV 215
ГРОМОВА А. Хозяева жизни . IX 214
ГУСЕВ Н. Драматургия Л. Толстого . VII 220
ГУСЕВА З. Становление характера . VI 211
ДЕМЕНТЬЕВ В. Живая страсть поэта . III 205
ДЕМЕНТЬЕВ В. Поступь времени . IX 203
ДЕМЕНТЬЕВ В. Первая книга . XII 212
ДУБИНСКАЯ А. Во имя человечности . II 220
ДЮСЕНБАЕВ И., ЛИЗУНОВА Е. Писатель и народ . IX 210
ЖАРОВ А. Голоса неповторимых лет . X 222
ЖЕГАЛОВ Н. Две книги о Фадееве . III 220
ЗАЛЕССКИЙ В. Время жить, время бороться . VI 203
ЗУБКОВ Юр. Идеи и образы . I 205
ЗУБКОВ Юр. Чувство современности . V 202
ИВАНОВ С. Пафос труда . X 216
ИГНАТЬЕВА Н. Юность комсомольская . V 215
КАРДИН В. В поисках пути . V 221
КАРПОВА В. Призвание писателя . VIII 213
КОЗЛОВ И. Скупая полнота . VII 195
КОЗЛОВ И. Своя тема . XII 214
КОЗЛОВА И. Позиция автора . IX 217
КОНДРАТОВИЧ А. Судьба человека . VIII 197
КРАВЧЕНКО К. Биографическая повесть . III 218
ЛАЗАРЕВ Л. Вторая книга . I 216
ЛЕБЕДЕВ А. Мастерство Чернышевского — критика . IX 220
ЛЕВАКОВСКАЯ Е. Это русская сторона . XII 210
ЛЕВИН Гр. Своеобразие поэта . IV 221
ЛЕВИН Гр. Образ Родины . VIII 209
ЛЬВОВ С. Римские рассказы . VIII 220
МАШИНСКИЙ С. Роман о великом kobzare . II 217
МИЛЬКОВ В. Раздумья поэта . VII 209
МИХАЙЛОВ В. Правдивая повесть . VI 218
МЛЕЧИН В. Два мира Шуры Соколова . VIII 200
МЛЫНЕК А. Солдаты идут домой . VI 214
МЫШКОВСКАЯ Л. О художественном мастерстве Л. Н. Толстого . XII 199
НЕЧАЕВА Т. О голубых занавесках и загадочных гномиках . V 218
НИКОЛАЕВ Д. Последняя командировка . VIII 217
ОГНЕВ В. День нашей поэзии . II 206
ПУХОВ Ю. Наследники боевой славы . VII 215
СМЕЛЯКОВ Я. Возвращение в строй . III 216
СОКОЛОВ В. Точная позиция . IV 218
СУРОВЦЕВ Ю. Поиски красоты . I 219
СУРОВЦЕВ Ю. Откуда берется схема . VI 197
ТОЛЧЕНОВА Н. Испытание героя . IV 209
ТОЛЧЕНОВА Н. Уроки народной жизни . X 209
ТУРБИН В. Поступь истории . VII 203
ТУРКОВ А. Бунтующая гитара . VII 218

Дорогие читатели!

КОЛЛЕКТИВ ПИСАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ» РАБОТАЕТ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ, ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ БУДЕТ НАПЕЧАТАНА В 1958 ГОДУ

- М. АЛЕКССЕВ. Хлебобобы. Роман
А. АНДРЕЕВ. Очень хочется жить. Повесть
С. БАБАЕВСКИЙ. По путям-дорогам. Книга новелл
С. БОЛДЫРЕВ. Жди завтрашнего. Роман
М. БУБЕННОВ. Орлиная степь. Роман
Ф. ГЛАДКОВ. Мятажная юность. Повесть
И. ГОРЕЛИК. Сергей Шелавин. Повесть
Н. ГРИБАЧЕВ. Рассказы
И. ЕГОРОВ. Новая деревня. Роман
Н. ЕМЕЛЬЯНОВА. Родной дом. Повесть
В. ЗАКРУТКИН. Сотворение мира. Роман. Книга 2-я
В. ИЛЬЕНКОВ. Роман
А. КАЛИНИН. Они не умирают. Роман
В. КАТАЕВ. Повесть
Г. КИРИЛЛОВ. Порядочный человек. Повесть
А. КОЖЕВНИКОВ. На целине. Роман
Е. КОЛЕСНИКОВ. Старый завод. Роман
Г. КОНОВАЛОВ. Битва. Роман
А. КОПТЯЕВА. Дерзание. Роман
В. КОЧЕТОВ. Очерки наших дней.
Н. КОЧИН. Степь. Роман
Б. ЛАВРЕНЕВ. Жизнь моего современника. Повесть
Ю. ЛАПТЕВ. Рассказы
И. ЛЕВЧЕНКО. Человек рожден для жизни. Повесть
Е. МАЛЬЦЕВ. Спроси себя. Роман
Г. МАРКОВ. Весна. Повесть
Л. МИТРОФАНОВ. Рожденные временем. Пьеса
С. МИХАЛКОВ. Чужой памятник. Комедия
А. МУСАТОВ. Клава Назарова. Повесть
Г. НИКОЛАЕВА. Директор завода. Роман
В. ОЧЕРЕТИН. Наперекор. Роман
И. ПАДЕРИН. Крутое время. Роман
В. ПАНОВА. Сентиментальный роман. Роман
К. ПАУСТОВСКИЙ. Золотая роза. Книга 2-я
А. ПЕРВЕНЦЕВ. Матросы. Роман. Книга 2-я
Н. ПОГОДИН. Новая пьеса
Б. ПОЛЕВОЙ. Рассказы

Е. ПОПОВКИН. Таврия. Роман
 А. ПРИШВИН. Камчатская земля. Повесть
 Б. РОМАШОВ. Театральные очерки
 В. РУБЛЕВ. Семья. Роман
 А. РЫБАКОВ. Год тридцать пятый. Роман
 М. САГАЛОВИЧ. Полшага в сторону. Пьеса
 П. САЖИН. Трамонтана. Повесть
 А. САЛЫНСКИЙ. Хлеб и розы. Пьеса
 С. САРТАКОВ. Любовь. Роман
 Т. СЕМУШКИН. Пробуждение океана. Роман
 С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. Рассказы
 К. СИМОНОВ. Японские рассказы
 Л. СОБОЛЕВ. Рассказы
 Л. СОЛОВЬЕВ. О любви. Повесть
 А. СУРОВ. Близкий друг. Пьеса
 Ф. ТАУРИН. Далеко в стране Иркутской. Роман
 В. ТЕВЕКЕЛЯН. Текстильщицы. Роман
 В. ФЕДОРОВ. Добровольцы. Повесть
 А. ЧАКОВСКИЙ. Современники. Повесть
 Л. ШЕЙНИН. Сын посла. Повесть
 Ю. ШЕСТАКОВА. Приамурские сопки. Повесть
 М. ШОЛОХОВ. Поднятая целина. Роман. Книга 2-я
 Н. ШУНДИК. Быстроногий олень. Повесть. Книга 2-я
 В. ЮХНИН. Огни тундры. Роман

НАД ПОВЕСТЯМИ И РАССКАЗАМИ РАБОТАЮТ:

Г. Алехин, С. Антонов, Г. Бакланов, В. Баныкин, Б. Бедный, Ю. Бондарев, Г. Боровиков, О. Бубнова, А. Володин, Н. Воронов, М. Ганина, И. Денисов, Р. Достян, Н. Доценко, А. Елагина, Б. Емельянов, Б. Жилин, И. Забелин, Б. Зубавин, Ю. Казаков, Г. Калиновский, Г. Ковалевич, В. Копосов, Г. Красильников, А. Кременской, И. Крупник, И. Лавров, Е. Люфанов, С. Мелешин, Б. Можаяев, М. Назаренко, С. Никитин, В. Пальман, Ф. Певнев, В. Пушкин, Г. Радов, В. Ревунов, Н. Тарасенкова, Г. Федоров, А. Ференчук, Д. Холендро, В. Чукреев, С. Шуртаков.

НАД ПОЭМАМИ И СТИХАМИ ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА РАБОТАЮТ ПОЭТЫ:

И. Абашидзе, М. Агашина, М. Алигер, П. Антокольский, Э. Асадов, Н. Асеев, А. Барто, И. Бауков, Ф. Белкин, Д. Блынский, В. Богатырев, В. Боков, С. Васильев, К. Ваншенкин, С. Викулов, Е. Винокуров, М. Голденко, В. Гордейчев, Ю. Гордиенко, Д. Гулиа, Г. Гулям, Е. Долматовский, Н. Доризо, Ю. Друнина, М. Дудин, Е. Евтушенко, Е. Елисеев, А. Жаров, В. Журавлев, В. Захарченко, Е. Исаев, М. Исаковский, В. Казин, И. Кобзев, А. Коваленков, Н. Кончаловская, В. Котов, В. Кочетков, С. Кирсанов, Н. Краснов, Н. Криванчиков, А. Кулешов, Ан. Левушкин, Г. Леонидзе, Б. Лихарев, М. Луконин, А. Люкин, М. Львов, М. Максимов, А. Малышко, А. Марков, Л. Мартынов, С. Маршак, Н. Мизин, С. Михалков, С. Наров-

чатов, А. Николаев, А. Оленич-Гнененко, С. Орлов, С. Островой, Л. Ошанин, П. Панченко, А. Прокофьев, А. Решетов, И. Рождественский, М. Рыльский, И. Рядченко, В. Саянов, М. Светлов, И. Сельвинский, В. Семакин, П. Семьнин, Н. Сидоренко, К. Симонов, А. Смеляков, А. Смердов, С. Смирнов, В. Солоухин, В. Сосюра, А. Софронов, Н. Старшинов, А. Сурков, Ф. Сухов, М. Танк, И. Тарба, Л. Татьянаичева, А. Твардовский, Н. Тихонов, Н. Тряпкин, М. Турсун-Заде, В. Тушнова, П. Тычина, Н. Ушаков, Вас. Федоров, А. Фокин, Л. Хаустов, Я. Хелемский, А. Чистяков, С. Швецов, Е. Шевелева, М. Шестериков, С. Щипачев, А. Яшин.

В ОТДЕЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ И ОЧЕРКА НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ВЫСТУПАЮТ:

Б. Агапов, А. Аграновский, Г. Айдинов, В. Артищев, академик И. Бардин, М. Бейлис, И. Болгарин, В. Величко, Е. Виллахов, И. Винниченко, А. Волошин, Б. Галин, И. Гриценко, Г. Давидюк, А. Дремов, А. Дурасов, И. Ермашов, И. Ирошникова, М. Ковалева, С. Колеснев, С. Кожевников, член-корр. АН СССР Ф. Константинов, А. Логинов, В. Маевский, А. Медников, И. Меркулов, академик М. Митин, А. Млынек, П. Наумов, П. Никитин, Б. Орловский, В. Осипов, В. Панов, П. Пастухов, О. Писаржевский, В. Полторацкий, М. Процко, А. Помогаев, И. Радунская, Б. Речин, М. Рогинский, И. Рябов, В. Сафонов, Л. Седин, В. Синицын, А. Славутский, Н. Столяров, В. Титов, академик А. Топчиев, М. Урес, член-корр. АН СССР П. Федосеев, Ю. Францев, И. Хмель, академик Н. Цицин, А. Чекин, академик П. Юдин, В. Якубовский, Л. Якушенко.

В ОТДЕЛЕ КРИТИКИ СО СТАТЬЯМИ И РЕЦЕНЗИЯМИ ВЫСТУПАЮТ КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ:

А. Абалкин, А. Абрамов, Ю. Акимов, Вл. Баскаков, Л. Бать, Ю. Белаш, З. Богуславская, В. Борщуков, Б. Брайнина, А. Бугаенко, Б. Бялик, И. Вайсфельд, О. Войтинская, А. Волков, Ф. Головенченко, З. Гусева, А. Дементьев, В. Дементьев, В. Дорофеев, А. Дроздов, В. Друзин, А. Дымшиц, Е. Журбина, Н. Замошкин, К. Зелинский, И. Карабутенко, А. Караганов, Д. Карпов, В. Карпова, З. Кедрина, В. Кирпотин, Е. Книпович, И. Козлов, А. Кондратович, М. Котов, Н. Кружков, М. Кузнецов, Евг. Леваковская, Н. Лесючевский, А. Ложечко, Г. Ломидзе, С. Львов, А. Макаров, И. Макарьев, С. Машинский, Вл. Мильков, В. Млечин, Т. Мотылева, Л. Мышковская, В. Озеров, В. Панков, С. Перчаткин, В. Пименов, К. Потапов, М. Сергеенко, В. Пискунов, М. Поляков, П. Пустовойт, О. Резник, О. Румянцева, Б. Рунин, В. Рымашевский, Б. Соловьев, Г. Соловьев, В. Соколов, Н. Страхов, Е. Сурков, Ю. Суровцев, В. Тельпугов, Н. Толченова, С. Трегуб, П. Трофименко, Л. Фоменко, В. Фролов, М. Храпченко, М. Чарный, М. Шкерин, М. Щербина, Я. Эльсберг, И. Юзовский, Л. Якименко.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий ФЕДОРОВ. Дуся Ковальчук. Поэма	3
В. ПАНЮШКИН. Вышли мы все из народа...	11
Иван РЯДЧЕНКО. Большое ленинское дело. Сын. Вокзал. Мудрость. Стихи.	66
Григорий КИРИЛЛОВ. На Ильмень-озере. Повесть	70
Сергей ВАСИЛЬЕВ. Из осенней тетради. Стихи	133
Стихи якутских поэтов	
МАКАРОВ-ДЖОН ДЖАНГЛЫ. Белошейка	136
И. ГОГОЛЕВ. Матери. Легенда о песне	137
Александр ИСБАХ. Путешествие в юность. Рассказ	140

О Ч Е Р К И

Анатолий СУРОВ. На поднятой целине	153
Вл. НОВОСЕЛОВ. Край печорский, приполярный	164

Т Р И Б У Н А Ж И З Н И.

(Отклики на очерк И. Винниченко)

К. ОРЛОВСКИЙ. Два неперемненных условия	176
В. ЗАТРУДИН. Настойчиво искать	179
П. ПРОЗОРОВ. Над этим следует подумать	182
П. ГВОЗДКОВ. Волнующие вопросы	185
И. БУЯНОВ. Работать дружно, сообща	188

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Б. БЯЛИК. «К жизни, к жизни...»	192
Л. МЫШКОВСКАЯ. О художественном мастерстве Л. Н. Толстого	200
Е. ЛЕВАКОВСКАЯ. Это русская сторона...	211
Валерий ДЕМЕНТЬЕВ. Первая книга	213
И. КОЗЛОВ. Своя тема	215
Содержание журнала за 1957 год	218
Перспектив	221

Главный редактор **Ф. И. Панферов.**

Редколлегия: А. Д. Андреев, С. П. Бабаевский, С. А. Васильев, Г. Я. Воробьев, А. А. Глазачев, В. В. Дементьев, А. М. Дроздов, Н. И. Замошкин, И. Г. Падерин, А. А. Первенцев, Б. С. Ромашов, Л. Р. Шейнин, М. А. Шолохов.

Технический редактор Е. Чуфистова.

Адрес редакции: Москва, Д-47, ул. «Правды», д. 11/13, тел. Д 1-62-05.

А 10357. Подписано к печати 4/XII 1957 г. Тираж 130 000 экз.
Изд. № 1482. Заказ № 2880. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 7 бум. л.—19,18 п. л.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.

Цена 5 руб.